Жан-Франсуа Штейнер

ТРЕБЛИНКА

МОСКВА — НЬЮ-ЙОРК 2014

УДК 94(4)+929

Ш88

«РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХОЛОКОСТА»

Жан-Франсуа Штейнер. Треблинка.

Перевод с английского Александра Свердлова
Предисловие Симоны де Бовуар
Послесловие Леонида Терушкина
Компьютерная верстка Ирины Бродской
Тираж 1000 экз.

Штейнер Ж.-Ф. «Треблинка». — М.: Полимед, 2014. — 272 с.
Ш88

ISBN 5-88832-025-0

© J.-F. Steiner 1966, 2014
© В. Бродский, дизайн обложки, 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Почему евреи позволяли вести себя на бойню, как бараны?» — возмущенно спрашивали друг друга молодые сабры, жители Израиля, во время суда над Эйхманом. Этот же вопрос задавали в Европе многие молодые евреи, не испытавшие на себе ужасы нацизма.

В действительности в бесчеловечном мире концентрационных лагерей все нации вели себя одинаково. Вся система подавления личности была тщательно разработана эсэсовцами так, чтобы полностью подчинить приговоренных. В 1947 году в книге «Дни нашей смерти» Руссе писал: «Триумф эсэсовцев требовал, чтобы запуганная жертва разрешала вести себя на казнь безо всякого протеста, чтобы человек отрекался от самого себя до такой степени, когда он перестает ощущать себя человеком... Нет ничего ужаснее, когда человеческое существо идет на смерть как кукла». Среди русских заключенных нацисты, прежде всего, отделяли от остальных и подвергали немедленному уничтожению коммунистов и политработников. Но при всей их высокой политической убежденности и военной подготовке, при всей своей храбрости, которую они сохраняли до самой смерти, организовать сопротивление оказывалось невозможным.

Это объяснение не удовлетворяло Жана Франсуа Штейнера. Как еврей, он не мог оставаться спокойным. Во всех отчетах, которые он прочитал, миллионы евреев, а среди них были его отец и большая часть его семьи — представали как бессловесные жертвы. Заслуживали ли они такой оценки? Противоречивое изложение одних фактов и замалчивание других проводило к утвердительному ответу, как будто ничего уже не могло служить оправданием. Штейнер решил внимательнее посмотреть в лицо прошлому. За эту смелость те самые люди, чье молчание, осторожность и уклончивость не без основания вызывали сомнение, несомненно, обвинят его в антисемитизме. И поскольку он был убежден в правильности своей теории, он победил. История лагеря Треблинка, воссозданная заново

по опубликованным свидетельствам и беседам с уцелевшими узниками, восстановила его самоуважение как еврея.

В Треблинке была создана зондеркоманда, которая вначале состояла из евреев Варшавы. В дальнейшем большую часть из них убивали и заменяли вновь прибывшими. Всего их было около тысячи. Под беспощадным надзором немцев, окруженные украинскими охранниками, они выполняли работу по уничтожению людей и утилизации имущества убитых, для чего и был создан этот лагерь. Многие предпочитали самоубийство, отказываясь испытывать судьбу во время селекций. Но как могли другие платить такую цену за то, чтобы выжить?

По соглашению с немцами из наиболее известных евреев учреждались юденраты. Этот факт хорошо известен и легко объясним. Во все времена и во всех странах — за редким исключением — социальная верхушка покоренных сотрудничала со своими завоевателями. Но хотя в Треблинке с некоторыми евреями обращались не так ужасно как с остальными, классового разделения там не произошло ни в отношении тех, кто был в рабочих командах, ни тех, кто выходил на станционную платформу, чтобы отправиться в газовую камеру. Но что из этого следует? Должны ли мы, как это делают в некоторых учебниках для израильских детей, прибегать к таким понятиям, как «образ мышления гетто», «атавизм покорности», «тайна еврейской души» и прочей ерунде? Книга Штейнера ставит эту сомнительную психологию на должное место путем точного описания того, как все произошло.

В нашем странном мире совокупности индивидуумов, живущие заурядно в условиях внутренней разобщенности, — Сартр называет такие совокупности «сериями» — ведут себя зачастую так, что люди становятся врагами друг другу, и значит, врагами самим себе. При панике, например, люди топчут, душат и убивают друг друга, провоцируя и даже создавая катастрофическую ситуацию, которой при разумном подходе можно было бы избежать. То же происходит и при бурях биржевой игры или в дорожных пробках. Пока работники остаются замкнутыми внутри своего класса, работодатели получают прекрасную возможность их эксплуатации. Каждый работник видит в соседе соперника, готового принять ту жалкую рабскую плату, за которую его наняли, и готового продать свою рабочую силу даже за меньшую плату. Чтобы требования людей труда могли быть выполнены, нужны группы, в которых, наоборот, каждый индивидуум чувствовал бы солидарность со своими товарищами.

Искусство нацистов состояло в том, что они смогли разбить евреев на «серии» и помешать этим сериям стать группами. В гетто Вильнюса (а они везде применяли одну и ту же тактику) эсэсовцы раскололи население на париев и привилегированных. Облавам подвергалась сначала только первая группа, но потом

вторую тоже разделяли — и так до самой ликвидации. В этом случае, если даже и возникала попытка к сопротивлению, ее легко было подавить. Это отнимало все надежды.

Даже если повстанцам удалось бы захватить гетто целиком, у немцев была возможность остановить движение. Это также объясняет, почему только небольшое число людей включалось в сопротивление.

Такое же «сериальное» поведение провоцировали Исполнители, когда проводили свои первые селекции. Люди, стремившиеся выжить, считали, что таких, как они, очень много, и думали: «Если я откажусь, всегда найдутся другие, которые выполнят эти требования, и значит, я умру напрасно». В самом деле, тот огромный источник человеческих ресурсов, который немцы имели в своем распоряжении, не мог состоять исключительно из героев. Видя покорность других, каждый человек тоже заставлял себя подчиниться. Этой ловушки можно было бы избежать, только если бы инструкции к сопротивлению были даны заранее, и если бы каждый знал, что все остальные последуют за ним. В большинстве случаев этого не происходило по многим причинам. Первая состояла в том, что вся ситуация была настолько ужасающей, что нормальному человеку трудно поверить в ее реальность. Когда евреи сталкивались с этой жестокой реальностью, они впадали в смятение, которое испытывает человек, охваченный паникой, и были неспособны координировать свое поведение. Исполнители устраивали испытания, целью которых было уничтожение части заключенных: кто быстрее проползет на животе или на четвереньках. Первые три четверти кандидатов останутся в живых, последняя четверть будет уничтожена. Сначала никто не двигался. Тогда свистели кнуты, и люди понимали, что если они не начнут двигаться, то будут уничтожены. Кто-то первый решался начать, и немедленно за ним следовали остальные.

Чего молодые сабры Израиля не понимают, так это того, что героизм не является естественным свойством человеческой натуры. Вся их система образования направлена на то, чтобы с раннего детства внедрить в сознание необходимость героизма в форме военной храбрости. Жертвы Треблинки не были военными, и они не были подготовлены к тому, чтобы лицом к лицу встретить насильственную и необычайно жестокую смерть. Поскольку в первые месяцы рабочие команды также уничтожали и очень быстро заменяли другими, у них не было времени изобрести формы сопротивления. Чудо состояло в том, что некоторым удавалось все-таки как-то удерживаться в этих командах и сплачивать вокруг себя других заключенных. После трагических событий, о которых, не умолчав ни о чем, рассказывает Штейнер в первой части своей книги, он дает нам возможность стать свидетелями исключительного подъема.

Этого душевный подъем был полной противоположностью отказу от борьбы. Как достаточно бывает нескольких трусов, чтобы трусость охватила всю «серию», так иногда требуется всего несколько героев, чтобы массы людей вновь обрели уверенность в себе и осмелились подняться на борьбу. Солидарность впервые проявилась при попытках нескольких человек прекратить самоубийства, а затем — при поисках в этих смертельно опасных условиях путей побега, целью которого было не столько спасти жизни, сколько открыть, миру страшную правду о Треблинке.

Был создан Комитет Сопротивления, и хотя успех казался невозможным, был разработан план вооруженного восстания. После этого заключенные старались превзойти друг друга в преданности общему делу и смелости. *Hof Juden*[1] хотя и пользовались определенными привилегиями, присоединились к своим угнетенным братьям и шли на величайший ри ск чтобы помочь им. Два человека из Лагеря Номер Один добровольно перешли в ад Лагеря Номер Два, чтобы включить в восстание 200 заключенных там париев. Для этого они намеренно совершили ошибку в работе, за которую их могло постигнуть наказание: как перевод в другой лагерь, так и мучительная смерть.

Несмотря на неудачи и приступы отчаяния, члены Комитета выдержали. Их исключительная храбрость не может быть объяснена только неизбежной ликвидацией лагеря. Первая попытка восстания, которая закончилась неудачей, хотя немцы о ней ничего не узнали, состоялась еще до визита Гиммлера, приказавшего уничтожить Треблинку через некоторое время. Более того, члены Комитета уже приняли решение пожертвовать своими жизнями: они должны были удерживать немцев, пока остальные заключенные успели бы добежать до леса. Убив своих немецких «хозяев», они страстно хотели преодолеть свое рабское состояние и продемонстрировать миру, что еврейский народ не позволяет вести себя на бойню как стадо овец.

Хотя в 1945 году я сама собрала множество свидетельств из первых рук, от людей, прошедших лагеря, я была поражена, узнав обо всем этом. Историю о тех часах, когда разразилось восстание, следует читать очень внимательно. Не только члены Комитета, но и многие заключенные вели себя с таким самоотречением, с таким спокойным героизмом, что предположение, будто евреям когда-либо была свойственна покорность, кажется диким. Их первоначальная беспомощность перед лицом палачей не была выражением какой-то скрытой вины, какого-то загадочного проклятия. Не она должна удивлять нас, а то, что они, наконец, преодолели ее.

Автор не пытался ограничить свою работу задачей историка. каждая деталь его книги подтверждена письменным или устным свидетельством, которые он собирал или сопоставлял. Но он

[1] «придворные евреи» (нем.) — лагерное название одной из привилегированных групп заключённых.

не лишил себя определенной степени свободы. В частности он восстановил живые беседы, чье содержание он мог знать только в общих чертах. Хотя его можно обвинить в некотором недостатке научной строгости, он был бы менее правдив, если бы не представил нам эту историю в ее живом развитии.

Тон книги необычен: ни пафоса, ни негодования, а преднамеренная холодность и иногда даже «черный юмор». Эта рутинность вызывает ужас. Бесстрастно автор описывает бесчеловечный мир. И при этом он пишет о людях. Читатель не забывает этого, и контраст вызывает в нем интеллектуальный шок, более глубокий и продолжительный, чем любые эмоции. Однако шок — это только технический прием. Больше всего Штейнер пытался все понять сам и заставить понять нас. Он полностью достиг своей цели.

Симона де Бовуар

***

Я хочу затронуть сейчас один исключительно важный вопрос. Между собой мы можем обсуждать его совершенно открыто. В официальных заявлениях мы не должны даже упоминать о нем...

Я имею в виду эвакуацию евреев, истребление еврейского народа. Здесь мы можем говорить об этом свободно. «Евреи должны быть уничтожены, — скажет вам любой член партии. Это ясно, наша программа это истребление всех евреев и мы это сделаем». И вот приходит к этому члену партии один из 80 миллионов добропорядочных немцев и говорит ему, что знает одного «хорошего» еврея: «Конечно, все евреи скоты, но этот вполне приличный». Ни один из тех, кто так думает, не видел горы трупов, ни один из них не был там, где проходят акции. Большинство из вас знает, как выглядит гора трупов из ста, из пятисот или из тысячи тел. Твердо стоять на этом до конца, не обращая внимания на отдельные человеческие слабости, вот что делает нас сильными...

Это славная страница нашей истории, о которой никто никогда не напишет...

Из выступления рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера перед генералами СС в Познани 4 октября 1943 года

***

Человек должен упасть очень низко, чтобы найти в себе силы снова подняться.

Из хасидской поэмы

Памяти Кадми Коэна, который дал мне жизнь,
и Озиаса Штейнера, который научил меня любить ее.

ГЛАВА 1

Строители Тысячелетнего рейха хотели избавить свою империю от всех евреев. Поскольку их не удалось депортировать, они решили их уничтожить. Вторжение в СССР в июне 1941 года усилило эту проблему. На территории, оккупированной вермахтом, — в Польше, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике — проживало несколько миллионов евреев. Поэтому рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отдал приказ «обработать» новые земли, завоеванные Третьим Рейхом в его продвижении на Восток.

Операция должна была проводиться в два этапа. На первом этапе евреев нужно было сосредоточить в нескольких гетто. Второй этап состоял в постепенной ликвидации этих гетто. Согласно концепции «Исполнителей», евреи, будучи низшей расой, позволят уничтожить себя, не оказывая сопротивления. Совершенство нацистской системы исключало малейшую возможность сопротивления.

Так началось время гетто, первой фазы Окончательного Решения. Переселение евреев не вызвало особых проблем. Антисемитизм местного населения был настолько сильным, что евреи воспринимали эту операцию даже с облегчением.

Для литовцев Вильнюс был их столицей. Для евреев это был «Литовский Иерусалим», «Иерусалим диаспоры». Он был известен своими изданиями Вавилонского Талмуда. Евреи из Франции и Америки приезжали сюда учиться у его раввинов. Крупный духовный центр иудаизма — Вильнюс — был известен всему еврейскому миру. И хотя его слава пересекла моря, в самом городе она не вышла за границы еврейских кварталов. Для поляков и литовцев, живших в Вильнюсе, бородатые ученые были только грязными евреями, которых они избивали, сжигали и убивали во время погромов.

За исключением некоторых личных связей, в течение столетий две городские общины контактировали между собой лишь посредством погромов. Малые погромы длились день, большие — неделю. Евреи никогда не защищались, никогда не оказывали сопротивления. Наиболее богобоязненные видели в них наказание, ниспосланное Б-гом, другие рассматривали их как совершенно естественное явление, как град на виноградниках или саранча в Африке. Они твердо усвоили только одно: нееврей сильнее, и сопротивление разъярит его еще больше. Матери учили детей: если гой ударит тебя, нагни голову, и он тебя не убьет.

Право линчевать было своего рода неписаным законом, который никем не оспаривался. Оно было признанным фактом и из поколения в поколение передавалось в обеих общинах.

Поэтому в июне 1941 года, когда советские войска оставили город под натиском превосходящих сил немцев, евреи заперлись в своих домах в ожидании погрома, которым нееврейское население обязательно отмечало всякое событие. Таковы были правила игры.

Было много споров о том, что принесет евреям присутствие немцев, и только немногие видели в нем особую причину опасаться за свое будущее. Среди этих немногих был старый доктор Яков Выгодский, один из руководителей общины. И когда, обращаясь в эти дни к студентам, он сказал: «Собираются грозовые тучи, наступают тяжелые времена, будете ли вы в состоянии помнить дух нашего учения?» — многие подумали, что преклонный возраст все-таки сказался на разуме большого ученого. Ему было тогда 86 лет. Главным аргументом оптимистов была известная декларация 1917 года, с которой генерал Людендорф обратился на идиш «К моим дорогим польским евреям». Было много споров, но к единому мнению так и не пришли.

Немецкие войска днем и ночью шли через город — и ничего не происходило. Напуганное этой необычной демонстрацией силы, нееврейское население, также как и евреи, заперлось в своих домах, выжидая, каковы же будут намерения их новых хозяев. Никто еще не понимал, что грядущему было суждено превзойти самые страшные предположения. Этот день в июне 1941 года стал началом плодотворного альянса между страстью и технологией, любительством и знанием дела, традициями и организацией, безграничной ненавистью и холодным расчетом.

Исполнители Окончательного Решения прибыли в Вильнюс в грузовиках вермахта. Не теряя времени, они принялись за претворение в жизнь первого пункта программы — переселения евреев в гетто. Для того чтобы при этом не возникло беспорядка, они решили достичь соглашения с самими евреями и провести для этого необходимую психологическую обработку.

До этого погромы были результатом выражения определенных народных настроений и проходили в обстановке полного беспорядка и всеобщей анархии. Конечно, местные жители совершали погромы с душой — они сжигали несколько домов, вешали нескольких «жидов» — но этот процесс стал настолько обычным, что евреи уже почти не боялись его. Они встречали этот всплеск ненависти с безграничным презрением и ждали,

когда все закончится.

Такая анархия не устраивала Исполнителей. Для них погром был не самоцелью, а средством заставить евреев самих искать убежища за стенами гетто. Поэтому было необходимо организовать и направить в нужное русло естественные наклонности местного населения.

Первым шагом было формирование специальных погромных отрядов. Им дали выразительное название Ипатинги (по-литовски — особые, чрезвычайные) и их членов одели в военную форму. Придавая большое значение всем деталям предстоящих операций, Исполнители заставили членов Ипатингов пройти специальный ускоренный курс антисемитизма, где давались объяснения почему нужно ненавидеть евреев. Эта ситуация выглядела нелепо, потому что антисемитизм литовцев был, возможно, еще более древним, чем сама еврейская раса.

Подготовительная фаза длилась несколько дней — время достаточное для того, чтобы евреи успокоились, и оптимисты могли сказать: «Ну, видите, мы же говорили, немцы — настоящие люди».

Оптимисты еще продолжали смеяться утром 4 июля, когда немцы издали свои первые распоряжения, обязывающие евреев носить на левой руке белый квадрат, в центре которого в желтом круге должна быть вышита буква J. Евреям запрещалось общаться с неевреями, продавать свои вещи, пользоваться любым видом общественного транспорта, ходить на рынки и появляться на улицах после шести часов вечера.

Первый погром состоялся на следующий день в Шнипишкесе, пригороде Вильнюса. Синагогу сожгли, а евреев собрали вместе и заставили танцевать вокруг нее. Они танцевали долго. Затем испуганных и почти бездыханных, их увели в неизвестном направлении. Несколько следующих дней были спокойными. Погром в Шнипишкесе показался возвратом к привычному прошлому и заставил забыть все новые распоряжения. Жизнь возобновилась.

Надежда постепенно возвращалась, когда 17 июля разразился большой погром. Захваченные врасплох, евреи растерялись. наступила паника. И все же, как они решили позже, этот погром имел причину. Утром одного еврея побили и он убежал. Евреи сделали вывод, что не следует убегать, когда тебя бьют. Еврейский квартал прочесывали всю ночь. Утром на окраине квартала, на площади, собрали семьсот мужчин. Среди них был раввин Новгород. Их заставляли становиться на колени, ползти, потом прыгать, как лягушки. Страдание было их вечным уделом, поэтому когда неевреи, с презрением смотревшие на них, гнали их в тюрьму, лица евреев были непроницаемы. Они не вернулись обратно, и тайное беспокойство охватило вильнюсских евреев. Они начали строить потайные убежища под лестницами, на чердаках, в подвалах, в шкафах и стали даже возводить дополнительные стены в середине домов. Ночью еврейский квартал жужжал как улей, с наступлением дня таинственные шумы и шорохи прекращались.

После шторма последовало затишье. Потайные убежища давали ложное чувство безопасности. Евреи вновь обрели уверенность. Когда Исполнители приказали им создать орган еврейского управления — юденрат — многие поверили, что жизнь снова наладится, и что погромы были только уступкой, которую оккупационные власти сделали по отношению к литовцам. Когда немцы поручили юденрату провести перепись всех евреев, те приходили регистрироваться без промедления.

Затем возобновились рейды, проводимые Ипатингами, но они не были столь жестокими, как первые погромы. Это был последний рубеж, отделявший евреев от обычной жизни. Поэтому когда начали распространяться слухи о создании гетто, многие думали: внутри гетто мы будем в нищете, в тесноте, но там нас оставят в покое.

Подготовка продолжалась два месяца. Все происходило без намека на сопротивление, без намека на насилие.

Исполнители подготовили «Операцию Гетто» весьма тщательно. Семнадцать улиц, включающих пятьсот домов или 10000 комнат были выбраны для 60000 евреев города. Создавая условия, когда многие семьи были бы вынуждены жить вместе с посторонними людьми, в среднем по шесть человек в каждой комнате, Исполнители рассчитывали усилить эмоциональное напряжение. Названия этих улиц и дата операции держались, конечно, в секрете, а для того чтобы сделать ожидание еще более мучительным, распускались различные ложные слухи. Наконец — и это было важной отличительной особенностью операции — Исполнители решили во время переселения задать евреям первую задачу.

Сущность этой задачи, которая потом применялась очень часто, основана на довольно точном знании еврейского ума, который является больше теоретическим, чем практическим. Она состоит в том, чтобы поставить человека перед необходимостью разрешить проблему в форме альтернативы. Столкнувшись с такой сложной ситуацией, обычный средний человек хочет поступить как Александр с гордиевым узлом, т.е. взять меч и разрубить этот узел пополам. Такой способ решения проблемы уничтожает ее существование. Еврейский ум, особенно ум, воспитанный на Талмуде, имеет скорее противоположную склонность. «Не ответы интересуют меня, — говорит он. — Я знаю их все. Я хочу знать, какой вопрос соответствует заданному ответу». Теоретическое мышление, которое иногда теряет контакт с реальностью, еврейское мышление, склонно придавать большее значение способу постановки задачи и способу ее решения, чем самому

решению.

Головоломка, придуманная Исполнителями, была простой. На пути к гетто на одном из перекрестков они разделили колонну идущих на два потока. Один поток направлялся в гетто, чье расположение евреи еще не знали, а другой... Перекресток выбрали на таком месте, где дорога начинала подниматься после долгого спуска, так что евреи, издалека видя, как колонна делится на две части, имели достаточно времени, чтобы спросить себя: «Налево? Направо? В гетто? Или в неизвестность?»

2 сентября, за несколько дней до перевода в гетто, неизвестность получила имя. В этот день забрали шестнадцать членов юденрата. И впервые евреи узнали, куда их увезли: в Панеряй. Это было название места у края леса, в семи километрах от Вильнюса. Кто-то вспомнил, что крестьяне говорили о том, что слышали там выстрелы. В то время они думали, что это была ружейная перестрелка.

Удача на этот раз была на стороне Исполнителей, и совершенно неожиданный случай еще более сгустил ореол тайны вокруг Панеряя. Руфь Варнштейн, дочь одного из шестнадцати увезенных членов юденрата, прождав весь день, пыталась узнать, что произошло с ее отцом. Проходя мимо здания юденрата, она расплакалась. Солдат вермахта подошел к ней и узнал в чем дело: Панеряй. Тронутый ее горем, он пообещал съездить туда, увидеть Варнштейна и вернуться на следующий день. Слух об этом происшествии быстро разнесся по еврейскому кварталу, и назавтра, когда солдат вернулся, площадь перед юденратом была полна людей. Солдат был смущен. Он сказал, что его не впустили в Панеряй, что даже старшие офицеры не могут попасть туда. Так Панеряй стал тайной, полной ужаса.

Как Исполнители и предполагали, перевод в гетто происходил беспорядочно. Одна треть отправилась в Панеряй через маленькое транзитное гетто, а другие думали: «Это только маленькая лазейка». Еще не осознавая этого, они уже свыклись с мыслью о смерти. Незаметно Исполнители заставляли людей принять эту мысль, не задумываясь о сопротивлении. Конечно, смерть казалась неизбежной, но кажущаяся анархия в проведении всех мероприятий позволяла каждому надеяться, что он сможет ускользнуть, что это зависит от него самого. Когда евреи увидели, как на их глазах колонна делилась на два потока, они спрашивали себя, какое решение будет правильным, и выбирали, полагаясь больше на интуицию, чем на логику. Те, кто выбрал налево — выиграли, направо — проиграли. Те, кто выиграл, говорили себе: «Я был прав» и делали вывод, что все, что им нужно, — это тщательно все обдумать, чтобы принять правильное решение. Их жизнь стала игрой в русскую рулетку, но они отказывались понять трагическую реальность этой игры, потому что когда смерть неизбежна, жизнь становится невыносимой.

Однажды утром, через несколько дней после переселения в гетто, доктор Гинзбург был разбужен осторожным стуком в дверь комнаты, которую он снимал вместе со своей семьей. Рассвет только наступил и весь дом еще спал. Обеспокоенный этим стуком, еще не решаясь открыть дверь, он услышал женский голос, называвший его по фамилии. Голос умолял:

— Доктор Гинзбург, откройте дверь. Это я, Песя Аранович, я из Панеряй. Открыв дверь, доктор увидел женщину, одетую как литовскую крестьянку, с букетом цветов. Он уже собрался закрыть дверь перед незнакомкой, когда заметил, что ее лицо искажено страхом.

— Кто вы, что вы хотите? — спросил он враждебно.

Доктор хорошо знал Песю Аранович. Она выросла и вышла замуж на его глазах. Это была красивая молодая женщина, она часто смеялась. Эта грязная крестьянка, выглядевшая безумной, не могла быть Песей.

— Я ранена, — сказала она ему.

Он впустил ее и предложил сесть. Потом пошел нагреть немного воды на маленькой спиртовке, которую ему удалось принести в гетто.

— Откуда вы знаете имя Песи? — спросил он.

— Доктор! Но я же и есть Песя Аранович! Я убежала из Панеряй, а эту одежду и цветы дала мне одна крестьянка, чтобы я могла незаметно вернуться в гетто. Ипатинги приняли меня за местную крестьянку и впустили в гетто, а здесь кто-то сказал мне, где вы живете. Я пришла к вам за помощью. И я должна рассказать. Панеряй — это не рабочий лагерь. Это место, где убивают всех евреев.

— Всех евреев? О, этого не может быть! Зачем им убивать всех евреев? — Доктор Гинзбург спрашивал осторожно, как бы взывая к ее разуму.

Она покачала головой, и ее лицо приняло детское выражение. Доктор еще раз посмотрел на нее с возрастающим удивлением, теперь он узнал ее.

— Расскажи мне, что ты видела, — сказал он, чувствуя, что ей необходимо выговориться.

— Когда мы увидели, как поток людей делится надвое, все начали задавать вопрос: «Что происходит? Что это значит?» Муж сказал мне, что сегодня многим не придется спать в своих постелях. Вначале я не поняла, тогда он добавил, что сейчас нельзя ошибиться. Он хотел, чтобы я с маленькой дочкой пошла налево, а он направо. Я была против. Я сказала ему, что если нас депортируют, то надо быть всем вместе. «Будем надеяться, что те, кто выберут неправильную дорогу, рискуют не больше, чем депортацией», — ответил он. Я не поняла, что он имеет в виду, но мной овладел страх. Мы искали любой знак, который указал бы нам верное направление. Мы продолжали двигаться вперед

и перекресток все приближался. Люди смолкли. Все чувствовали, что на этом перекрестке решается их будущее. Как-то незаметно мы свернули налево. Мы уже смогли различить нескольких немцев и полицейских, которые там стояли. Их фигуры были неподвижны, их лица непроницаемы. Они были похожи на нос корабля, о который разбивалась волны людей. Первый солдат, стоявший на острие клина, был типичным немцем: высокий красивый блондин. Он дружески смотрел на нас с легкой улыбкой, выражение лица у него было какое-то отвлеченное. Его взгляд ни на ком не останавливался...

Голос Песи стал спокойнее. В нем не было больше страха. Она рассказывала о том, что произошло в другом мире, в другой жизни. Жена доктора встала и приготовила чай. Песя не дотронулась до чашки, которую поставили перед ней.

Этот немец очаровал меня, такой красивый, такой далекий, так непохожий на нас. Я внимательно следила за ним, пытаясь по его лицу определить, какая дорога будет правильной. Мой муж что-то прошептал, но я не поняла. Он повторил глухим и взволнованным голосом: «Направо, направо, быстрей!» и мне показалось, что меня что-то подтолкнуло, прежде чем я успела понять. Когда я осознала, что произошло, немец был уже сзади нас. Муж объяснил мне, что когда он увидел, как немец жалостливо улыбается тем, кто идет налево, он понял, что мы должны идти направо.

Улица стала уже, и мы пошли быстрее. Потом мы услышали сзади чьи-то крики. Кто-то сказал: «Они ведут нас в тюрьму Лукишки». Все слышали это, но никто ничего не сказал. «Пока я был прав», — угрюмо сказал мой муж. Когда мы подходили к тюрьме, мы уже шли медленно, едва дышали. «Так вот оно что! — подумала я. — Мы ошиблись. Что теперь будет?» Кто-то сказал шепотом: «Надо бежать!» Другой голос ответил: «Куда? Подождем и осмотримся. Для этого всегда будет время». Никто не пытался протестовать. Нельзя протестовать против неизвестного. Вдруг по толпе прокатилось: «Мы идем дальше!». Колонна пошла. Муж сжал мне руку и улыбнулся. «Мы слишком нервничаем и пугаем друг друга», — сказал он.

Наконец мы пришли в какое-то место. Мы думали, что это будущее гетто. Я настолько устала, что мне было уже все равно. Моя маленькая дочка уснула у меня на руках. Муж потащил меня к какому-то дому. Мы вошли в комнату. Она была уже занята, но у нас не было сил идти дальше. Окно было сломано и в комнате не было никакой мебели, даже стула. Я села на пол и уснула.

В середине ночи я проснулась от шепота. Муж стоял у окна с группой мужчин. Хотя они говорили тихо, было видно, что они отчаянно спорили.

— Мы должны бежать, — сказал один.

— А как же женщины? — спросил другой.

— Мужчины разрушат ограду и женщины пойдут за ними.

— Нас всех убьют.

— Нас убьют в любом случае. Они окружили гетто. Нас всех схватят здесь.

— А у Вас есть доказательства, что они убивают евреев в Панеряе?

— Зачем же тогда они увозят их в лес?

У того, кто хотел сопротивляться, был очень низкий голос и он говорил на идиш с украинским акцентом. Я могла видеть только его невысокий, но крепкий силуэт. Он вселял в меня уверенность.

— Зачем им убивать евреев? — спросил другой голос.

— А почему литовцы убивают нас?

— Они не убивают нас, они бьют нас. Они убивают только тех евреев, кто сопротивляется.

Спор прекратился. Мужчины, видимо, не хотели сопротивляться.

— Мы не можем. Мы ничего не знаем.

— Может быть, они собираются послать нас на секретные заводы или заставить копать окопы. Не могут же они быть настолько глупыми, чтобы убивать людей, которые могут принести им пользу.

— Фашисты — наши враги, — убежденно сказал украинец.

— Весь мир — наш враг. Гитлер, может быть более страшный, чем другие. Но рано или поздно он проиграет войну. Я хочу жить, чтобы увидеть это.

— Жить как раб?

Украинец задал свой вопрос резко. Другой мужчина ответил ему мягко и печально.

— Даже как раб. Самое главное — это выжить. Оставим героизм полякам. Мы должны жить, чтобы потом мы могли рассказать, что может сделать один человек другому. Может быть, это божья воля.

— А кто же будет свидетелем, если нас всех убьют?

— Другие расскажут, как мы умерли. Бегите, если хотите. Вы выглядите сильным, Вам удастся.

— Я останусь с вами, — ответил украинец.

Они разошлись. Украинец лег в углу, муж вернулся и я уснула.

На следующее утро нас разбудили рано. Я разговорилась с украинцем. Он сказал, что был офицером Красной Армии и остался при отступлении в Вильнюсе, чтобы организовать партизанскую группу. Он был очень некрасивым, но казался невероятно сильным. Когда я спросила, что он делает среди нас, он ответил, что решил остаться со своим народом и попытаться организовать его.

В полдень один квартал окружили и всех людей оттуда увели.

Наша очередь наступила на следующий день. Нас повели из Панеряя колонной. Советский офицер шел как раз сзади меня. Я слышала, как он пытался убедить соседей.

— Сейчас или никогда, — говорил он.

— Я слышал, они убивают только старых и больных. Если мы попробуем бежать, они наверняка убьют и нас, а так у нас есть шанс, — сказал кто-то.

Это было позорно, но так думали мы все. Советский офицер был прав, но он не понимал...

Доктор наклонился и мягко спросил:

— Чего он не понимал?

Песя, казалось, очнулась от сна. Она посмотрела на доктора.

— Он не понимал этого желания жить. Мы не боялись умирать, но мы хотели жить. Вы это понимаете, доктор?

Доктор все еще недоверчиво ответил:

— Да. — Он удержался от желания начать дискуссию, чтобы она могла рассказывать дальше. — Продолжай, Песя, — сказал он мягко.

— Наша колонна двигалась медленно, и голос офицера становился все более настойчивым. Я обернулась и увидела у него на лбу повязку. Его, должно быть, избили во время облавы.

— Охрана небольшая. Мы должны убить их и забрать у них оружие.

— Куда мы пойдем?

— В лес.

— А что будет с нашими женами и детьми?

— Мы не имеем права умирать так! — Никто ему не ответил.

— Сопротивляться! — закричал он яростно.

Я снова обернулась. Люди, шедшие рядом с ним, шептали: «Шма, Исраэль» — «Слушай, Израиль». Его лицо было измучено, маленькие, близко посаженные глаза горели. Я только собралась сказать ему, что нужно немного обождать, как он вдруг вскрикнул, растолкал людей, бывших между ним и стражей, бросился на ближайшего охранника и выхватил у него винтовку.

Когда он закричал, колонна остановилась, но никто не понял, что произошло. Охранники остановились и нацелили на нас винтовки.

Украинец стал медленно отступать, прикрываясь охранником как щитом. Он перебросил винтовку в правую руку и призывал нас напасть на других охранников, не позволить вести себя на смерть, как овец. Но все мужчины, наклонив головы, шептали: «Шма, Исраэль».

— Евреи, — кричал офицер. — Защищайтесь! Убейте нацистских бандитов! Смотрите, они боятся нас!

Охранники не знали, что делать. Тогда вперед вышел эсэсовец, спокойно поднял винтовку, прицелился и выстрелил. Охранник, которым защищался украинец, закричал и упал. Украинец поднял

его. Эсэсовец выстрелил второй и третий раз. Советский офицер не решался стрелять, потому что за эсэсовцем стояли мы. Он закричал, чтобы мы легли, но никто не шевельнулся.

— Зачем он это делает? — пробормотал мой муж. — Это бесполезно. Он все равно погибнет и мы тоже. Так зачем?

Голос офицера слабел. Наверное, пули эсэсовца попали в него через тело охранника. Эсэсовец с винтовкой в руке приближался, готовый стрелять. Потом все произошло очень быстро. Украинец оставил охранника, которым он прикрывался, отскочил назад и побежал. Эсэсовец остановился, вскинул винтовку, прицелился и с полным спокойствием начал стрелять. После первого выстрела украинец споткнулся, после второго он упал. Он попытался подняться, но третья пуля настигла его. Тело рванулось и затихло.

Эсэсовец приказал двум евреям подойти, взять тело офицера и идти во главе колонны, таща его за ноги.

Мы снова тронулись вперед. Мужчины шептали молитву о мертвом. Моя маленькая дочь начала плакать. Всхлипывая, она спрашивала: «Мама, где мы? Я боюсь, я боюсь».

Я укачивала ее и говорила: «Не бойся, моя дорогая, мы на пути к небесам. Спи, дитя мое. На небесах так чудесно».

Доктор слушал с большим вниманием, но эта история, рассказанная как бы в полусне, казалась ему нереальной. Его недоверие усилилось, когда Песя начала рассказывать о Панеряе.

— Мы шли как похоронная процессия. Два человека впереди тащили тело, а все остальные пели «Эль мале рахамим». Дорога была пыльной, и наши усталые ноги поднимали высоко над замлей облака пыли. Когда вдали показался лес, мужчины запели громче. Тихий шепот перешел в громкое ревущее пение и время от времени из хора прорывался сильный и красивый голос, полный молящей любви: «Слава нашему Б-гу, слава Вечному, будь благословенно Имя Его». Голос поднимался, резкий и лихорадочный, потом быстро падал и терялся в общем хоре. Мысленно мы были уже с душой того Справедливого Человека, чья голова билась о каждый камень дороги.

Я не заметила, как мы вошли в лес. Вдруг послышались крики, ругань, удары. Появилась колючая проволока и в ноздри ударил ужасный запах. Мы остановились. Я не знаю, как это случилось. Я крепко держала на руках дочку и закрыла глаза. Я открыла их, когда муж сказал мне: «Прощай!» Он был очень спокоен и внимательно смотрел на меня. «Прости меня! — добавил он. — Я ошибся».

По пять человек люди выходили вперед, проходили метров сорок и останавливались. Затем раздавался залп, и они исчезали.

Когда впереди меня уже никого не осталось, я сама пошла вперед. Я не боялась, я уже перестала жить. Вдруг почти под ногами я увидела огромный ров, заполненный телами. Я не

услышала выстрелов, но почувствовала боль в руке. Я упала вперед, думая: «Это все, я мертва». И потеряла сознание.

Доктор смотрел на эту женщину, которую спасло чудо. Ее лихорадило. Он подумал, что она бредит или у нее помутилось сознание. Он не мог поверить этому чудовищному рассказу, который казался порождением помутившегося рассудка.

— Успокойтесь, Песя! — сказал он ей. — У Вас высокая температура и Вам приходят в голову кошмары.

Но Песя не слышала его.

— Я открыла глаза. Было темно и холодно. Я пыталась повернуться, но не могла.

Доктор попросил жену принести горячей воды и хотел развязать самодельную повязку на руке у Песи. Но женщина была в таком напряжении, что он не мог оторвать руку от ее тела.

— Моя маленькая дочка была мертва, наверное, она умерла от удушья. Я не знаю, как я выбралась из-под всех тел, которые лежали на мне. Я помню, что я ползла. Где-то была колючая проволока, но я смогла проползти под ней. Я так боялась, что ползла еще очень долго, потом поднялась и побежала. Потом я встретила крестьянку. Она дала мне это платье и букет, повязала мне тряпкой руку и посоветовала вернуться в гетто под видом крестьянки, продающей цветы. Когда я пришла сюда, я спросила, где Вы живете. Никто не знал. Я не помню, как я попала сюда. Но я была уверена, что Вы здесь.

— Бедную девочку, наверное, били, — сказал он жене. — Она вся горит. Но откуда, черт побери, она взяла всю эту историю?

— То, что мы переживаем сейчас, слишком тяжело для таких детей, как она, — ответила жена.

Доктор снял повязку с руки Песи. Тряпка была вся красная от крови. Он отодвинул руку от тела.

— Она действительно ранена, — сказал он.

Жена принесла кастрюлю воды. Доктор положил руку Песи себе на колени. Наверху у плеча была безобразная черная рана.

— Это похоже на пулевое ранение, — пробормотал он.

Он намочил в воде носовой платок и наклонился, чтобы почистить рану. Что-то застряло в ней. Он наклонился ближе и вдруг замер от ужаса.

— Сарра! Это же красные муравьи из леса!

ГЛАВА II

Доктор Гинзбург долго стоял, оцепенев, не в силах произнести ни слова. Он уже не думал о Песе. Он думал обо всех тех, кто ушел и уже никогда не вернется. Глубокое горе охватило его.

— Почему? — спросил он вслух, как бы говоря сам с собой. — Почему их убили? Он вспомнил все облавы, начиная с самого начала, он представил себе лица тех, кого забрали. Знали ли они?

— Давид! — мягко позвала его жена. — Что с нами будет? Он вопросительно посмотрел на нее.

— Что это значит? — продолжала она. — Почему их убили? Я не понимаю. Что они сделали? Почему их уничтожили, а нас оставили в живых?

— Я не знаю, Сарра. Я не понимаю, — ответил он растерянно.

— Он представил себя в толпе, идущей в гетто. И вдруг он понял, это было как озарение.

— Но, — его голос слегка дрожал, — их не выбирали!

— Это значит, что... — она не осмелилась закончить фразу.

— Да, мы приговорены все.

— Что с нами будет? — снова повторила она ровным голосом. Доктор пришел в себя.

— Мы должны предупредить всех. Отныне мы не позволим никого забирать отсюда. Мы должны решить: или сопротивляться в гетто, поскольку в любом случае нам нечего терять, или попытаться бежать. Мы еще поговорим об этом позже. Теперь самое главное — предупредить как можно больше людей. Ты позаботься о Песе, а я пойду и расскажу людям ее историю. Новости быстро расходятся по гетто. К вечеру все будут знать.

Хотя доктор Гинзбург был молодым практикующим врачом, он пользовался большим авторитетом в еврейской общине Вильнюса. Еще студентом он принимал участие в сионистском движении, и с тех пор сохранил не только большую целеустремленность, но и дух решительности и готовности к действиям. Это вызывало к нему большое доверие у всех, кто его знал. Он был физически очень силен и не мог представить себе, чтобы человек мог сдаться. Даже если его охватывали сомнения, он никак этого не показывал. Эти события виделись ему очередным испытанием для еврейского народа.

Выйдя на улицу, он подумал о том, со сколькими людьми ему удастся поговорить в течение дня — с десятью, самое большее с пятнадцатью, ведь придется научить их не предпринимать ничего необдуманного, а ожидать приказаний. Только теперь он понял, что известие об убийстве в Панеряе может вызвать восстание.

Все эти мысли нахлынули на него разом, пока он шел. Гетто было спокойно, улицы безлюдны. Он подумал, что люди, вероятно, все на площади перед юденратом, и решил пойти туда. В этом случае он сможет переговорить сразу с несколькими. Площадь находилась примерно в трехстах метрах от его дома. Ускоряя шаг, он мысленно готовил речь: «Друзья, нас обманули! Панеряй — не рабочий лагерь...»

— Доброе утро, доктор! — чей-то голос прервал его мысли. Его приветствовал пожилой человек. Он сидел на стуле перед дверью. Доктор не узнал его и не хотел останавливаться. Он собрался идти дальше, когда старик сказал:

— Я думаю, Вы правы, доктор. Кажется, к нам в гетто вернулся покой. Вчера даже не было облавы.

Понимая, что старик просто хочет, чтобы кто-то подтвердил его надежды, доктор почувствовал, что обязан сказать ему правду. Лучше сказать ему все. Он, видимо, так верит мне, что может быть удастся удержать его от полного отчаяния и от возможности совершить что-то неразумное.

— Послушайте, я должен вам кое-что сказать. Это очень важно, — начал он.

— Ну? — спросил старик довольно бодрым голосом.

— Панеряй — это не трудовой лагерь.

Он остановился. Лицо старика оставалось бесстрастным, как если бы он не понимал, о чем говорил доктор. Молчание старика обеспокоило его. Он понял, что-то в его словах оттолкнуло старика. Чувствуя себя неловко, он продолжал:

— Никто не мог себе этого представить, потому что это невероятно, только ненормальный мог придумать такое. И Германия казалась такой цивилизованной страной. Но теперь больше нет сомнений. Утром ко мне пришла молодая женщина, ей удалось убежать из Панеряя. Это чудо, что она осталась жива. Всех остальных расстреляли!

Доктор понизил голос в конце фразы как бы желая смягчить значение последних слов. Старик моргнул, его лицо дрогнуло и снова приняло безразличное выражение.

Доктор подумал, что он говорил слишком тихо и старик не услышал его.

— Всех остальных убили, — повторил он, подчеркивая каждый слог. Старик не пошевелился. Доктор подумал, что он глухой.

— Убили! — крикнул он.

Старик не шевельнулся. Доктора охватило сомнение. Молчание старика раздражало его, и он стал говорить не щадя.

— Панеряй — значит смерть. Все люди, которых забрали туда — убиты. И тоже будет с нами. Нас всех уничтожат.

Потрясенный собственной жестокостью, доктор замолчал. Тогда губы старика зашевелились и упрямо, как ребенок. Он сказал:

— Это неправда.

Доктор смотрел на него, окаменев. Значит и старик давно думает об этом, хотя вести о Панеряе еще не разнеслись по всему гетто. Но эта правда была настолько страшной, что он не в силах решиться ее принять, поэтому и разыгрывает комедию надежды. И доктор понял, что сейчас говорить человеку правду было бы просто непростительно. Он взглянул на старика и извинился.

— Да, это неправда! — сказал доктор и ушел.

Он пошел медленнее, обдумывая произошедшее. Он снова обрел контроль над собой, но теперь видел проблему в ином свете. Он понял, что был вдвойне слеп, что многие подозревали правду, но предпочитали оставаться в неведении, которое защищало слабых от отчаяния. Доктор не имел права отнимать у них надежду. Он решил говорить о Панеряе только с надежными людьми.

На площади у юденрата он встретил своего бывшего одноклассника, адвоката и, отведя его в сторону, рассказал историю Песи.

— Зачем создавать атмосферу паники? — спросил адвокат. — Мы должны успокаивать и подбадривать людей.

— Но как можно подбадривать людей, когда их готовятся убить?

— Кто тебе сказал это? Женщина, которая наполовину сошла с ума? Мы не можем начать восстание, которое будет стоить всем нам жизни из-за женских кошмаров. Пока у нас нет доказательств, мы ничего не будем делать.

Доктор попросил его прийти и послушать рассказ самой Песи. Вначале адвокат отказывался, но поскольку доктор настаивал, он, наконец, согласился.

Адвокат был членом юденрата и хотел порядка. Он был хорошим евреем и честным человеком, но боялся, что этот непроверенный рассказ может привести к неприятностям. Он решил быть очень осторожным. Он готов был поверить, что евреев убили, но не с такой методичностью, как говорил его бывший одноклассник. Женщина могла быть сумасшедшей, или хотела создать панику в гетто, ей нельзя было доверять полностью.

Они подошли к дому. Доктор чувствовал себя подавленным, он сомневался, стоит ли продолжать разговор. Вначале старик, потом его бывший одноклассник — каждый по-своему показали ему, что их заботила не правда, а надежда.

Когда доктор вошел в комнату, Песи не было. Его жена сидела на полу, опершись спиной о стену. Она увидела мужа, но у нее не было сил даже улыбнуться. Доктор поспешил к жене и помог ей подняться. Она казалась очень усталой, и он не решился спросить ее, где Песя.

Монотонным голосом жена сама рассказала, что после его ухода пришло несколько соседей, и она попросила Песю рассказать о том, что она видела. Вначале все ей очень сочувствовали, но когда она начала рассказывать о Панеряе, одна из женщин, чьи родные пошли направо, назвала ее лгуньей. Песя настаивала, но они заставили ее замолчать, со словами, что у них и так достаточно горя, разве она не знает. Песя начала плакать и они ушли. После их ухода она еще долго плакала: «Я не хотела обидеть их. Почему они так обошлись со мной?» — повторяла она. Потом она решила уйти, жена доктора была не в силах удержать ее. Она, должно быть, бродит по улицам гетто, отвергнутая общиной, после своего рассказа о том, как она потеряла семью.

— Она сказала что-нибудь, когда уходила? — спросил доктор.

— Да, — ответила жена. — Она сказала, что лучше было не возвращаться из Панеряя. Адвокат тихонько ушел. Доктор подумал, что то, что он услышал и пережил — исключительное событие, и решил вести дневник, чтобы когда-нибудь можно было рассказать людям о том, что происходило в эти страшные времена.

Через некоторое время он снова увидел Песю. Она работала в швейной мастерской гетто. Казалось, что она забыла обо всем и смеялась вместе с другими девушками. Она не осмеливалась больше рассказывать о том, что произошло с ней.

Исполнители с большим удовлетворением узнали об истории с Песей Аранович. По их глубокому убеждению, это было прекрасным завершением их двухмесячных усилий и доказательством правильности их метода. У них было основание радоваться — Вильнюс был первым, экспериментальным гетто. И вот, мастерский удар с первой попытки. Тридцать тысяч евреев уже было убито, и никакой реакции. В городе царило исключительное спокойствие.

Другие на их месте были бы удовлетворены и решили, что гетто уже созрело для уничтожения. Но их одолевала жажда усовершенствования и скрупулезное чувство детализации. Они понимали — и правильно — что в таком деле наиболее трудны не первые шаги, а последние и что настанет время, когда евреям придется взглянуть правде в глаза. И тогда, ведомые отчаянием, они могут совершить какие-то поступки, которые усложнят задачу немцев и посеют смуту среди еврейского населения Польши, которое еще не было «обработано».

Поскольку Исполнители не хотели подвергаться никакому риску, они решили не только продолжать, но и усилить свою политику. Для того, чтобы евреи покорно подходили к своей смертной черте, они усилили тактику «головоломки» посредством деления и разложения.

Часть населения гетто работала на немецких предприятиях. Им немцы выдали рабочие удостоверения, которые защищали их во время облав. Гетто было разделено на два лагеря: те, кто имели рабочие удостоверения, и те, у кого их не было, кто чувствовал себя беззащитным, изолированным, отвергнутым. Против тех, кто не имел удостоверений, облавы продолжались. Для тех, у кого они были, это было началом компромисса. Предъявляя удостоверение во время облавы, они отдаляли себя от своего народа, они теряли чувство общности с его судьбой.

Но в скором времени и сами владельцы удостоверений были разделены. Удостоверения стали двух видов: с фотографией и без нее. Люди стали строить догадки — какой вид удостоверений обеспечит лучшую защиту. Большинство решило, что с фотографией, поскольку она придавала документу

более официальный вид. Исполнители раздали очень много удостоверений, а потом начали облавы на тех, у кого не было фотографий. «Мы в выигрыше», — думали те, кто с фотографиями. Но потом и эти удостоверения были аннулированы и заменены бланками с печатью бюро по труду Панеряй. Это слово вызывало тревогу, и бланки не имели успеха до тех пор, пока не была проведена новая большая облава. На этот раз забирали всех, у кого были удостоверения с фотографиями и без них, и уцелели только те, у кого были бланки. Но затем и бланки в свою очередь были разделены на две категории — на одних стоял штамп «квалифицированный работник», на других — нет. Поскольку для того чтобы получить этот штамп, нужно было только заявить, что имеешь квалификацию в любой области, выбирать было легко. Одни думали, что иметь такой штамп хуже и предпочитали удостоверения без него, другие, наоборот, полагали, что поскольку квалифицированные работники более полезны, то удостоверения со штампом скорее помогут им уцелеть. И так они ожидали решения своей судьбы. Но оно пришло совсем с другой стороны и выяснилось, что проблема эта куда более сложная, чем они предполагали. Исполнители объявили, что так как многие квалифицированные работники не зарегистрировались, а другие, кто не имел настоящей квалификации, пытались обмануть добрую веру предпринимателей. В конце концов, все удостоверения были аннулированы...

Облава застала население врасплох, и гетто охватило отчаяние. Оно было особенно глубоким потому, что многие чувствовали себя виноватыми. С поразительной наивностью они думали: «Они поверили нам, а мы их обманули».

В это время юденрат объявил, что собирается раздать желтые удостоверения, которые будут годиться сразу для всей семьи. Евреи подумали: «Как видно, наш юденрат еще имеет некоторый авторитет у оккупационных властей».

На самом же деле это было просто трюком, рассчитанным на то, чтобы все было сделано руками самих же евреев. Исполнители действовали так не из любви к играм или из каких-то эстетических соображений. Они хотели, чтобы люди, поняв, что их обманули свои же, обратили свой гнев на них, а не на оккупантов. Предположения были точны: люди чувствовали больше злобы к своим, которые их предали, чем к врагам, которые их убивали.

Вторая фаза операции началась также как и первая. 3000 удостоверений были распределены среди 23000 уцелевших обитателей гетто. Снова евреи были разделены на «привилегированных» и «париев».

Вначале жертвами облав были только парии. Но потом был создан новый тип удостоверений — «розовое» удостоверение на всю семью. На этот раз распределение было щедрым и их хватило на всех. Теперь люди опять гадали, какое же удостоверение обеспечит

лучшую защиту. Некоторые владельцы желтых удостоверений думали, что розовые, поскольку они более новые, имеют большую ценность и обменивали их с теми «розовыми», которые придерживались противоположного мнения. Некоторые думали, что самое умное — не иметь вообще никаких удостоверений, а просто прятаться. Все ждали следующей облавы, чтобы узнать, кто же выиграл. Облава была на редкость жестокой. И «желтые» и «розовые» были уничтожены.

Эта облава означала переход к третьей фазе. Удостоверения уже прошли все цвета радуги: желтые, розовые, потом зеленые, потом голубые, и, наконец, красные. Теперь все они были заменены простыми красными паспортами, которые выдали всем оставшимся. Но номера на паспортах были двух видов — до 10000 и свыше 10000. Извечный вопрос: какой лучше? Исполнители уже ответили на этот вопрос: до 10000 — выигрыш, после 10000 — проигрыш. Но никто еще не знал об этом.

С момента введения семейных удостоверений «головоломка» стала ужасным, разрывающим сердце оружием. Теперь проблема была не только в том, чтобы спасти самого себя, теперь ответственность за правильный выбор распространялась на всю семью и даже на друзей. Когда появились семейные удостоверения, возникла проблема — регистрировать ли своих родственников, указывая их как иждивенцев. Многие стали подозрительными и предпочитали не регистрировать. Но в первую же облаву забрали всех незарегистрированных — опять ошибка. Теперь все спешили зарегистрировать своих родных и даже друзей как родных. Но в некоторых рабочих командах провели облаву на зарегистрированных родственников — и снова ошибка. Заметили, что эти команды были самыми плохими, и все поспешили зарегистрировать свои семьи по удостоверениям «хороших» рабочих команд. Рабочие, которые были заняты в личном обслуживании немцев, неожиданно приобрели семьи в 20-30 человек. Но 4 декабря 1941 года всех родственников, работавших в этой команде, и настоящих и фальшивых, забрали в Панеряй, тогда как наименее привилегированных, которые вообще не регистрировались, пощадили. Искушение не регистрировать родных было слишком велико. Но кто знает, может быть, следующая облава будет именно на незарегистрированных?

Детей до 16 лет, зарегистрированных в рабочих удостоверениях, не принуждали ходить на работу, которая была для них слишком тяжелой. Но это рождало новую проблему: следует ли регистрировать тринадцатилетнего ребенка как несовершеннолетнего и тем самым определить его как иждивенца, или сказать, что ему уже 16 лет, и послать его на тяжелую физическую работу.

Высшее искусство Исполнителей состояло в том, что они давали каждому возможность обманывать. Для регистрации

семьи не требовалось никаких официальных бумаг. Холостяки, вдовцы и сироты могли зарегистрировать своих матерей как жен. Но люди сами должны были делать ужасный выбор, который приводил их в отчаяние.

— Кого ты предпочитаешь, — спрашивал бессовестный Макиавелли ребенка, — папу или маму?

— Кого вы предпочитаете, — спрашивали Исполнители евреев Вильнюса, — мать или жену? Если вы хотите жену — отдайте нам мать, а если выбираете мать — отдайте нам свою жену.

Как мог мужчина ответить на такой вопрос? И у евреев, которые пытались ответить на него, разрывалось сердце.

Да и какое значение имел ответ? Все они проиграли. До 10000 — выигрыш, свыше 10000 — проигрыш. Выиграешь жену — потеряешь мать, выиграешь мать — потеряешь жену.

Перед смертью евреев Вильнюса совершенно измучили.

Весь этот невыносимый процесс достиг апофеоза, и Исполнители уже готовы были уничтожить всех, когда они узнали о движении сопротивления, которое возникло в гетто.

На станции Малкиня на пути из Варшавы в Вильнюс были арестованы две девушки. При них была найдена записка, адресованная Объединенной партизанской организации. Они погибли под пытками, но никого не выдали.

Гетто стало пороховой бочкой и Исполнители прекратили облавы. Малейший инцидент мог вызвать восстание, которое угрожало перекинуться на все остальные гетто Польши, Литвы, Украины и Белоруссии.

ГЛАВА III

Это началось в ночь на Йом-Кипур.

Все предшествующие дни в импровизированных синагогах гетто раздавалось эхо отчаянных молитв-проклятий. В эти дни, глядя в лицо Вечности, евреи Вильнюса отрекались от своих напрасных надежд. Они представали перед Б-гом во всей своей наготе и полные страха и мольбы отдавали себя в Его руки: «Услышь мой голос, посмотри на мои слезы, защити меня и скажи мне наконец: “Я прощаю тебя”. Мы в Твоих руках, подобно глине в руках гончара, подобно камню в руках каменотеса, подобно топору в руках плотника. Так и мы в Твоих руках, Ты, кто дает нам все».

Так пришел Йом-Кипур, день Искупления, день Гнева, темный и грозный в своем молчании. В час заключительной молитвы все гетто стояло в огромной синагоге, покачиваясь в мистическом экстазе. «Все города тверды в своих зданиях, Святой Город утонул в недрах земли» — пропел кантор, и толпа задрожала, напряженная, печальная, молящая. Экстаз достиг

кульминации, когда прозвучал священный рог — Шофар, оповещающий о конце поста.

В ту ночь забрали и увели тысячи людей. Они уходили в ледяной тишине все еще под влиянием мистического пыла, который еще не рассеялся, хотя уже угасал. Тишина нарушалась только отдельными приглушенными рыданиями, которые едва слышно сотрясали воздух.

В эту ночь тайные группы выскользнули из гетто через систему канализации в лес, чтобы встретиться с Мордехаем Тененбаумом, который собрал вместе первые ядра того, что впоследствии стало Объединенной Партизанской Организацией.

Все участники были моложе 20 лет. Все были членами сионистских молодежных групп. Со времени прихода немецких войск они жили в укрытиях, не проявляя интереса к тому, что происходило вокруг. Они считали, что все происходящее с евреями диаспоры их не касается, что их жизни и все их силы принадлежат только земле Израиля.

Встреча была короткой. Мордехай Тененбаум задал им только один вопрос:

— Какое значение имеет сионизм, если не будет больше евреев?

Впервые эта проблема предстала перед ними в новых условиях. Мордехай попросил каждого из них подумать об этом и обосновать свою позицию по этому вопросу. Потом он ушел в лес.

Несколько недель спустя на окраине Вильнюса в бенедиктинском монастыре состоялось собрание членов молодежной левосионистской организации Ха-Шомер Ха-Цаир. Обсуждалась проблема, поставленная Тененбаумом. Дискуссию открыла Хайка Гроссман:

— Мы подходим к концу того периода, когда все наши усилия были направлены на спасение членов нашего движения. Были ли мы правы, поступая так? Должны ли мы продолжать игнорировать судьбу нашего народа? Как движение, мы не интересуемся диаспорой. А как евреи?

Дан Ариэль, чья роль позже стала наиболее значительной, ответил первым.

— Я хочу напомнить факты, — начал он. — Вы все слышали о Песе Аронович, женщине, которой удалось убежать из Панеряя. С тех пор у нас были и другие свидетельства очевидцев. Мы не можем больше закрывать глаза и верить, что те кто были депортированы, еще живы. Правда в том, что их увезли в Панеряй на смерть».

Дан Ариэль говорил сухо, без эмоций. Он сообщал факты, и его короткие, отрывистые фразы развеивали последние остатки надежды.

— И если это еще не вся правда, то вся правда еще ужаснее. Уничтожение нескольких тысяч евреев — это только прелюдия к уничтожению миллионов, т. е. к нашему полному уничтожению.

— Я не понимаю, почему Вильнюс залит кровью, а Белосток продолжает жить мирной жизнью. Те, кого мы посылали туда, вернулись назад, ничего не понимая. Там считают все кошмары плодом нашего воображения, настолько спокойна обстановка в городе. То же самое происходит в Варшаве и во всех городах Польши. Я не знаю, почему так происходит, почему Белосток пощадили, а Вильнюс — нет, или почему все города не залили кровью одновременно. Но одно мне ясно: урок Вильнюса касается не только его одного. Панеряй — это не причуда вильнюсского гарнизона. Желтая звезда — это не изобретение местной комендатуры. Все это — часть целой системы. Остальное — чистый макиавелизм. Мы присутствуем при работе хорошо отлаженного механизма, ключа к которому у нас еще нет.

В ночь на Йом-Кипур не они одни задавали себе подобные вопросы. Но многие, даже если они и понимали правду о Панеряе, не хотели верить, что они являются свидетелями начала уничтожения еврейского народа. И теперь каждая фраза, произнесенная Даном, болезненно ранила их.

— Есть ли какой-нибудь путь к бегству? Нет, при этой отлаженной системе бегство из одного места в другое — только иллюзия. И как любая иллюзия, она глупа. Да и кто сможет убежать из Вильнюса и добраться до Белостока и Варшавы? Молодые и здоровые! А слабые, старики и дети останутся в городе, приговоренные к уничтожению. А когда трагедия достигнет тех городов, где мы думаем найти убежище, она застанет нас одинокими, совершенно дезориентированными и морально сломленными тем бесполезным трусливым актом, который мы бы совершили, бросив свой народ. Возможно, мы уже сейчас достаточно виновны в такой трусости. Вот почему нашим первым ответом должно быть: побег — это не решение проблемы.

Какие же шансы есть у евреев? Каким бы жестоким ни был ответ, мы должны ответить ясно: их нет. У евреев нет ни малейших шансов спастись от уничтожения. Нескольким десяткам, может быть, сотням, удастся уцелеть. Но для нашего народа в целом, для миллионов евреев, живущих на захваченной немцами земле, нет ни малейших шансов. Что же нам делать, если, с одной стороны, мы не можем бежать, а с другой — нас истребляют?

Дан Ариэль секунду помедлил, а затем другим тоном произнес:

— Наше единственное решение — готовиться к бою прежде, чем мы умрем.

Наступила долгая мучительная тишина. Бывает правда, которую трудно вынести. Некоторые должны были еще подготовить себя к этой правде. Яков был первым, кто смог ответить:

— Вся наша жизнь, — сказал он, — была направлена на то, чтобы попасть в страну Израиля, это только несчастный случай, что мы еще в изгнании. Европейское еврейство переживает сейчас катастрофу, но мы порвали с ним в тот день, когда присоединились к движению. Мы воспитывались, чтобы работать и бороться в стране Израиля, а не здесь. Ради этой цели мы пожертвовали всем — нашими радостями, нашими ночами, нашим отдыхом и даже нашими семьями. Я не трус, но я спрашиваю: имеем ли мы право пожертвовать страной Израиля ради бесполезной битвы здесь? Кто мы — романтические мечтатели или строители будущего? Для меня единственное будущее еврейского народа только в стране Израиля, и только строительством этой страны мы можем спасти наш народ.

— Яков, — перебил Давид Розен, — я хочу задать тебе один вопрос: что ты скажешь детям Израиля, когда они спросят тебя, а что ты делал, когда уничтожали тысячи и миллионы наших братьев?

— Ну, я... — Яков заколебался.

— Ты скажешь им: «Мы спасали наши шкуры, мы стали королями подполья. Конечно, это было не очень героически, зато мы остались живы».

— Нет, Давид, — проговорил Яков, — ты меня не понял. Я не боюсь, по крайней мере, не больше, чем любой. Я не трус, но смерть, о которой говорит Дан, кажется мне совершенно абсурдной и бесполезной.

Им не было еще и 20 лет, а они говорили о смерти как ветераны или философы. Но эта смерть была не просто возможностью или гипотезой: она была определенностью, и только способ смерти зависел от их выбора, и этот выбор был очень трудным. Давид продолжал:

— Ты прав, Яков, думать нужно только о будущем, поскольку настоящее мертво. Но над нашим народом нависла двойная угроза. Во-первых, физическая угроза уничтожения. Но есть еще и моральная угроза, которая даже серьезнее первой, — это как нас уничтожают. Если ни один еврей не окажет сопротивления, кто же захочет когда-нибудь снова быть евреем? Со времени разрушения Храма и героической обороны Масады вся наша история — это сплошное уничтожение и беспомощность. Если нас сейчас истребят, как мы можем надеяться, что новое поколение, которое родится в стране Израиля, будет сильным и смелым? В чем будет оно искать источник героизма? Это наш долг обеспечить их будущее. Мы должны бороться за честь нашего народа, и тогда наша смерть не будет бесполезной.

Все молчали и пытались представить себе, как выглядит смерть. Вдруг заговорил Нахум Эпельбаум:

— Я не против смерти, — начал он глухим голосом.

Ему было 17, но он выглядел тридцатилетним. Это был высокий, крепко сколоченный парень с телом, покрытым густыми черными волосами. Никто и никогда не видел его расстроенным или усталым. Его сила снискала ему прозвище «Бык».

— И я не против, если мне поставят памятник в стране Израиля. Но мы не хотим действовать, как дураки.

Эти простые слова прозвучали контрастом с тем, что говорили другие.

— У нас есть ответственность за будущее, но мы также несем ответственность за 20000 евреев, которые еще находятся в Вильнюсе. Если верить Дану, они все знают. Я готов. Я думаю, Дан знает обо всем больше меня, но у нас еще нет полной уверенности. Мы не хотим начинать чего-то такого, что может принести им смерть, потому что история не простит нам этого.

Вернувшись к более практическим проблемам, Нахум разрядил атмосферу, и дискуссия стала общей.

Потом продолжал Дан Ариэль:

— Конечно, доказательство того, что наш народ приговорен к уничтожению, может быть получено только тогда, когда последний еврей упадет, скошенный смертельной пулей. Но именно сегодня мы должны выбрать — или подготовить себя и евреев гетто к борьбе, или отдать себя на милость победителя.

— Предположим, что евреи не захотят сражаться?

— Это будет нашей работой — заставить их захотеть. Мы развеем их иллюзии, предложим им выбор — умирать в бесчестии или умирать в борьбе.

— Из двух решений я всегда выбираю третье, — пробормотал Нахум.

— Что же именно? — спросил Дан Ариэль.

— Ничего. Просто я вспомнил, как мой отец, бывало, говорил: из двух решений я всегда выбираю третье.

Идея вооруженного сопротивления была рождена. Сионистская молодежь пересмотрела свои взгляды: если не жить, то, по крайней мере — сражаться. Пока одни наводили контакты с другими сионистскими группировками и с коммунистами, Дана Ариэля назначили ответственным за неорганизованную молодежь и за всех тех в гетто, кто был способен принять участие в борьбе. Задача была трудной, потому что для того, чтобы убедить людей сражаться, необходимо было прежде всего лишить их надежды. Что он мог предложить им вместо иллюзий? Почетная смерть — это еще не очень много. Но он говорил с такой верой, что скоро в гетто зародилась идея самообороны.

Первый публичный митинг состоялся 31 декабря 1941 года. Снег, непрерывно падавший целую неделю, покрыл все вокруг, и даже гетто казалось чистым. Из арийской части города слышались крики, смех, пение. Отрывки из песни «Хорст Вессель» оскорбляли уши людей, которые тайно пришли к дому 2 по улице Страшуна, где должен был состояться митинг. «Когда

еврейская кровь потечет под нашими ножами», — слышали они и еще ниже наклоняли головы, как если бы чувствовали холод лезвия у своего горла. Чувство беспомощности больше не вызвало у них гнева. Они страдали слишком много. Они чувствовали себя растоптанными дьявольской силой, неизмеримо большей, чем они сами, и шли на это собрание, чтобы не испытывать совершенного одиночества, чтобы хоть на несколько часов почувствовать рядом чье-то тепло.

Дан Ариэль был взволнован. Помещение быстро наполнялось. Здесь уже было больше 200 молодых людей. Они говорили низкими испуганными голосами, и весь дом, казалось, мягко жужжал. Все в них говорило о нищете, страхе и растерянности: их большие не по размеру шапки, спускающиеся на глаза, их истощенные лица, но больше всего их глаза, увеличившиеся от голода и отупевшие от страха. Огромное чувство любви к ним наполнило его, и на какое-то мгновение он подумал, хватит ли у него смелости отнять у них все иллюзии, не лучше ли будет дать им спокойно умереть в их упрямом стоицизме. Они казались ему одновременно и очень близкими и очень чужими — близкими из-за своего несчастья, чужими из-за своего отказа сопротивляться. И это покорное подчинение страданию восстанавливало его против них. «Евреи как-то особенно созданы для страданий и в этом их несчастье», — думал он. Он принял решение: он сделает из них бойцов.

— Братья евреи, — начал он. Он почти не повысил голоса, но напряжение было так велико, что все смолкли. — Прекратите слушать тех, кто обманывает вас. Из 60000 евреев Вильнюса осталось не больше 20000. Где те тысячи людей, которых депортировали, где женщины и дети, которых забрали, где тысячи взятых в Йом-Кипур, где все те, кто не дошел до гетто? Ни один из этих людей не вернулся, потому что их забрали в Панеряй. А Панеряй означает смерть.

Он остановился и окинул взглядом собравшихся. Все смотрели на него не двигаясь, молча, непроницаемо.

— Бросьте иллюзии! Ваши дети, ваши мужья, ваши жены мертвы. Панеряй — это не трудовой лагерь, никто еще не вышел оттуда живым. Гитлер намерен уничтожить всех евреев Европы, и начал он это с Литвы. Мы слабы и безоружны, но разве должны мы поэтому разрешать вести себя на убой как баранов?

Люди заволновались.

— Есть только один способ ответить мясникам — восстание. Не разрешим больше ни одному еврею покидать гетто, ответим ударом на удар, кровью за кровь. Давайте, по крайней мере, защитим нашу честь, поскольку наши жизни не принадлежат больше нам самим.

Все замерли. Никто не мог говорить. Глаза у всех сверкали, а у многих они были полны слез. Дан Ариэль, который был также взволнован, как и его слушатели, тоже молчал. Он не знал, выиграл он или проиграл, и ждал реакции собрания с таким же напряжением, с каким штангист стоит на помосте с поднятой штангой, прежде чем сбросить ее на пол. Вдруг раздался голос, одинокий и дрожащий. Дану показалось, что никто не подхватит песню, но когда зазвучал второй голос и почти одновременно третий, произошло чудо. Все помещение словно взорвалось. Это была не песня, а крик. «Ха-Тиква»[1] стала криком ненависти, песней отчаяния и надежды, ответом на немецкую фашистскую песню.

На следующий день в гетто воцарилась новая атмосфера. Каждый, кто был на митинге, стал пропагандистом идеи сопротивления. Одни слушали их с симпатией, другие боялись, что эта затея плохо кончится. Некоторые считали, что трагедия, которую переживает еврейский народ, послана ему Б-гом как наказание, и что эти молодые сионисты, которые говорят о чести еврейского народа, а сами даже не верят в Б-га, просто безответственные юнцы. Что они знают о чести еврейского народа или о его миссии? Но большинство было слишком забито, чтобы слушать или спорить. Для них имело значение только одно — жить, выжить — и чем больше их запугивали, тем важнее это становилось.

Благодаря серьезным организационным усилиям были налажены контакты со всеми другими организациями: Поалей Цион (Сионистской социалистической рабочей партией), Бундом (несионистской социалистической партией), Бетар (молодежной группой экстремистских сионистов) и коммунистами.

23 января на чердаке дома 6 по Рудницкой улице состоялось первое общее собрание участников Сопротивления. Вначале обсуждалось спокойствие, царившее в других гетто и скептицизм евреев. Было решено послать сообщения в другие города, чтобы предупредить людей и чтобы урок Вильнюса не был напрасным. Пронести эти записки было поручено двум сестрам Зильбер, Сарре и Розе. Обе они были блондинками, не похожими на евреек. Именно их арест на обратном пути в Вильнюс и открыл Исполнителям существование движения Сопротивления в гетто.

Затем долго обсуждался вопрос, где следует сражаться — в гетто или в лесу. Идеалисты хотели сражаться в гетто, чтобы привлечь всех евреев к финальной демонстрации чести. Реалисты думали, что сражаться в лесу эффективнее.

В конце дискуссии Исаак Виттенберг, рабочий-коммунист, который должен был возглавить Объединенную Организацию Партизан, предложил оставаться в гетто до конца, чтобы навязать врагам заключительное сражение и затем бежать, захватив с собой сколько можно будет людей, по заранее разработанным маршрутам.

— Как коммунист, — сказал он, — я считаю, что сражение

[1] Гимн сионистского движения, с 1948 года — государственный гимн Израиля.

в гетто неразумно, но как еврей я чувствую ответственность за своих братьев.

Но откуда они могли узнать, когда будут ликвидировать гетто? Было решено устроить молодую девушку с арийской внешностью в штаб-квартиру гестапо. Это был очень смелый план, и возможно поэтому, он удался.

Когда Виттенберг упомянул о красивой молодой девушке с арийской внешностью, все подумали о Лидии. Мало было мужчин в еврейской общине Вильнюса, кто не был в нее влюблен. Ее отца одним из первых забрали в Панеряй и после этого она исчезла. Потом узнали, что она живет в арийской части города. Один литовец взял ее к себе и зарегистрировал как дочь. Когда ей предложили пойти работать в гестапо, она согласилась, и ее глаза загорелись. Исаак Виттенберг решил лично поговорить с ней. Его встревожил тон, которым она ему отвечала.

— Лидия, — сказал он, — это очень опасно.

Она долго смотрела на него. Впервые у нее были глаза взрослой женщины.

— Я люблю опасность, — ответила она. — И никакая опасность не заставит меня забыть, что они сделали с моим отцом.

— Но ты еще совсем молодая девушка, Лидия!

Я больше ничто. Я больше не девушка, не женщина. Я только ненависть. Я живу только чтобы отомстить. Я никогда не увижу Израиля, я никогда не буду любить, не буду иметь детей или свою семью.

Виттенберг был сильным человеком, и его нелегко было растрогать. Он знал, что борьба, которую он начал, восстание, которое он хотел организовать, могли закончиться только его смертью, и он требовал наивысших жертв от всех окружающих мужчин. Но даже сейчас, в глубине души, он сохранил веру в жизнь, в человека, в будущее. Он был готов умереть, но все же иногда говорил: «потом», «позже». Лидия же, наоборот, закончила все счеты с миром и не ждала больше ничего ни от кого. Он пожалел, что доверил ей эту миссию.

— Слушай, Лидия, — сказал он взволнованно. — Ты погубишь себя. Будет лучше, если ты уйдешь в лес и будешь работать там.

— Нет больше леса, Исаак, ничего больше нет. Весь мир мертв.

— Ты не можешь выполнить свою задачу с таким настроением. Тебя тут же схватят.

— Ты хочешь знать, когда будут ликвидировать гетто? — перебила она нетерпеливо. — Я узнаю об этом за несколько дней до ликвидации. Прощай, Исаак.

Виттенеберг быстро взглянул на нее. Затем, чтобы что-то сказать, пробормотал:

— До свидания, Лидия. Будь только осторожнее.

Снова он увидел ее через месяц. Она была одета в немецкую форму, оттенявшую ее светлые волосы. Она «инспектировала» гетто вместе с эсэсовским офицером. Виттенберг подумал, что она не узнала его, но когда он проходил мимо, то услышал, как она спросила глухим и глубоким голосом:

— И эти евреи все еще не сопротивляются?

— Не могут. Слишком трусливы, — прорычал офицер.

Виттенберг уже прошел мимо них, но почувствовал на себе чей-то взгляд. Он повернул голову. Лидия смотрела на него своими проницательными глазами.

Военная часть организации движения сопротивления была создана через несколько дней. Она состояла из центрального штаба численностью пять человек. Старшему, Исааку Виттенбергу, было 23 года. Все участники были разделены на 2 бригады, состоящие из восьми секций, каждая секция состояла из трех групп по пять человек в каждой. Оба командира бригад были членами центрального штаба. Каждая бригада должна была выделить резервную секцию в распоряжение центрального штаба. Задача каждого была простой: как только объявят мобилизацию, он должен занять свою позицию с любыми подручными средствами, если у него нет никакого оружия. Если нет и подручных средств, то с голыми руками.

— А что насчет стратегического отступления? — спросил кто-то в ходе обсуждения.

— Мы не делаем стратегию, мы делаем войну, — ответил Виттенберг. Это не было ответом, но все поняли. Они сражались не для того, чтобы выиграть или выжить, а для того, чтобы послать известие будущему, истории, человечеству или Б-гу, каждый в меру своих убеждений.

Они собирались обсудить проблему оружия, когда кто-то рассеянно спросил:

— А чем же мы будем сражаться?

— Вот этим, — ответил Дан Ариэль, бросая на стол пистолет. — Борух Гольдштейн украл его у немца, которому он больше не понадобится. Нам придется доставать оружие везде, где только сможем его найти.

После начальной фазы подготовки — создания специальных групп подрывников и минеров, установки радиоприемников, издания подпольного журнала «Знамя свободы», производства самодельного оружия и взрывчатки, организация решила продолжать готовиться к обороне. Диверсии должны были тренировать людей, давая в то же самое время разрядку их нетерпению. Было много случаев, в которых смелость сочеталась с изобретательностью. Вдруг грузовики переставали заводиться, а винтовки — стрелять, бензоколонки начинали взлетать на воздух, меховая фабрика сгорела, пороховой склад взорвался. Однажды был взорван поезд с оружием, отправлявшийся на

фронт. Взрывом были выбиты окна в городе. Сотни поляков и литовцев были арестованы, но расследование ничего не дало. Гестапо уже собиралось закрыть дело о взрыве, когда бригада из Малкини сообщила об аресте Сарры и Розы Зильбер.

ГЛАВА IV

Сопротивление создало новые проблемы для Исполнителей. Они не очень беспокоились, потому что могли сравнять с землей все гетто Вильнюса, не рискуя ни одним своим человеком. Они могли просто расстрелять его артиллерией. Конечно, было бы смешно использовать осадные орудия против евреев, но одними насмешками тоже не убьешь. Исполнители были просто удивлены. Эта проблема заставила их пересмотреть всю их стратегию, которая была основана на «доброй воле» жертв, доброй воле, которая устраивала всех: убийц, чья работа облегчалась, и жертв, чья смерть упрощалась. Действительно, рассуждения Исполнителей были не лишены логики: поскольку так или иначе евреи должны были умереть, это должно было происходить быстро, без протестов, без бесполезных восстаний — короче, без беспорядков. Исполнители, которые во многих областях допускали слабости, в этом вопросе были непримиримы. «Порядок и эффективность» — вот был их девиз. Взамен их жертвам гарантировалась быстрая смерть и минимум страданий. Эта гарантия основывалась на таком же логическом доводе: «Зачем нужно заставлять евреев страдать, когда животных же не заставляют?» За небольшим исключением, вытекающим из человеческой слабости, Исполнители не были садистами, они были всего лишь «Исполнителями».

И поскольку все их помыслы были направлены на эффективность, они вынуждены были внимательно отнестись к проблемам, поднятым непредвиденным движением Сопротивления. Было одно обстоятельство, которое устраивало их в методе, применявшемся раньше — легкость, с которой они уже уничтожили две трети гетто. Этим методом были достигнуты неплохие результаты. Поэтому они решили продолжать придерживаться старого метода, приспособив его к новым условиям. Их принципом было моральное разоружение жертв посредством искусных доз паники и неопределенности. Это разоружение принуждало жертву совершать определенное число незначительных уступок, которые вели к другим, те, в свою очередь, к третьим и так далее, пока они, наконец, не получали пулю в затылок, стоя с наклоненной головой и руками, опущенными в полной покорности.

С этой точки зрения, проблема была не в том, чтобы разрушить ядро Сопротивления, а в том, чтобы лишить его власти над еврейским населением. Для этого стадо должно было отвергнуть своих «плохих пастухов», в идеальном случае — предать их. Тогда не только защита их будет оголена, но и сами они будут настолько скомпрометированы, что и смерть их будет потом восприниматься как справедливое возмездие.

Установив принцип, немцы стали претворять его в жизнь. Во-первых, следовало восстановить в гетто уверенность. Для этого нужно было заставить евреев поверить, что депортация закончена и жизнь возвращается в нормальное русло. Поэтому Исполнители вызвали к себе Якова Генса, шефа еврейской полиции гетто и главу юденрата. «Наш дорогой Генс, — сазали они, — время облав закончилось. Ваши евреи нужны нам для военной промышленности. Заставьте их работать, и мы гарантируем, что больше не будет депортаций». Затем он был провозглашен президентом юденрата.

Яков Генс был беспокойным человеком. Выходец из низов, не имевший никакого образования, он начал делать карьеру в начале оккупации Вильнюса простым еврейским полицейским. Когда первый юденрат, который понял уготованную ему роль, был уничтожен, Генс собрал вместе всех полицейских и произнес безумную речь, в которой утверждал, что их обязанность — оставаться и поддерживать порядок, в противном случае это сделают сами немцы и литовцы. Эта речь ознаменовала начало его головокружительного подъема к власти. Его «ответственное» отношение к делу принесло ему назначение на пост шефа полиции во втором юденрате. Старательно выполняя поручения немцев, он руководил еврейской полицией во время облав и пересчитывал у ворот тех, кого уводили в Панеряй. Он проявлял такое рвение во время этих операций, что все гетто стало ненавидеть его. От этого он очень страдал и однажды на литературной встрече попытался оправдаться. Оставив у двери своего охранника, он один вошел в комнату, которая встретила его враждебным молчанием.

— Многие из вас думают, что я предатель, — сказал он. — Другие удивляются, что это я делаю на литературном вечере в гетто. Я, Генс, вскрываю подпольные убежища, в которых евреи прячутся от депортации, и у меня, у Генса, много хлопот, чтобы достать бумаги и сертификаты для обитателей гетто. Я Генс, охраняю еврейскую кровь, а не еврейскую честь. Когда они просят у меня тысячу евреев, я даю им ее, иначе немцы придут и возьмут сами, и возьмут не тысячу, а десять тысяч. Давая им сто евреев, я спасаю тысячу, а давая им тысячу, я спасаю десять тысяч евреев. Вы тут все посвятили себя высоким материям, вы не занимаетесь грязной работой в гетто. Вы хотите остаться чистенькими, и если вам повезет уцелеть, вы сможете сказать: наша совесть чиста. А я, Яков Генс, если мне повезет остаться в живых, буду грязным, и мои руки будут покрыты кровью.

На следующий день его стали звать «лжемессия».

После назначения главой юденрата, он начал проявлять интерес ко всем аспектам администрации гетто, и его тексты

заполнили страницы местной газеты «Новости гетто». Одна из написанных им передовых статей, опубликованная после прекращения депортации, послужила тому, что Исполнители выбрали его для своих целей. «В управлении гетто, — писал он, — так же как и в рабочих командах, нашей обязанностью является доказать, что предвзятое мнение о нашей непригодности для работы совершенно неверно. Мы должны доказать, что мы необходимы для процесса производства и что мы являемся незаменимыми в настоящих условиях военного времени. Сейчас в гетто 14000 рабочих. Нашей целью должно быть доведение этой цифры до 16000. Мы должны произвести отбор среди рабочих, чтобы увеличить выпуск продукции и тем самым увеличить свое право на существование. Поэтому наши рабочие вне гетто должны отказаться от своих работ, даже если они очень хорошие, и идти на те работы, которые будут полезны в общих интересах».

Уходя из штаб-квартиры гестапо, Генс сиял от радости. Он был уверен, что немцы поняли призыв, содержащийся в его последней статье. Он, Яков Генс, заставил угнетателей прислушаться к разумным доводам. Он был новым спасителем своего народа. Решив щедро отметить начало своего правления, он в тот же вечер организовал большой банкет. На банкете полицейские преподнесли ему огромный будет цветов, который они собрали сами. Банкет продолжался всю ночь с многочисленными тостами за «здоровье Якова Генса, спасителя евреев».

На следующее утро немцы прислали ему гуся.

— Генс, Ганс[1] — это одно и то же, — объяснил посыльный. — этот гусь будет вашей эмблемой.

Не подозревая иронии, Генс сердечно поблагодарил его. Он посадил этого гуся в большую клетку перед юденратом и назначил специального полицейского охранять птицу. Злые языки говорили, что этого гуся кормят лучше, чем людей в гетто.

В тот же день объявления о его назначении были вывешены на всех стенах гетто, и Генс получил удовольствие от того, что смог выпустить свое первое воззвание. Для членов движения Сопротивления в нем предлагалось все — от амнистии до вечного мира. Воззвание открывалось тем, что стало его девизом:

«Основные слова в гетто: Работа, Дисциплина и Порядок. Никто из нас не должен пренебрегать работой или вступать на дурной путь, который ведет к преступлению. Рассчитывая на понимание всего гетто, я отдал распоряжение освободить всех, ранее задержанных. Объявляя всеобщую амнистию, я даю преступникам возможность перейти к честному существованию. Однако пусть будет известно, что в случае необходимости, я незамедлительно прибегну к строгим мерам в объявленной мною кампании против преступников и их действий.

1 *Gans* (нем.) — гусь

Яков Генс,
Президент юденрата и шеф полиции»

Так в этом нелепом мире обреченных родилась собственная диктатура.

Затем Яков Генс вспомнил о столпах своего режима — полицейских. Им сшили новую форму и фуражки, отороченные золотой тесьмой. Для себя он сделал адмиральскую форму. Его фуражка была отделана пятью рядами золотой тесьмы.

Вначале в гетто были ошеломлены этим маскарадом. Но затем, когда снова воцарилось спокойствие, люди стали верить в Генса. Члены Сопротивления только улыбались, глядя на эту комедию. Они считали Генса более смешным, чем опасным.

И все-таки гетто было одурачено этим спокойствием. Люди снова стали надеяться — так сильно желание жить у тех, кто много страдает. Наступила весна. Дни становились длиннее и теплее. Кошмары отступали, Панеряй казался только сном. По молчаливому согласию никто не вспоминал о тех, кто исчез.

Это блаженное состояние продолжалось долго. Следуя своему методу, Исполнители назначили Генса шефом всех гетто Литвы и Белоруссии. Это событие было отмечено новой вакханалией. Новый «император», который вполне серьезно воспринимал свое назначение, направил инструкторов во все гетто своего государства, чтобы организовать их по образцу вильнюсского: «Работа, Дисциплина, Порядок». Вильнюс стал игрушечной столицей этой несуществующей империи.

Все это очень забавляло Исполнителей, но проблема ликвидации гетто застопорилась. Члены Сопротивления успевали совершать самоубийство еще до того, как их начинали допрашивать. Каждый из них имел под поясом взведенную гранату и мог легко взорвать ее резким движением живота. Опасная группа фанатиков.

Исполнители спрашивали не так уж много: только одно имя и этого будет достаточно, всего одно имя вождя. Они знали, что если станут искать всех участников Сопротивления, то потерпят неудачу. Слишком много семейных уз связывало членов движения с евреями гетто. Но если бы они стали требовать выдачи только одного вождя, одного человека, взамен двадцати тысяч — с помощью Генса они бы могли получить его. И даже не сам этот человек интересовал их. Идея была в том, чтобы его выдало само гетто. Бывают предательства, после которых трудно существовать, и Исполнители это хорошо знали.

Наконец удача улыбнулась им. Литовский партизан на допросе открыл имя вождя Сопротивления — Исаак Виттенберг.

«Дьявольская машина» уже давно была готова, оставалось только поджечь фитиль. Для этого они послали за Яковом Генсом.

— Наш дорогой Генс, — сказали они ему, — мы заключили

соглашение. Мы тщательно его соблюдали. К несчастью, вы не были столь же скрупулезны.

Генс был испуган и не знал, что происходит. Он выразил глубокую благодарность Исполнителям за то, как они держат свое слово, и заверил их, что все работают старательно и с энтузиазмом. Закончил он словами:

— Если что-нибудь вам не нравится, будьте так добры сказать мне — и я это немедленно исправлю.

Исполнители только этого и ждали.

— Яков Генс, еврей и сын еврея, ты такой же обманщик, как и весь твой народ. — Они затронули его больное место. Генс с момента своего возвышения пытался подражать «честности» своих хозяев, но не зная, к чему они клонят, он мог только робко пролепетать что-то о своей чести.

Исполнители дали ему некоторое время теряться в догадках. Когда они увидели, как у него на лбу выступил пот, они решили, что он уже готов.

— Конечно, что касается работы, — сказали они очень серьезно, — у нас есть все основания быть довольными тем, как вы управляете.

Генс просиял.

— Но мы узнали очень важные новости, которые доказывают вашу некомпетентность или ваше предательство, что более серьезно.

На этот раз Генс, как Авраам перед Б-гом, был готов принести в жертву собственного сына, лишь бы доказать хозяевам свою преданность. И они знали это.

— Мы узнали, что один агитатор пытается восстановить гетто против нас. Генс удивленно спросил:

— Агитатор? Никто не мог осмелиться...

— Мы даже знаем его имя!

Увидев возможность дешево отделаться, Генс слепо бросился в ловушку.

— Скажите мне имя этого человека, я умоляю вас, и я завтра же доставлю его вам.

— Мы и не ожидали от вас меньшего, наш дорогой Генс, — ответили Исполнители с улыбкой, намекавшей на предстоящее примирение. — Его имя Исаак Веттенберг.

Возвращаясь в гетто, Яков Генс проклинал движение Сопротивления, «этих безумцев, которые чуть не разрушили всю мою стратегию». Он быстро шел, бормоча вполголоса: «По крайней мере, мне удалось избежать худшего, благодаря моем хорошим отношениям с немцами. Но Виттенберг не ускользнет, я сам прослежу за этим», — бормотал он. Полицейские, которые шли рядом с ним, услыхали, как он произнес имя Виттенберга, и один из них побежал предупредить того, что что-то стряслось.

Узнав об этой новости, Виттенберг сразу же созвал

руководителей Сопротивления. Уже наступила ночь. В гетто царила глубокая тишина. Собравшиеся чувствовали, что холодная война закончилась и что скоро начнется насилие. Встреча только началась, когда прибыл посланец от Генса и сообщил, что Генс хочет немедленно видеть у себя Виттенберга и остальных руководителей. Две параллельные власти гетто знали друг друга и иногда виделись, но при подобных обстоятельствах этот вызов казался подозрительным. Почувствовав ловушку, руководители Сопротивления вначале хотели отказаться, но Виттенберг настаивал. Имея 250 хорошо обученных и готовых на все людей, он чувствовал себя хозяином гетто. Он решил отдать приказ об общей мобилизации и идти к юденрату, где его ждал Генс.

Через 15 минут все были на своих местах. Чувство гордости наполнило Виттенберга от такой оперативности. Двум специальным соединениям было приказано занять позиции вокруг здания юденрата и быстро разоружить бывших там членов еврейской полиции. Тем временем Виттенберг и его штаб вошли к Генсу.

Комната была полна полицейских.

— Исаак Виттенберг, ты арестован, — сказал Генс, делая знак своим людям. Виттенберг не оказал сопротивления. Генс ожидал схватки и был так удивлен, что начал бормотать извинения.

— Извини меня, но немцы знают о твоем существовании и угрожают разрушить гетто, если я не выдам им тебя завтра. Двадцать тысяч за одного. У меня нет выбора.

Виттенберг презирал Генса, но знал, что если бы не Генс, немцы нашли бы кого-нибудь другого для этой работы. В Вильнюсе было немало подонков. Он презирал Генса, но знал, что у него добрые намерения, что тот хочет добра евреям, как и сам Виттенберг. Только если один из них выбрал путь сотрудничества с убийцами, то другой выбрал путь сопротивления. Он захотел дать Генсу последний шанс исправить эту ужасную ошибку, которая вела евреев к деградации и неминуемой смерти.

— Послушайте меня, Генс. Я знаю, что вы уверены, будто действуете на благо евреям, но вы ошибаетесь, потому что немцы приговорили к смерти нас всех. Все ваши трусливые действия, все ваши предательства могут только отдалить конец, но конец неизбежен. Мы и раньше достаточно страдали, вспомните, погромы были такой же ежедневной нашей пищей как хлеб. Но то, что делается теперь, превосходит самое худшее, что мы когда-либо знали. Раньше они убивали нас с ненавистью, но безо всяких методов. Сегодня они уничтожают нас без ненависти, но методично, и это особенно страшно. Теперь против нас не люди, а машины.

Сам не свой от радости, что заполучил свою жертву, Генс позволил себе роскошь выслушать его.

— Если бы они еще ненавидели нас, мы могли бы попробовать

поговорить с ними. Если бы они имели что-то против нас, мы могли бы попытаться доказать им, что они ошибаются. Но они ненавидят нас не больше чем пауков. В их глазах наша единственная вина в том, что мы существуем. Мы все мертвы, Генс — вы, я, ваш сын и мой. Это только вопрос времени. Но у нас осталось еще что-то, что мы должны спасти: нашу честь.

Даже Генс был тронут. Он почувствовал близость к Виттенбергу, потому что его забота о еврейском народе была такой же большой, как и его, Генса.

Будущее покажет, прав ли ты, Исаак, — ответил он дружелюбно, — и чье имя будут проклинать потом: мое или твое. Но что-то говорит мне, что ты ошибаешься. Ты говоришь о чести как христианин, а не как еврей. Честь для еврея в том, чтобы почитать Б-га, как велел нам это Моисей. В Испании, когда христиане пытались заставить нас отречься от нашего Б-га, мы умирали на кострах. Но сегодня под угрозой не наша честь, а наша жизнь.

Было что-то невероятное в этой дискуссии о значении чести между двумя людьми, которые должны были стать и уже стали смертельными врагами. Обстоятельства диктовали так, что один из них должен был умереть, для того чтобы другой жил. Генс, если он не предаст Виттенберга, Виттенберг — если Генс предаст его.

— Поэтому, Исаак Виттенберг, я говорю, что ты неправ, ты ошибаешься, когда говоришь о еврейской чести. Почему Б-г послал такое наказание своему народу, я не знаю. Но одно я знаю: Б-г не может хотеть, чтобы Его народ был уничтожен. Потому что если бы Он хотел этого, Он нарушил бы Свое Слово, Он нарушил бы Свой Завет. Вот поэтому я знаю, что подчиняюсь ему, когда я предаю тебя для того, чтобы спасти еврейские жизни. Моисей вызволил евреев из лап фараона, Эстер от Амана, а теперь, возможно, Б-г выбрал меня.

Виттенберг слушал его ошеломленный и чувствовал, как в нем нарастает гнев.

— Вы сошли с ума, Генс. Сошли с ума от гордости. Вы только марионетка в руках немцев, а мните себя спасителем еврейского народа!

Оскорбленный Генс снова немедленно стал «диктатором» гетто.

— Может быть, я и сумасшедший, но я хозяин гетто, — сказал он вставая.

— Даже и этого нет, — презрительно ответил Виттенберг.

— Забрать его! — прорычал Генс.

Полицейские заколебались перед уверенностью Виттенберга.

— Посмотрите, кто хозяин гетто, — ответил Виттенберг, подходя к окну и открывая его.

Генс подошел, и взглянув в окно, тихонько свистнул. Повсюду виднелись силуэты людей. Он быстро отступил назад.

Виттенберг сделал знак своему штабу и они направились к дверям. Когда они пересекали порог, Генс выкрикнул с ненавистью:

— Я доберусь до тебя, Виттенберг. Или ты, или я!

Неотвратимое наступило. Руководители сопротивления объявили всеобщую мобилизацию.

Генс не спал в эту ночь. Он видел, что вся его стратегия рухнула из-за одного человека. Сорок тысяч уже были уничтожены в Панеряе. Что значил один человек в сравнении с сорока тысячами уже мертвых и двадцатью тысячами, которые должны были умереть. Он не беспокоился о своей собственной жизни, он уже пожертвовал ею за свой народ, но все его усилия пропадут. Гетто ликвидируют из-за этого безумца, которому следовало уйти в лес, раз уж ему так не терпится сражаться. Так как он не мог полагаться на свою полицию, он решил настроить гетто против Виттенберга. Но тут он вспомнил изречение из Талмуда: “Когда идолопоклонник говорит: Выдайте нам одного из вас, и мы убьем его, а если откажетесь, мы убьем вас всех, — лучше все погибнем, но не отдадим добровольно ни одной души Израиля идолопоклоннику”. Это заставило его вздрогнуть.

— Это невозможно, это невозможно, — повторял он, расхаживая взад и вперед по комнате перед своим помощником, который считал, что угрызения совести его шефа напрасны.

— Вы сказали «ни одной души»? — спросил вдруг его помощник.

— Да, а что? — ответил Генс, остановившись.

— Но они же требуют не его душу, а его тело!

Генс посмотрел на него с некоторым уважением. Подумав еще раз, он спросил:

— Ты думаешь, люди поймут наше истолкование?

— Они так боятся, что не будут вникать слишком глубоко.

Остаток ночи Генс провел, подготавливая речь, с которой он на следующий день собирался обратиться к населению гетто для того, чтобы они предали Виттенберга.

На рассвете следующего дня полиция проехала по городу, созывая население на площадь перед юденратом. Слухи о том, что немцы требуют Виттенберга, уже распространились по гетто, и все были в страхе.

Когда в окне здания появился Генс, наступила тишина.

Он начал с истории гетто. Он напомнил об ужасных облавах, о пропавших родственниках, о царившем тогда страхе и о том, в каком спокойствии уже несколько месяцев пребывает гетто. Затем трагическим тоном он добавил:

— Сегодня этот покой под угрозой. (Толпа задрожала). Под угрозой из-за одного человека. Я предупреждал его и его друзей. Я указывал им должный путь, но они предпочли не слушать

меня. Я оставил их в покое, потому что они такие же евреи, как и мы. Но сегодня их наглость ставит в опасное положение существование всего гетто. Вчера я послал за этим человеком и потребовал, чтобы ради спасения гетто он сдался сам. Он отказался, думая, вероятно, что его жизнь более ценна, чем все наши жизни.

Толпа уже знала, о чем он собирался просить ее, и задержала дыхание. Генс остановился и пробежал по лицам глазами, как бы выражая драму, происходившую в нем. Затем другим тоном, без патетики, он продолжал:

— Вчера меня вызывали в гестапо. Они предложили мне выбор: Виттенберг или гетто. Сегодня ваша очередь выбирать: один человек или двадцать тысяч. Решить надо до вечера.

Раздалось несколько выкриков: «Убить Виттенберга!», но на них никто не откликнулся.

Виттенберг пришел в дом, где собрался его штаб, через несколько минут после речи Генса. Всем уже было все известно. Люди отводили глаза, когда проходили мимо него по улице. Он был бледен.

— Несчастные люди, — сказал он, садясь. Никто ему не ответил.

Они собираются предать нас. Это безумие, до чего жажда жизни ослепляет даже самые светлые умы. — И вдруг он взглянул на своих соратников.

— Хоть на вас-то я могу рассчитывать? — спросил он агрессивно. Все подтвердили свою верность.

— Хорошо, тогда мы должны разработать стратегию.

— Мы загнаны в угол, — сказал кто-то, — восстание бессмысленно, если гетто против нас.

— В любом случае его все равно скоро ликвидируют, — перебил Виттенберг. — Сегодня или через шесть месяцев, какая разница? Давайте выполнять наш план.

— Народ обвинит нас в бойне, которую устроят немцы, — сказал кто-то еще.

— Наплевать! Я хочу только, чтобы евреи защищались.

Вдруг влетевший камень разбил окно, и они услышали крики: «Виттенберг трус. Он любит свою шею больше, чем гетто». На улице перед домом стояла толпа хулиганов.

Послушай, Исаак, — сказал его помощник. — Тебе лучше уйти отсюда. Если они найдут тебя, наш план рухнет и нам придется стрелять, чтобы спасти тебя, а я не уверен, что наши люди смогут стрелять в евреев.

— Ты прав, — ответил Виттенберг. — Я переоденусь и уйду через черный ход. Ему дали черное платье и платок, и он молча переоделся. Но уходя, он тут же вернулся, и, глядя на своих товарищей, холодно сказал:

— Пусть одно будет для вас ясно — я не сдамся.

Они не осмелились поднять глаза и ничего не ответили ему. Когда он вышел, кто-то подошел к окну и сказал, что Виттенберга в доме нет, и если они не верят, то могут войти и сами убедиться в этом. Потом вернулся и сел на стул. Молчание продолжалось долго. Самый молодой из них предложил выйти на улицу и совершить самоубийство.

Снова замолчали.

Виттенберг не решился вернуться к себе домой. Он продолжал бродить по улицам гетто, сжимая рукоятку своего пистолета.

Днем помощник Генса распустил слух, что немцы вызывают танки и самолеты. Новость быстро разошлась по гетто. Улицы прочесывались сворами собак. Началась охота на людей.

К двум часам стало известно, что танки уже пришли, и половина гетто спряталась в своих тайниках.

Доктор Гинзбург шел домой, и тут он встретил жену Виттенберга с ребенком. Она плакала. Ей удалось убежать, когда еврейская полиция собиралась взять ее как заложницу.

— Спрячьте меня! — попросила она его.

Ее сын смотрел на доктора, большие глаза были полны недетского горя.

Доктор повел их, чтобы спрятать в тайнике в своем доме. Другие жильцы смотрели на нее враждебно, но доктор успокоил их, сказав, что он отвечает за все.

Шум на улице был слышен даже в убежище. Никто не осмеливался пошевелиться.

— Вдруг сквозь шум раздался голос: Евреи во всех домах! Если через час Виттенберг не будет выдан, гетто будет разрушено. Ищите его! Он переоделся женщиной, он одет в черное платье, на голове у него платок. Евреи во всех домах...

Голос удалился, и стали громче слышны крики ненависти. Какая-то женщина в убежище сказала:

— Господи, хоть бы они нашли его скорее.

Жена Виттенберга посмотрела вокруг и увидела, что все согласны с этой женщиной. Она низко опустила голову, рыдание застряло у нее в горле.

Виттенберг пытался скрыться в толпе. Он чувствовал, что его окружают. И вдруг он увидел двух полицейских, направлявшихся прямо к нему. Он обернулся: сзади еще двое отрезали ему путь к отступлению. Он сделал два шага в сторону и быстро вытащил пистолет. Затем выстрелил и побежал вперед. Ошеломленные полицейские не успели среагировать, и он пробежал мимо них. Но те, кто был сзади, побежали за ним с криком: «Вот он, Виттенберг, держите его!» И толпа с криком помчалась за ним. Шум усилился.

Тогда он решил вернуться к своим товарищам по движению. К этому времени ему удалось оторваться от преследования, но что-то сломалось у него внутри. Он вошел в комнату, где штаб

заседал с утра. Помощник придвинул ему стул.

— Исаак, — сказал он, — ты должен сдаться.

У Виттенберга перехватило дыхание. Внезапно он вспомнил Лидию: «Нет больше леса, Исаак, ничего нет, весь мир мертв». Теперь он понял, что она имела в виду. Каким мечтателем он был! Честь, героизм — все это потеряло смысл. Осталась только ненависть, огромная, неистребимая ненависть, которую ничто не могло преодолеть. Но он не чувствовал в себе даже ненависти. Чтобы ненавидеть, нужно быть живым, а он уже был мертвым.

Дыхание снова восстановилось. Он поднял глаза.

— Ты прав, — сказал он таким голосом, как будто был уже далеко от них. — Мы даже не имеем права умереть, сражаясь. Мы были как дети, и этого оказалось для нас слишком много. — Затем, понизив голос, он добавил безразлично: — Пойди и найди Генса.

Последовало долгое молчание, и его помощник вручил ему ампулу с ядом. Виттенберг взглянул на него, как будто очнулся от сна.

— Спасибо, — сказал он и положил ее в карман.

Улицы гетто были пусты, когда он проходил по ним. Автомобиль гестапо ждал его на углу. Наклонившись, чтобы войти в машину, он быстро поднял руку ко рту. Послышался звук раздавленного стекла. Дверь захлопнулась, и машина уехала.

Через некоторое время гетто было ликвидировано.

ГЛАВА V

Хотя в «экспериментальном» гетто Вильнюса немцы добились успеха в «предварительной обработке» евреев, Панеряй все же не совсем удовлетворял Исполнителей. Слабость системы в этих масштабах стала очевидной, и этот способ был признан подходящим только для таких местных лагерей, как Бабий Яр для «обработки» евреев Киева или Яновский лагерь для евреев Львова.

Неудобства системы, как технические, так и психологические, проистекали из метода уничтожения — расстрела. Он давал слишком малую производительность и, кроме того, создавал какие-то отношения между палачами и жертвами, что было предосудительно с точки зрения морали.

Метод расстрела вызывал споры даже среди самих Исполнителей, которые делились на две школы: «классическую» и «современную». Первые считали, что стрельба должна производиться залпами с двенадцати шагов по команде, подаваемой командиром взвода. Вторые считали, что классические примеры не подходят для теперешней ситуации и предпочитали просто пулю в затылок. Последний метод, наконец, победил, благодаря своей большей эффективности. Но сразу же возникли

психологические проблемы.

При стрельбе взводом никогда не знаешь, кто кого убивал. При новой же системе акт расстрела, наоборот, становился личным делом. У каждого палача была «своя» жертва. Персонализация акта сопровождалась физической близостью, поскольку палач должен был стоять не далее как в полуметре от своей жертвы. Конечно, он стрелял, не глядя в лицо, но оказалось, что затылки, как и лица, у людей индивидуальны. Это скопление затылков — умоляющих, гордых, испуганных, широких, хрупких, волосатых или загорелых — быстро становилось непереносимым для палача, который не мог не ощущать определенного чувства вины. Как слепые лица, эти затылки преследовали его во сне. Парадоксально, что трудности возникали не из-за жертв, а из-за палачей. Поэтому Исполнители отнеслись к этим трудностям серьезно.

Так возникла проблема, без сомнения, появившаяся впервые в истории: как ликвидировать людей миллионами. Сегодня решение кажется очевидным, и никто не задаст себе такого вопроса. В 1941 году было по-другому. Немногие исторические прецеденты были бесполезными, будь то уничтожение индейцев испанцами в Южной Америке и американцами в Соединенных Штатах или турецкая резня армян в начале этого столетия. В этих трех случаях не было попытки применить новую технику. Не было никакого движения вперед по сравнению с проверенными веками повешением и расстрелом, что, как мы видели, не удовлетворяло Исполнителей. Нужно было изобрести убивающую машину. С методичностью, которая нам хорошо известна, Исполнители определили ее особенности. Она должна была быть незаметной, чтобы не вызывать беспокойства у жертвы или любопытства у свидетелей, и достаточно эффективной, чтобы соответствовать великим планам организаторов Окончательного Решения. Она должна снижать ручной труд до минимума и обеспечивать жертвам спокойную смерть.

Прошло много месяцев, пока прозвучало легендарное «Эврика!» Произнес его некто Беккер. Он изобрел фургон, в котором выхлопная труба вводилась внутрь герметически закрывающегося кузова. Жертву убивала окись углерода. Перед тем как послать свой проект по официальным каналам, Беккер провел ряд экспериментов и вывел определенную зависимость между мощностью мотора и объемом запечатанной камеры, в которой помещались жертвы. Они должны были умирать, спокойно засыпая в течение 10-15 минут, если мотор работал на средних оборотах. Кроме того, он предложил выкапывать огромные рвы на расстоянии 15-20 километров от мест концентрации евреев, для того чтобы фургоны, едущие со скоростью 40-45 км/ч, могли доехать туда, имея запас времени в 5-10 минут. Наконец, он предложил такую деталь, как фальш-окна, нарисованные

на внутренней стороне кузова, чтобы поддержать доверчивость жертв на самом пороге смерти. Беккер утверждал, что благодаря его системе евреи будут умирать, даже не подозревая об этом.

Исполнителей сразу же привлекла простота и рациональность проекта. Они начали быстро претворять его в жизнь. Первые газовые фургоны появились в эксплуатации в начале весны 1942 года. Их короткая карьера была серией разочарований для бедного Беккера.

Менее чем через месяц после того, как фургоны стали заменять расстрелы, в Берлин стали поступать сообщения с жалобами. Во всех сообщениях с горечью подчеркивалось, что газовые фургоны плохо убивают свои жертвы. Когда двери фургона открывались, жертвы представляли собой такое ужасное зрелище, что эсэсовцы должны были напиваться вдрызг, чтобы его выдержать. Беккер, которому передали эти жалобы, почувствовал, что его творческая гордость уязвлена, и решил сам посетить места событий. То, что он увидел, убедило его в том, что убить людей значительно труднее, чем можно было предположить. И снова, не сопротивление жертв вызывало трудности, а нежелание людей быть палачами. Водители газовых фургонов, осведомленные, чем чревата эта поездка для их пассажиров, проезжали требуемую дистанцию, до отказа выжимая педаль газа, чтобы как можно скорее избавить себя от этого грешного груза. А жертвы, вместо того, чтобы спокойно засыпать, умирали в страшной агонии и после своей смерти представляли неприятное для глаз зрелище, на которое жаловались палачи.

После напрасных попыток уговорить водителей, что и в их интересах и в интересах жертв ехать медленно, Беккер решил модернизировать свое изобретение путем введения в задней части фургона наклонной платформы, но его уволили.

История с водителями произвела очень плохое впечатление в высших сферах, где чувствовали, что не было смысла вкладывать так много денег в этот метод, который был не в состоянии решить психологические проблемы, поднятые техникой уничтожения. Звезда Беккера закатилась. После приказа о ликвидации Варшавского гетто о нем забыли совсем.

В гетто Варшавы было сконцентрировано свыше четырехсот тысяч евреев. Их уничтожение требовало создания техники соответствующих масштабов. Фургоны Беккера на пятнадцать или двадцать мест, в зависимости от типа грузовика, были не в состоянии справиться с такой задачей. Исполнители снова начали поиски. Но теперь они начинали не с нуля. В их распоряжении было два варианта: местный лагерь типа Панеряя и грузовики Беккера. Они сравнили их. Исполнители Панеряя решили проблему, как утилизации трупов, поручив эту работу командам самих евреев, специально отобранных для этой цели. Но этот способ был возможен только в сочетании с определенной

техникой уничтожения. Беккер же, с другой стороны, решил проблему затылков. Решение пришло в два этапа. «Исследователь», чье имя, к сожалению, утрачено историей, предложил совместить оба метода и установить грузовик Беккера в лагере типа Панеряя. Такое решение, покончив с теоретической проблемой, решало также и вопрос «выпуска продукции». Ограниченный размер газовой камеры был следствием того, что камера была передвижной, но поскольку теперь не камера приходила к евреям, а евреи шли к камере, то ничто не мешало увеличить ее, и незачем было оставлять ее на колесах. Короче, необходимо было спроектировать герметичное здание, в котором газ подавался бы мотором. Так родилась первая газовая камера. Долгий путь к ультрасовременным камерам Освенцима с использованием газа Циклон Б был открыт. Оставалось лишь разработать детали.

С созданием газовой камеры дилетантство, предположения и ошибки, неизбежные в каждом новом деле, закончились. Окончательное Решение вступило в эру современной технологии. Машина пришла на помощь Исполнителям. Технология брала верх там, где отступали добро и разум. Была создана почти совершенная система. Должен был родиться новый мир.

Перед войной на линии Варшава—Белосток, недалеко от железнодорожного узла, находилась маленькая, забытая станция со странным и красивым названием Треблинка. Она неожиданно возникала на сырой песчаной равнине, окруженной сосновыми лесами и болотами. Станция располагалась недалеко от советско-германской границы, установленной договором 28 сентября 1939 года, и использовалась для подготовки вторжения в СССР в июне 1941 года. Ее стратегическое положение послужило причиной визита высших чинов германского военного командования. Случилось так, что их сопровождало несколько Исполнителей, и этот загадочный и уединенный уголок привлек их внимание. Так в августе 1941 года недалеко от гранитного карьера, созданного для отдельной ветки железной дороги Седльце—Малкиня, было решено устроить смешанный лагерь для евреев и поляков. Весной 1942 года, когда подошла необходимость создать большой лагерь для уничтожения евреев Варшавы, Исполнители вспомнили об этой маленькой станции, затерянной в болотах.

После беглого осмотра территории и всего, что на ней имелось, они остановились на участке размером примерно в восемь акров, ограниченном с юга веткой, ведущей к гранитному карьеру, и отделенном от железной дороги Седльце—Малкиня и шоссе Косов—Малкиня на севере грядой холмов, поросших сосняком и укрывавшей место от чересчур любопытных глаз.

Поскольку день «Д», день депортации евреев из Варшавы, был назначен на день годовщины разрушения храма — девятое число месяца Ава, которое соответствовало в этом году 22 июля, работы начались немедленно.

Тяжелые работы предназначались для заключенных рабочего лагеря. Они построили вторую железнодорожную ветку, идущую от первой, которая вела к карьеру, ряд бараков и основное здание, содержащее три газовых камеры. Кроме того, они выкопали несколько больших рвов. Вокруг всей территории узники протянули заграждение из колючей проволоки. После этого они были уничтожены и заменены евреями, которых Исполнители специально отобрали из близлежащих местечек Венгров, Сточек и Вингровски. Эти евреи, которые с самого начала должны были обеспечивать нормальную работу лагеря, уносить тела и следить за работой оборудования, образовали первое ядро нового класса, которому было суждено не умирать, а страдать, наблюдая уничтожение своего народа. Свидетелей и соучастников этого уничтожения связывало только одно: жить любой ценой. Морально сломленные тем, что в силу создавшихся условий им приходилось делать, они готовы были делать все, что угодно, только бы жить. Но эта воля к жизни была чем-то большим, нежели инстинктом самосохранения, и поскольку Исполнители не понимали этого, они совершили свою первую ошибку.

Для еврея выжить — это больше, чем желание, это долг. Раввин Исаак Ниссенбаум из Варшавы, один из ярких представителей польского иудаизма, четко сформулировал этот долг. Во время своей кампании деморализации духа Исполнители создали в Варшавском гетто ряд военных заводов. Для того, чтобы избежать облав, евреи должны были иметь рабочие удостоверения. Чтобы получить их, они должны были работать на этих заводах и тем самым помогать своим врагам воевать. Как же следовало поступить? Помогать врагу, пытаясь выжить, или согласиться умереть, чтобы не унижать себя этой помощью? Они задали этот вопрос раввину Исааку Ниссенбауму. «Жить — это заповедь Б-га», — ответил он. — Когда они посягали на наши души, мы обращали свои молитвы к Его Священному Имени, но теперь, когда им нужны наши тела, пришло время считать священной жизнь».

Был ли элемент трусости в поведении еврейских масс, которые предпочитали страдать от любых унижений, но не восставать? В условиях, созданных яростным антисемитизмом местного населения и стараниями Исполнителей, у масс было мало стимулов для сопротивления. Восстание во имя чести еврейского народа, к которому призывали молодые сионисты, не находило в них глубокого отклика. Народ Книги, они ставили собственное достоинство превыше всего. Но восстание могло возникнуть от отчаяния, от сознания, что терять больше нечего, что жизнь потеряла всякий смысл. В этом случае это было бы восстание не ради чего-то, не ради какого-то идеала, а восстание против безысходности. Но еврей, настоящий еврей, воспитанный только

на еврейской культуре, может быть восприимчивым к мучениям, но невосприимчивым к отчаянию. Лидия погибла, после того как убила офицера СС. Исаак Виттенберг умер, преданный теми, за кого он решил умереть.

Дану Ариэлю удалось уйти из гетто перед его ликвидацией вместе с остатками организации. В лесах Литвы он собрал силы и организовал отчаянную борьбу, чтобы доказать немцам, партизанам, полякам, евреям, истории и самому себе, что евреи — не трусы. Но настоящий враг, с которым он сражался, был в нем самом, и он приложил столько же старания, чтобы погибнуть, сколько другие — чтобы выжить.

Те, кто хотел жить, понимали, что унижение было только одним из методов Исполнителей, и что они должны были бороться не против унижения, а против смерти. Этот выбор был опасным. Он вел к тому самоотрицанию, которое делало евреев соучастниками немцев в деле их собственного уничтожения. Последствия этого выбора угрожали настолько скомпрометировать имя «еврей», что мог настать день, когда никто не захочет носить его. Тогда победа Исполнителей была бы полной.

Первый эшелон вышел из Варшавы вечером 22 июля и прибыл в Треблинку утром 24-го. Был чудесный летний день, когда первый состав из двадцати вагонов отошел от ветки, обслуживающей карьер, и медленно вкатился в Треблинку. Как только все вышли из вагонов, женщин и детей отделили от мужчин. Не представляющий никакой ценности материал, после того как они разделись, был уведен в «душ». Все произошло очень быстро и без инцидентов.

С мужчинами это заняло больше времени, так как унтерштурмфюрер СС Макс Билас хотел отобрать двести человек для обслуживания установок. Он мог выбрать двести человек наугад, но это было бы нерационально. Билас хотел иметь двести рабов определенного вида: руководимых могучим желанием жить, годных для тяжелого физического труда и обладающих профессиональными навыками.

Так он определял основные черты последних евреев, евреев Смерти. Для того, чтобы произвести этот отбор, он изобрел четыре испытательных теста. Последнее развлечение должно было быть разыграно в четыре действия.

Первое испытание было простым, это был тест на минимальную образованность. «Квалифицированные рабочие — один шаг вперед!» Большинство сообразило, что квалифицированные рабочие, будучи полезными, имеют шансы на лучшее обхождение, чем остальные. Поскольку никаких дипломов и удостоверений не требовалось, то на месте остались стоять только те, кто был уже слишком сломлен периодом гетто, чтобы иметь хоть какие-то желания. Их увели к газовым камерам, где их жены уже заканчивали «принимать душ».

Второй тест, предназначенный сбить с толку кандидатов и уничтожить саботажников, был более сложным: «Все, кто может говорить по-немецки, — еще шаг вперед!» Конечно, все могли заявить, что говорят по-немецки, поскольку они знали идиш. Те, кто были поумнее, поняли эту ловушку и остались.

Другие, предполагая легкую работу переводчиков, сделали шаг вперед и проиграли — их тут же увели.

Четыреста кандидатов подошли к третьему испытанию. Это был тест на психологическую и физическую сопротивляемость. Построенные в шесть рядов, они были окружены украинцами, вооруженными кнутами и винтовками. Макс Билас, встав перед ними, объяснил идею предстоящего испытания.

— Евреи, — сказал он им. — Сейчас вас будут бить кнутами и винтовочными прикладами. Тех, кто упадет, застрелят, остальных помилуют. Если кто-то из вас предпочитает отказаться, у него есть право сделать это сейчас. Я не одобряю излишнего насилия и разрешаю им выйти из строя. Когда я сосчитаю до десяти, мы начнем.

Наступило глубокое молчание. Каждого искушало желание выйти из строя, присоединиться к своей семье и покончить со всем, но загадочная сила заставляла их не двигаться, ждать, играть в игру на выживание до самого конца. Макс Билас, строгий и безукоризненный в своей черной форме, смотрел на них. Его слегка располневшее лицо придавало ему одновременно и элегантный, и порочный вид. Издали его выцветшие голубые глаза были похожи на глаза слепого.

Стоя в первом ряду, Меир Берлинер, не сводил с него глаз. За два года, прошедших с тех пор, как он вернулся в Варшаву, чтобы разыскать своих родителей, он все еще не привык к тому, что происходило с ним. Родившись в Варшаве, он уехал из польской столицы, когда ему было тринадцать лет, после того как тайком прочел письмо своего дяди к отцу. В письме дядя приглашал брата с семьей приехать к нему в Аргентину. Так как его отец никогда не упоминал об этом письме, Меир понял, что его родители уезжать не хотели, и однажды утром, он убежал, даже не попрощавшись. Адрес дяди, написанный на клочке бумаги, был его единственным достоянием. Путь до Буэнос-Айреса занял у него два года, но когда он попал туда, он знал английский и испанский языки. В двадцать лет он сделал свой первый миллион, а в двадцать пять имел первого сына. Его жена ожидала шестого ребенка, когда он вернулся из Аргентины, чтобы найти своих родителей. Кошмар начался, когда война застала его в Варшаве. Имея аргентинский паспорт, он мог уехать из Польши, но он не хотел уезжать без родителей, потому что не мог забыть, какими глазами смотрела на него мать, когда он вернулся. С такой радостью она не встретила бы даже самого Мессию. Пока она целовала его руки, отец смотрел на него, бормоча что-то неразборчивое. В ту ночь он

снова спал в своей старой кровати. Но, в конце концов, началось гетто. Думая, что аргентинский паспорт защитит его от облав, он не предпринимал никаких мер предосторожности, даже когда отряды украинцев и эсэсовцев переворачивали гетто вверх дном. Его арестовали на улице, и в ответ на все попытки объяснить что он иностранный подданный, Берлинер не получал ничего, кроме ударов. На Умшлагплаце — площади в Варшавском гетто, куда сгоняли евреев для посадки в депортационные поезда — у него забрали паспорт, часы, деньги. Тогда он все понял.

Когда Меир Берлинер смотрел на Биласа, у него перед глазами промелькнули родители, жена, дети. Макс Билас выпрямился и медленно начал поднимать руку. Берлинер втянул голову в плечи, и в ушах у него зазвенело. Он услышал страшный крик, и его голова взорвалась от удара.

Так велика была воля евреев к жизни, что третье испытание длилось пятнадцать минут, и в конце даже не пришлось стрелять в тех, кто упал. Солдаты новой войны, они умерли стоя.

Последний тест продолжался до вечера. Уцелевшие после третьего испытания были разделены на две труппы. Одну послали переносить тела из газовых камер во рвы, а другую таскать одежду убитых на большое открытое место, где ее нужно было складывать в кучи. Все это они должны были делать бегом, не останавливаясь. Тех, кто спотыкался или тащил недостаточно большие связки одежды, били по лицу — делали отметки, как отмечают деревья перед вырубкой, и все они были уничтожены в конце дня.

Когда последний труп был брошен в ров, наступила ночь. Уцелевшие, которых осталось не больше двухсот человек, получили по миске теплой воды, в которой плавало несколько кусочков картошки. Только некоторые смогли есть. Потом их заперли в бараках с песчаным полом. Треблинка прошла свой первый день.

После того, как начали сыпаться удары, Меир Берлинер действовал, как автомат. Он чувствовал себя удивительно спокойно и просто. Он понимал, что все кончено, что даже если ему удастся выжить еще несколько дней, все равно ему никогда не уйти из Треблинки.

Группа мужчин собралась в углу барака и начала читать вечернюю молитву. Их голоса монотонно гудели в тишине, наступившей после дневного шума. Берлинер задремал.

Постепенно к ним стали примешиваться другие голоса: каждый хотел произнести Кадиш — заупокойную молитву — по членам своей семьи, которые были убиты в этот день. Снова разбудив боль, молитва приносила им некоторое утешение. Многие мужчины, которые давно уже не верили в Б-га и не молились, вновь открывали для себя слова молитвы по мертвым — Исгадал веискадаш — «Да возвеличится, да освятится...» Слова

текли ровно как слезы. Б-г стал необходимостью, и они вновь открыли его для себя, вытащив из глубин памяти. Б-г жил в молитвах, и потому что они не хотели расстаться с Ним, они не могли перестать молиться. Но моменты облегчения прерывались внезапными приступами боли, и голоса поднимались, угрожая, вопрошая, обвиняя.

Меир Берлинер, вздрогнув, проснулся. Его лицо было мокрым от пота. Через несколько секунд он вспомнил, где находится, и понял, откуда идут голоса. Внезапно его охватило ужасное бешенство.

— Заткнитесь! — закричал он. — Прекратите эту ерунду! К кому вы обращаетесь? Кого вы славите?

Бормотание, которое на мгновение замолкло, возобновилось.

— Какой Б-г? Какое милосердие?! Бросайтесь на своих убийц, если вы хотите что-то сделать, но прекратите эти бесполезные молитвы. Непрекращающееся бормотание раздражало Берлинера. Ему хотелось обидеть их.

— Это за то, что забрали ваших отцов и матерей, за то, что убили ваших детей, вы благословляете Его имя? Нет, это неправда. Б-га нет, потому что если бы Он был и разрешил весь этот ужас, Он был бы Дьяволом.

В темноте к Берлинеру подошел человек и схватил его за руку. Это был Пинхас Альтер, хасид. Вся его семья сегодня была отправлена в газовую камеру. Но его фанатичная вера была настолько велика, что он видел в этом тяжелом испытании новый знак заботы Б-га о своем народе. Он решил жить для того, чтобы открыть таинственное значение этой катастрофы.

— Наши мудрецы учили нас, — сказал он тусклым голосом, — любить Создателя, благословлять Его Имя и в милости, которой он одаряет нас, и в наказании, которое Он на нас насылает.

— Отстаньте от меня! — воскликнул Берлинер, отворачиваясь от него. — Держите свой идиотизм при себе!

Но религиозный человек сжал его руку еще сильнее. У него было вдохновенное лицо фанатика. В нем не было ни малейшего следа мягкости или вежливости. Берлинер заколебался.

Фанатик заметил это и сказал:

— Слишком много евреев оставили иудаизм. Это может быть предупреждением. Мы не имеем права нарушать Завет, данный нам Б-гом.

Несколько человек собралось вокруг них, прислушиваясь. Гнев Берлинера сник, он чувствовал, что отчаяние истощило его.

— Если Б-г наказывает еврейский народ за то, что он не соблюдает Закон, то почему Он наказывает и тех, кто соблюдает его? Почему Вы здесь, если Вы живете только в страхе Его разгневать? Если бы Он наказывал только неверующих, я бы понял это, но ведь Он не пощадил никого — ни набожных мужчин, ни детей?

Берлинер подумал, что спор бесполезен, что здесь не время и не место обсуждать вопросы теологии, но с удивлением заметил, что вокруг них собрались люди. Хасид спорил, соблюдая все формы талмудической схоластики. Он делал частые ссылки на традиции.

— Старые раввины, — сказал он, — верили, что когда в Израиле еврей уходит из общины, вся община в трауре. Мы все в ответе за то, что делает каждый еврей.

Берлинер не хотел больше спорить. Ему казалось, что они говорят на разных языках. Он лег на спину и закрыл глаза. Он чувствовал себя еще более одиноким и отчаявшимся.

Хасид еще стоял рядом. Он посмотрел на Берлинера, как бы раздумывая, и сказал:

— Треблинка — это пропасть. Здесь нельзя жить без Б-га.

Не открывая глаз, Берлинер проговорил:

— А я и не хочу жить. Я хочу мстить. — Он впервые подумал об этом, но внезапно эта мысль заполнила все его существо.

На следующий день их разбудили еще до рассвета, кнутами выгнав из барака. Тех, чьи лица были отмечены ударами, и кто накануне избежал проверки, увели прочь.

Последние уцелевшие стояли в очереди перед маленькой полевой кухней, когда они услышали гудок паровоза. Удары, которые на некоторое время прекратились, снова посыпались. В этот день новый контингент тоже прошел селекцию. Их подвергли тем же самым испытаниям. Но если первые три теста нужно было пройти только один раз, то четвертый был постоянным. Это была эра «фонарей под глазами». Хотя и очень примитивная, но эта система давала Исполнителям определенные выгоды. Во-первых, она позволяла безошибочно узнавать и затем уничтожать плохих работников, а во-вторых, создавала в заключенных своего рода «комплекс лица», который либо приводил к их физическому уничтожению, либо полностью лишал человеческого достоинства.

У узника Треблинки было два способа не оказаться отмеченным. Первый состоял в демонстрации его усердия. Он должен был работать, не позволяя себе ни единой секунды передышки. Но поскольку он никогда не мог знать, будет ли связка одежды, которую он выбрал, считаться достаточно большой, или тело, которое он тащит, достаточно заметным («умные» первыми выбирали женщин и детей, что приводило к тому, что всех их отмечали), заключенный был склонен работать выше своих сил. Но условия жизни — постоянные избиения, недостаток сна, плохая пища, к которой он зачастую не в состоянии был даже притронуться — и постоянное стремление превзойти самого себя приговаривали заключенного к смерти от истощения тем быстрее, чем больше он старался показать свое усердие.

Узники быстро поняли эту опасность и усовершенствовали

технику выживания. Поскольку они знали, что удар в лицо приговаривает к смерти, они стали пытаться прятать свои лица. Эта «стратегия устриц» приводила их к комплексу лица, т.е. именно к тому, чего хотели Исполнители. Эти заключенные, уже не имевшие ни имен, не даже номеров, потеряли свои лица. Они стали обезличенной и презренной нечистью. Так родились рабы совершенно нового типа. Они образовали рабочую силу из двухсот единиц, которая почти полностью обновлялась каждую неделю.

ГЛАВА VI

Управление лагеря было довольно своим человеческим материалом. Изнуренные в гетто, прошедшие проверку тестами Макса Биласа, охваченные страхом получить отметку на лице, узники едва походили на какое-то подобие мужчин. Один случай показался Исполнителям значительным. Это был маленький инцидент, но в их глазах он открывал всю приниженность евреев.

Происшествие было очень коротким. Ребенок, который прибыл в одном из эшелонов, среди евреев, уносивших одежду жертв, узнал своего отца. Ребенок был еще очень маленьким. Вероятно, он был схвачен один на улицах Варшавы и не понимал, куда его привезли. По тому, как загорелось радостью его лицо, когда он увидел отца, эсэсовец, наблюдавший эту сцену, понял, что он давно искал его. На лице ребенка не было удивления, только радость. Такая невинность почти тронула эсэсовца, и он двинулся к ним. Отец, бросив кучу одежды, которую он тащил, обнял сына.

— Папа, — прошептал ребенок. — Я знал, что я тебя найду. Когда ты исчез, они мне говорили, что я тебя никогда не увижу. А я побежал на улицу тебя искать. И они посадили меня в поезд. Я очень хотел пить и немного боялся. И вот, видишь, я нашел тебя. Я знал, что найду!

Но отец видел приближающегося немца и попытался перебить сына.

— Да, да, — проговорил он ласково, голосом, дрожащим от волнения. Сын поднял голову и посмотрел на отца.

— Ты такой грустный, — сказал он, — как те люди в поезде.

— Нет, ничего. Но тебе нужно идти и принять душ вместе с остальными, — ответил отец успокаивающим голосом.

— Я не хочу снова уходить от тебя, — сказал сын.

— Иди, иди. Мы увидимся через несколько минут.

Отец выпрямился и тайком взглянул на немца. Тот стоял неподвижно. Жизнь остановилась на те несколько секунд, которые длилась эта сцена. Ребенок ушел. Отец нагнулся, собрал кучу одежды, выпрямился и, поколебавшись долю секунды, побежал..

Когда об этом случае доложили коменданту лагеря, он произвел на него большое впечатление.

— Жертва Авраама, — проговорил он.

Он был когда-то священником, но свое настоящее призвание нашел в СС. Это был высокий широкоплечий человек, небольшая лысина впереди не портила его красивого умного лица. Он в совершенстве знал древнееврейский язык и иногда пускался в обсуждение некоторых вопросов перевода с одним из узников лагеря. За первые десять дней в Треблинке он ни разу не поднял руку на заключенного. Его высокая темная фигура появлялась во всех уголках лагеря, но больше всего его тянуло к газовым камерам. Туда он постоянно возвращался, влекомый как бы наперекор собственной воле. Он, молча, смотрел и неохотно уходил оттуда. В некоторые моменты он казался озадаченным, как будто в нем происходила напряженная внутренняя борьба.

Однажды, когда он возвращался после одного из таких посещений, он напал на заключенного. Он ударил его с такой яростью, что выбил ему глаз. Потом он сразу же успокоился, и, казалось, даже расстроился. Доктор сказал ему, что раненый умрет. Он может прожить еще несколько дней, но это будут дни мучений. Комендант ответил, что берет на себя ответственность за его смерть, и зашагал прочь. В тот же вечер он зашел посмотреть на раненого и прикончил его выстрелом в висок. С тех пор он постоянно нападал на заключенных, которых встречал на своем пути. Он также изобрел набор пыток, совершенство которых производило впечатление даже на других эсэсовцев. Но остальной персонал лагеря не слишком любил его. Курт Франц, молодой унтер-офицер СС, мечтавший о ярком будущем, презрительно звал его «интеллектуал».

Поэтому коллеги отнеслись равнодушно к замечанию бывшего священника. Для них этот случай был только лишним доказательством еврейской трусости.

— Это от их смиренности перед Б-гом. — заключил комендант.

Но теологические размышления были весьма редкими в среде рядовых эсэсовцев, и обсуждение на этом закончилось. Все Исполнители сошлись во мнении, что практический вывод из этой истории один: каких-либо инцидентов со стороны евреев им бояться не приходится.

Поскольку проблема дисциплины была явно решена, Исполнители посвятили свои усилия материальной организации лагеря с тем, чтобы максимально увеличить выпуск «продукции».

По мысли своих создателей, Треблинка, как и пять других лагерей уничтожения: Освенцим, Майданек, Собибор, Белжец и Хелмно — имели двойную задачу: уничтожение и утилизация. Уничтожение евреев и утилизация их одежды, денег, имущества, различных предметов, которые им удавалось привезти с собой.

Для Исполнителей утилизация была не менее важной, чем уничтожение, и Гиммлер лично настаивал на том, чтобы и этому вопросу уделялось большое внимание. Наблюдая, в ходе своего посещения Генерал-губернаторства Польши, как «сотни тысяч и даже миллионы часовых камней выбрасывают, вместо того, чтобы передать их немецким часовщикам», и пораженный этой бессмысленной расточительностью, он писал своим коллегам Крюгеру и Полю: «Я понимаю, что в каждом отдельном случае мы не можем быть мелочными... Но я прошу обергруппенфюрера Поля разработать и установить правила, касающиеся каждой детали этих операций, потому что тщательность, с которой мы будем работать сегодня, сбережет нас от многих неприятностей в будущем».

Утилизация, как вспомогательная сторона уничтожения (это можно сравнить с выпуском побочного, но ценного продукта в промышленности) требовала не только исключительной организации производственного процесса, но и более специализированной и многочисленной рабочей силы. Поэтому в Треблинке, где до сих пор в этом вопросе царил сплошной хаос, родились предпосылки для организации социальной структуры среди заключенных.

В тот день в конце августа, когда Треблинка праздновала первый месяц своего существования, ее общество было разделено на три абсолютно замкнутых, обособленных класса: во-первых, хозяева — Исполнители; затем помощники хозяев — украинская охрана и, наконец, рабы — евреи. Этот последний класс был образован из совершенно неотличимых друг от друга низших существ, которые находились вне признаков социальной жизни, времени и даже пространства. Эти существа находились в промежуточном состоянии между жизнью и смертью. Для этих новых видов социальной и физиологической изоляции понятие о времени — прошлое, настоящее, будущее, часы, дни, недели, годы — свелось к простому отличию между днем и ночью. Даже боль исчезла.

Молитвы еще продолжались. Вероятно, нигде и никогда за всю историю человечества люди не были так наглухо отрезаны от внешнего мира, порабощены душой и телом. Им велели бежать — и они бежали, танцевать — и они танцевали, говорить — и они говорили, петь — и они пели. Если бы им сказали — убивать, они сделали бы и это. Исполнители сформировали новый тип неполноценных существ, идеальных рабов, абсолютно послушных и покорных.

Но была и другая сторона медали: успех был слишком полным. После месяца этого обращения евреи достигли такой степени нечувствительности и автоматизма, что не реагировали больше на удары и угрозы. Они были неспособны выполнять относительно сложные действия. Если им приказывали

маршировать, они маршировали, но как только приказание чуть-чуть усложнялось, их сознание отказывалось его воспринимать. Было невозможно, например, приказать им сходить куда-то, что-то там взять и принести в другое место. Для того, чтобы такое простое поручение было выполнено, нужно было отдать три отдельных приказа: «Иди туда!», потом «Возьми это!» и потом «Отнеси туда!» И даже тогда необходимо было указать на предмет, а не просто назвать его, потому что узники оказывались совершенно неспособными к простейшим рассуждениям.

Что касается ударов, они, кажется, уже не чувствовали их. Так, например, один заключенный позволил разрубить себя на куски лопатой, не издав ни звука, не делая никаких движений. Его поймал комендант лагеря во время одного из своих посещений выходных бункеров газовых камер. Заключенный с широко раскрытыми глазами ползал по куче тел с плоскогубцами в руке. До сих пор его работой было таскать одежду, а в то утро его назначили быть «дантистом», т.е. он должен был выдергивать золотые зубы у трупов. Это был спокойный вежливый человек, хороший еврей, хороший отец и хороший муж. Его привезли в Треблинку со всей семьей, и он никак не мог понять, какая сила заставила его сказать, что он плотник. После того как он провел всю первую ночь, читая Кадиш, он впал в состояние каталепсии, которое, по-видимому, спасало его от ужаса ситуации. С тех пор он держался только загадочной и древней силой жизни, которая помогла его предкам пережить все империи, все испытания, всех своих врагов и всех своих друзей, всех тех, кто говорил ему: «Живи, брат мой. Ты такой же человек, как все люди». Никто не знал его имени. Устная летопись лагеря Треблинка сохранила только воспоминание, что он был человеком невысокого роста, с круглым, как бы расплывшимся в улыбке лицом, с бессмысленным взглядом. Его привели в этот отдаленный угол, куда трупы складывались в кучи, перед тем как их оттаскивали во рвы. Ему дали в руки плоскогубцы и велели открывать всем рты и вытаскивать оттуда золотые зубы, но он не понял, это было слишком сложно для него. С плоскогубцами в руке он ползал по трупам, читая Кадиш по всем мертвым братьям. Проходя мимо, эсэсовцы и украинцы много раз били его, но это останавливало его только на мгновение.

Его вид привел коменданта лагеря в сильное возбуждение. Он спросил заключенного, почему тот не работает, но заключенный не ответил. Комендант приказал ему работать, но узник не реагировал. Тогда он ударил его рукояткой кнута, но тот даже не моргнул. От огромного количества трупов вокруг, бешенство коменданта удесятерилось и перешло все границы. Он приказал охраннику принести лопату и вытащить еврея на середину двора. Вначале заключенный стоял как вкопанный, но первый же удар свалил его на землю. Комендант приказал

узнику подняться, и тот встал. Его рука была разрезана, и кровь из нее тяжело и мягко стекала по кончикам пальцев. Следующий удар пришелся ему по голове. Единственным звуком было кряканье эсэсовского охранника и треск расколовшегося черепа. Другие евреи проходили мимо, перетаскивая трупы. Ни одного любопытного взгляда, ни одного жеста волнения. Когда узник больше не встал, комендант взвизгнул, выхватил из рук эсэсовца лопату и сам стал колотить ею тело. Когда он пришел в себя, от «дантиста» уже ничего не осталось.

Этот инцидент доказывал, что поведение евреев диктовалось не сознанием или ухищрениями. Наоборот, было очевидно, что этот человеческий материал был непригоден для той работы, которой от него ожидали. Это объяснение привело Исполнителей к необходимости специализации, к организации первых зачатков социальной жизни в Треблинке.

Эта организация происходила на двух уровнях: образование социальных классов, соответствующих различным задачам, и образование иерархии внутри этих классов. Задачи, предназначенные для заключенных, можно было грубо разделить на три категории: подготовка живых к ликвидации, обработка трупов и их имущества, поддержание порядка в лагере.

Те, кто имел дело с трупами, кто выносил их из газовых камер, выдергивал из них зубы и тащил затем во рвы, выполняли работу совершенно необычную. Управление ими требовало особой бдительности. В самом деле, Исполнители не знали, чего можно ожидать от людей, занимающихся такими делами. Они решили изолировать их внутри лагеря в особый лагерь, в своего рода темницу, святую святых. Они дали им название «Тотен-юден» — «Евреи смерти».

Этот второй лагерь, значительно меньший по размерам, расположили в северном углу главного лагеря. Ограниченный с юга зданием, где находились газовые камеры, он был окружен песчаной насыпью высотой в два с половиной метра, по которой протянули колючую проволоку. В этот лагерь вели два входа. Один — с западной стороны, был предназначен для эсэсовского персонала и украинцев, другой — с южной стороны, приспособили для евреев, идущих в газовые камеры. Исполнители называли его «Дорогой на небеса». Внутри этого Лагеря Номер Два были построены бараки, в которых узников запирали на ночь. Рядом с этими бараками колючей проволокой огородили еще один небольшой участок, где евреи обедали и проводили время от окончания рабочего дня до наступления ночи. Было ясно, что никто никогда не сможет уйти из этого тройного ограждения, и евреи называли этот вход «Дорогой без возврата».

Основная часть заключенных оставалась в Лагере Номер Один, в бараке между платформой, куда прибывали эшелоны, и газовыми камерами. Восточнее этого барака была площадь

для перекличек, «аппельплац», где прибывшие раздевались. Дальше на восток шло огромное открытое пространство, где складывали вещи и одежду. Оно называлось «Площадь старья» или «Сортировочная площадь» или еще чаще «Площадь». Заключенные, работавшие там, получили имя «Плац-юден» — «Евреи с площади». Они были разделены на определенное число рабочих команд, соответствующее различным занятиям, для которых предназначили их Исполнители.

Рабочей команде на железнодорожной станции или «Голубой команде» было поручено встречать эшелоны, выводить евреев из вагонов, собирать их багаж и очищать вагоны. Задачей другой — «Красной команды» — было помогать евреям из эшелонов быстро раздеваться и тащить их одежду на сортировочную площадь. Работа этих двух команд, совершенно очевидно, была отвратительной, поскольку их члены принимали непосредственное участие в окончательном процессе уничтожения. Этот метод, который состоял в том, чтобы сделать жертвы соучастниками своих собственных палачей, был своего рода догмой для Исполнителей. Благодаря этому принципу они заставили вильнюсское гетто уничтожить самое себя, и надо признать, что результаты были более, чем удовлетворительными.

В своем желании довести специализацию до максимума Исполнители учредили сортировочные команды по каждому роду предметов: команда по верхней одежде, команда по нижнему белью, команда по посуде, команда по письменным принадлежностям, команда по инструментам, команда по меховым вещам и т.д. Многообразие предметов, взятых с собой этими людьми, которых привозили для уничтожения, было удивительным: это было доказательством неспособности еврейских масс осознать реальность уничтожения. Это многообразие стало еще большим после того, как «очистив» от евреев Польшу, Исполнители стали охотиться за ними в Чехословакии, Болгарии, Германии и Греции. В это время сортировочная площадь стала своего рода «Блошиным рынком», каким-то немыслимым складом, где одежда и музыкальные инструменты лежали рядом с протезами ног и зубоврачебными креслами.

Евреи, ответственные за сортировку золота, денег, различных ценных бумаг, документов, драгоценностей и т.п., имели особый статус. Их называли «Голд-юден» — «Евреи золота». Их центром был сарай, куда все приносили оптом, но кроме того, у них был целый ряд установленных ими передвижных точек, где они собирали сырой, необработанный материал. Старший этой команды находился на площади, где раздевались люди из эшелонов. Эта служба имела два отделения: одно в сарае, где раздевались женщины, и другое в середине «дороги к небесам». На площади и в сарае голд-юден только ходили среди прибывших с чемоданами и просили их вручить им сбережения,

драгоценности и т.д. На «дороге к небесам» производилась окончательная проверка. Установленный здесь пост состоял из кабины, в которую заводили мужчин и женщин для тщательного обыска. Кроме главной конторы, на сортировочной площади находилась еще и вспомогательная, работники которой должны были ходить по сортировочным командам и забирать от них золото, серебро, ценные бумаги и драгоценности, которые те находили в багаже. Только рты прибывающих евреев оставались вне сферы деятельности голд-юден. Исполнители решили что легче вырывать золотые зубы из мертвых людей, чем из живых. Такое допущение вызывало необходимость контрольной операции на выходе из газовых камер. Поэтому было более разумно иметь «дантистов», обязанных собирать любые драгоценности, которые евреи прятали в своих ртах. Это золото и другие драгоценности, которые собирала команда Лагеря Номер Два, затем отсылались обратно к голд-юден после предварительной работы по сортировке и очистке золотых зубов.

Кроме того, были учреждены и некоторые другие команды: «маскировочная команда», чьей задачей было укрывать колючую проволоку собиравшимися в лесу ветками, чтобы скрыть существование лагеря от самолетов; строительная команда, которая была еще в зачаточном состоянии, но которой предстояло яркое будущее; гаражная команда и, наконец, команда дровосеков, ответственная за снабжение строительной команды лесоматериалами.

Многие из этих команд существовали только формально с числом работающих от нуля до пятидесяти человек в зависимости от необходимости, но основания будущей организации были заложены.

И, наконец, на вершине социальной лестницы был создан класс аристократов: хоф-юден — «придворные евреи». Это были первые евреи, привезенные в Треблинку еще до начала ее функционирования. В их обязанности входило поддержание порядка в лагере и личное обслуживание Исполнителей. Их поселили в хижинах, расположенных в нескольких сотнях метров к западу от комплекса, образованного сортировочной площадью, аппельплацем, «дорогой к небесам» и зданием, где помещались газовые камеры, которые стали называть «фабрикой». На этом месте рос лес, и перед тем, как строить хижины, нужно было расчистить землю. Поскольку рельеф местности слегка опускался в направлении хижин, то это место стало называться «Низ», а весь комплекс «Верх». Для того, чтобы подчеркнуть ужас ситуации евреев в Лагере Номер Два и их изоляцию от всех, этот лагерь стали называть «Тот Лагерь». Так, параллельно социальной структуре родилась географическая структура лагеря: «Низ», «Верх», «Тот лагерь», «Придворные евреи», «Евреи с площади», «Евреи Смерти» — аристократы, массы, неприкасаемые.

Но Исполнители были неутомимыми организаторами. Их главной мечтой было, чтобы лагерь управлялся сам собой. В Вильнюсе, как потом и в других гетто, они контролировали положение евреев до такой степени, что чего бы Исполнители ни захотели, они всегда могли добиться. Необходимо было создать аналогичное положение в Треблинке. Это стремление к рационализации в сочетании с заботой о деталях ясно показывает силу организационной машины Исполнителей, которые в своем постоянном и ненасытном поиске улучшений использовали даже человеческие недостатки. Поднятая на такой уровень, эта техника стала искусством, которое создавало свою собственную эстетику, собственную мораль и даже собственную метафизику.

Курт Франц, великий организатор этих реформ, так определил стоящие перед ними цели: «Мы должны достичь такого положения, когда нам не нужно будет ничего делать, даже не нужно будет нажимать кнопку, когда мы встаем утром. Мы создадим совершенную систему, а потом будем наблюдать за ее работой. Наша роль, как хозяев, должна будет заключаться в том, чтобы ничего не делать, а просто быть». Это, конечно, чисто риторическое замечание, но оно показывает, с каким рвением Исполнители хотели изменить мир.

Для того, чтобы лагерь управлялся сам по себе, необходимо было, как в Вильнюсе, организовать лагерную администрацию из заключенных. Евреи сами должны были стать ответственными за выпуск продукции и за дисциплину. Самым легким решением было бы присвоить ранг капо нескольким детинам — внушительным, но ограниченным. Однако для того, чтобы евреи слушались, они должны были уважать начальника. Кроме того, повышение выпуска продукции требовало от заключенных определенного усердия, к которому мог принудить только начальник, пользующийся авторитетом. И потом, такие капо своей грубостью и своеволием могли оказывать давление на заключенных и, кто знает, даже довести до достойных сожаления крайностей. Конечно, решение о назначении уважаемых начальников имело и свои опасности. Их ранг лидеров, более или менее защищал их от физического насилия, освобождал от постоянного давления страха и мог когда-нибудь сделать их способными взять на себя руководство каким-либо движением. Исполнители сознавали этот риск, но опыт в гетто научил их, что человек, сознательно скомпрометировавший себя, не восстает против своих хозяев, неважно, какая идея привела его к сотрудничеству — он уже связан с ними слишком большим числом совместных преступлений. Черняков, президент Варшавского юденрата, покончил с собой в июле того же года, когда узнал правду о депортации. Генс в Вильнюсе отказался бежать, когда узнал, что приговорен к смерти. Было очень много доказательств абсолютного повиновения, которого можно ожидать от порядочного человека, если он стал коллаборационистом.

Конец Генса был даже более характерным, чем Чернякова. После смерти Виттенберга Исполнители, которые больше не нуждались в Генсе и решили разорвать сотрудничество с ним, велели ему явиться. Но, как выяснилось позднее, произошла утечка информации, и Генс раскрыл их планы. Его помощник дорого заплатил за эти сведения, но когда он пришел к Генсу и сказал, что нужно бежать, Генс ответил своим напыщенным тоном, который на этот раз не казался смешным: «Мой дорогой Десслер, нужно быть логичным. Вся моя политика могла бы быть оправдана, только если бы я оказался прав. Но сегодня я понял, что ошибался. Моя жизнь не имеет больше смысла». Потом он снял свою прекрасную смешную форму и свою знаменитую шапку Лжемессии и пошел на последнюю встречу с Исполнителями.

Схема предусматривала для Треблинки еврейского коменданта, двух старших капо (по одному на лагерь) и по одному капо, которому бы помогали два старших, для каждой команды.

Отбор их Курт Франц взял на себя. И тут же столкнулся с большими трудностями, потому что если добровольцы легко находились среди подонков, то они были весьма редкими среди уважаемых евреев.

Курт Франц проявил твердую настойчивость в выборе коменданта, который, по его мнению, должен был быть первоклассным во всех отношениях. После нескольких неудачных попыток ему показалось, что он нашел настоящую жемчужину. Это был ассимилированный еврей, который заявлял, что он даже крещеный. Он был отставным офицером и держался как польский аристократ. Недавно прибыв в Треблинку, он, казалось, даже не понимал, что происходит вокруг. Хотя его гордость сразу же не понравилась Курту Францу, он решил не показывать своих чувств, поскольку потенциальные коменданты были весьма редкими. Он даже заставил себя разговаривать с этим евреем как с человеком.

— Немецкий комендант лагеря решил назначить еврейского партнера. Вы, кажется, вполне подходите по всем условиям, и я предлагаю вам эту должность.

Эта почти дружеская манера разговора настолько удивила еврея, что он подумал, не привиделось ли ему все окружающее до сих пор только во сне. Он взглянул так, как если бы хотел сказать: «Это слишком большая честь». Потом как солдат солдата спросил, какими будут его обязанности.

Голосом, преувеличенная мягкость которого должна была насторожить еврейского офицера, Франц объяснил.

— Я не чувствую себя полностью евреем, — холодно ответил офицер, — но я никогда не соглашусь выполнять такую работу. Я попросил бы вас разрешить мне воспользоваться вашим пистолетом.

Курт Франц посмотрел на него и расхохотался. Потом он быстро встал, схватил офицера и вышвырнул его на двор. Вечером

он собрал весь лагерь и вызвал еврейского офицера.

— Вы, наверное, думаете, что я недостаточно силен, чтобы убить вас своими руками, сударь, — сказал он ему, издевательски подчеркивая слово «сударь». — Ну что ж, вы правы, — произнес он после небольшой паузы. — Пусть это сделают за меня несколько добрых украинцев.

С офицера сорвали одежду, и он был забит до смерти прикладами винтовок. Когда от него осталась только красная бесформенная куча мяса, Курт Франц повернулся к узникам:

— Если к утру у меня не будет имени еврейского коменданта, — сказал он им, — вы все будете убиты.

Инженер Галевский всю ночь провел в размышлениях. Мысль о том, чтобы стать лидером коллаборационистов, была отвратительной для него. Он был уже достаточно стар, и вся его семья была отправлена в газовую камеру почти у него на глазах. Самый факт, что он пережил их, казался ему предательством. Но сейчас все узники умоляли его. Он чувствовал столько страха в их голосах, что оставить их на произвол судьбы тоже было бы предательством.

Утром, когда двери барака распахнулись и раздались дикие крики «*Raus!*» — «Выходи!», он сказал себе, что возможно он сумеет когда-нибудь что-нибудь сделать. Потом подумал снова и решил, что это плохое оправдание. Все столпились вокруг него.

— В конце концов, — пробормотал он, — какое это имеет значение в том положении, в котором мы все находимся.

Когда Курт Франц спросил, решился ли кто-нибудь, Галевский вышел вперед. Франц тщательно осмотрел его. Высокий, достойного вида, без гордости, явно выбранный остальными, ну что ж, это возможно.

Он приказал ему подойти. Галевский сделал несколько шагов. Франц посмотрел на него, а потом изо всей силы дважды ударил. Галевский пошатнулся, его плечи упали, он опустил глаза.

— Это будет в последний раз, если все пойдет хорошо, — сказал ему Франц.

Затем, повернувшись к заключенным, он крикнул:

— Смотрите на своего лидера. Лидер недочеловеков. Для меня он только еврей, для вас он лидер.

После этого Франц повернулся к Максу Биласу и отдал честь:

— Задача выполнена.

Создание Треблинки заняло у Исполнителей два месяца. Теперь они думали, что смогут отдохнуть.

ГЛАВА VII

На следующий день после прибытия в Треблинку, под градом сыпавшихся на него ударов Меир Берлинер уже не в состоянии был помнить о своем решении мстить. Как можно мстить слепому

механизму? Его можно только разрушить. Однажды вечером они с Пинхасом Альтером снова разговаривали, лежа рядом.

— Все империи мира непрочны, — говорил тот. — Мы знаем, как тысячи их пали с тех пор, как Б-г позвал Авраама. Мы помним, как они поднимались в трудах, росли в несправедливости и затем гордо погибали, уничтоженные другими империями, звезда которых поднималась. Эта исчезнет так же, как и остальные.

— И мы вместе с ней, — добавил Меир Берлинер.

— Поэтому мы должны сделать все, что можем, чтобы выжить.

— А сколько из нас останется и в каком состоянии? — печально спросил Берлинер. — И чего будет стоить мир, который оказался способным сделать это, вынести это, разрешить, чтобы это сделали?

— Это будет мир искупления, и мы будем свидетелями на суде.

Пинхас Альтер был проповедником, которого, казалось, ничто не могло взволновать. Чем тяжелее было испытание, тем определеннее он считал, что на это была воля Б-га. Его рассуждения были просты: «Б-гу угодно, чтобы другие умерли, а я остался в живых». Его единственной проблемой было: «Почему Б-г выбрал именно меня и еще несколько сотен, чью трагическую судьбу я разделяю?» После длительного обдумывания этого вопроса он пришел к заключению, что Б-г хотел, чтобы он стал свидетелем Его гнева.

Он был фанатиком, которого ничего не трогало. Его фанатизм был даже более непреклонным, чем у его мучителей. Разница была в том, что они посвятили свой фанатизм разрушению, а он — выживанию и выполнению воли Б-га. Ничто не могло его пронять: ни избиения, ни унижения, ни смерть. Он шел, спотыкаясь, под ударами, таскал мертвые тела своих еврейских братьев, а его сердце было обращено к Вечности, и губы постоянно шептали: «Исгадал веискадаш...»

Берлинер же был реалистом, и он страдал. Он страдал еще больше и потому, что его исключительное физическое и моральное сопротивление поддерживало в нем остатки его чувств, его социального самосознания.

— Мир искупления, — продолжал Берлинер со страхом. — Если Б-г создал этот мир, то это доказательство того, что Его работа неудачна.

— Это блестящее доказательство любви Б-га к своему Народу. Если бы Он не любил нас, разве стал бы Он поднимать против нас так много дьявольских сил?

Пинхас говорил с таким убеждением, что это произвело на Берлинера впечатление. Но, найдя Б-га в этом аду, вместо того, чтобы любить Его, он стал Его ненавидеть.

— Пусть будет так. Пусть этого хочет Б-г, — сказал он, — но

в таком случае я не хочу Б-га.

— Тогда Вы умрете.

Берлинер почувствовал себя ужасно одиноким — без Б-га, без поддержки, без надежды, с одной только неистовой волей жить, несмотря на все, что творилось вокруг. Он знал, что хочет жить, но не знал — зачем. Он углубился в самого себя, охваченный этим бессмысленным желанием.

На следующий день его назначили раздевать прибывших в эшелонах. Роль работающих в этой команде казалась довольно пассивной, но когда евреи из эшелонов раздевались недостаточно быстро, начинали сыпаться удары. Тогда евреи из команды «помогали» прибывшим раздеваться, срывая с них одежду, если это было необходимо. Чтобы скрыть от них приближающуюся смерть, они не только не открывали истину своим братьям, но еще и успокаивали тех, кто начинал подозревать правду, окончательно становясь соучастниками преступления.. В этот период персонал команды менялся каждый день, но ни один не изменил своей роли.

Меир Берлинер, как и другие, тщательно выполнял ее. В тот день он увидел пожилую женщину, которая никак не могла снять с себя длинное черное платье, застегивавшееся на пуговицы до самого подола. Он поспешил к ней и резким движением оторвал половину пуговиц. Женщина, видевшая, как он подходил и собиравшаяся его поблагодарить, медленно подняла голову. Возраст изменил ее фигуру, а лицо было бескровным. Живыми были только глаза. Они говорили, что она все поняла. Берлинер остановился, смущенный, возможно, пристыженный, не в состоянии продолжать, пока эти глаза смотрели на него.

— Итак, все кончено, — сказала она с покорностью, в которой не было отчаяния. Он посмотрел на нее, не решаясь сказать правду. Но солгать он не мог и опустил глаза.

— Старые и немощные должны умереть, да? — продолжала она.

Казалось, она воспринимала этот факт без усилий, без сопротивления, как необходимость, которую она давно подозревала. Наполовину оголенное, ее тело выступало из разорванной одежды. Она подняла руки, чтобы раздеться окончательно. Берлинер не мог сдвинуться с места. Она не была больше для него предметом его работы, она была старой женщиной, она была матерью, матерью всех людей на свете, его матерью.

В глазах женщины выражение покорности сменилось на вопросительное.

— Это еще не конец? — спросила она.

Если бы в ее тоне была бы хоть крупица надежды, Берлинер бы убежал, но в нем было только любопытство. Он ничего не сказал, и она поняла.

— Но мужчин оставляют в живых, — сказала она.

В сарае, где раздевались женщины, царил такой беспорядок, что их разговор протекал незамеченным. Берлинер все еще не отвечал. Женщина постепенно начала осознавать происходящее. У нее возникло еще несколько вопросов, и она спросила:

— А что же с вами?

— Мы... — произнес он. Это было первое слово, которое он проговорил. От стыда и потому, что слова не имеют здесь смысла или, по крайней мере, имеют совершенно другой смысл, он не стал продолжать. Но его тон подразумевал: «Что касается нас, то это еще хуже».

Выражение его лица стало умоляющим. Женщина взяла его руку и поднесла к своим губам.

— Еврей, ты мой сын. Поклянись мне, что ты останешься в живых.

Потом она подняла руки, и ее взгляд, в котором была теперь решимость, говорил: «Иди!»

Отвернув лицо, он схватил ее платье и рванулся прочь.

В этот раз эшелон прибыл из Мезрича, недалеко от Белостока. Путь длился долго, в ужасных условиях и без воды. Единственное, чего хотелось депортированным — это что-нибудь попить. Но хотя в середине двора был колодец, им не разрешили перед смертью утолить жажду. «Быстрей, быстрей», — говорили эсэсовцы. — «Напьетесь под душем».

Когда он услышал их стоны, Берлинер сказал себе, что если он не пойдет и не достанет им воды, он больше не человек. В тот день он перестал быть человеком. Для человека не было места в Треблинке, ни на той стороне, ни на другой.

Потом он научился прятать лицо, не видеть надвигавшихся ударов, бежать, как слепой, действовать, как робот. Его мир сузился. Однажды он подумал о своей семье в Аргентине и стал искать кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить о ней. Это было вечером в бараке, тела других узников лежали одной кучей, как трупы. Он сказал себе, что никто ему не поверит. Его вилла в Буэнос-Айресе казалась сном, памятью о другой жизни. С тех пор он больше не думал об этом. В течение дня, пряча свое лицо, он старался ничего не видеть, и окружающий мир перестал для него существовать. Равнодушие Пинхаса Альтера сделалось непереносимым, и он перестал с ним разговаривать. Для того, чтобы уцелеть, он похоронил свою прошлую жизнь, свои чувства, и ему стало казаться, что он превратился в кого-то другого, живущего в другом мире. Те, кто не поступал так же, умирали — или случайно или от истощения. В глазах пожилой женщины Меир Берлинер нашел смысл, ради которого нужно было жить. До этого он уцелел только благодаря инстинкту, но теперь он чувствовал, что появилась причина, для того чтобы выжить.

Ни удары, ни трагедия еврейского народа, толпы которого текли по «дороге к небесам», больше не волновали его. Чем ужаснее было зрелище, тем более слепым становился Берлинер. Чем громче были крики, тем глуше он становился. Только одно его беспокоило: не попасть бы в Лагерь Номер Два, в команду смерти, поскольку обстановка там была более тяжелой, там умирали быстрее. Но и это было скорее инстинктом, чем осознанным желанием. Конечно, более тяжелыми были сцены в команде раздевающих, но поскольку он старался не смотреть вокруг, это не имело значения. Его уже давно ничего не трогало. Все эти голые мужчины, пытавшиеся сохранить свое достоинство, матери, прижимавшие детей к своей груди, молодые девушки, скрещивающие руки последним стыдливым жестом, пытавшиеся прикрыть свою наготу — все они перестали иметь для него значение. Все эти человеческие реакции казались ему пришедшими из другого мира. Даже наиболее трагические сцены только удивляли его, и то не больше, чем на мгновение.

Однажды, когда его назначили раздевать женщин, он увидел стоящую перед ним голую девушку не старше 18 лет. Если бы не то обстоятельство, что после того, как женщины уходили, нужно было стремглав бежать с их одеждой на сортировочную площадку, это была «хорошая» команда, потому что во время раздевания узников особенно не били, разве только, если происходящее вдруг возбуждало дежурных эсэсовцев и украинцев.

Когда появилась эта девушка, он почувствовал смутное раздражение. Это было еще на уровне рефлекса. Как подопытная собака Павлова, он уже умел предугадать, какое событие принесет больше ударов. Кроме того, он знал, что один удар в лицо равен смерти. Эта смерть могла быть отложена на день, иногда на два или три дня, но она приходила неотвратимо. Отмеченные ударом в лицо получили свое имя на лагерном языке. Их называли «клепсидры» — водяные часы. Подбитый глаз, синяк на щеке или порез на лице были роковыми знаками. Каждый вечер Исполнители посылали за клепсидрами. Те, кто по доброй воле выходил вперед, получали быструю смерть — «как награду за честность», по выражению Макса Биласа: пулю в затылок на краю рва в «госпитале», где высились пирамиды тел. На краю рва — для того, чтобы тело само падало вниз. А пуля — в затылок, так что все было справедливо. Тех, кто не выходил, когда их вызывали, разрубали на смерть лопатой. Это часто было дольше и всегда безумно мучительно. С того момента, как клепсидра получал отметку на лице, его охватывали ужасные сомнения. Конечно, были легкие смерти. Легчайшая смерть, которая, однако, была привилегией немногих, случалась в течение дневной работы — от слишком сильного удара винтовочного приклада или дубинки. Конечно, он мог добровольно выйти вперед, когда вызовут, но на самом деле так поступали только самые отчаявшиеся.

Действительно, поскольку у узников не было зеркала и не было связи с другими работающими, человек, получивший удар в лицо в течение дня, не был уверен, что этот удар оставил след. Поэтому некоторые, у кого и не оставалось на лице следов, выходили вперед и были казнены, хотя могли прожить еще несколько дней. Клепсидры оказывались перед лицом жестокой и неразрешимой дилеммы: выйти вперед или делать вид, что удар не оставил знака на лице, и тем самым рисковать принять ужасную смерть. Воля к жизни приводила обычно к тому, что они готовы были идти на риск, что еще больше увеличивало страх стать клепсидрой.

Раздражение, которое почувствовал Берлинер, было вызвано внезапным напряжением всего его существа. В его бедном атрофированном мозгу уже сложилась рефлекторная цепь: происшествие — удар — клепсидра — смерть. Его чувствительность была уже достаточно омертвевшей, чтобы он ощутил всю трагичность этой цепи, но, тем не менее, красный цвет вспыхнул в его затуманенном мозгу. Этот свет сказал ему: «Опасность!» Но, смутно чувствуя приближение опасности, он был совершенно неспособен придумать хоть малейшую защиту, и одновременно заинтригованный и раздраженный, он продолжал стоять.

Девушка была очень красивой, но ее глаза сверкали безумием. Ее мать, которая еще раздевалась, пыталась удержать дочь, но она оттолкнула ее в сторону властным жестом.

— Отстань, мама! Оставь меня в покое со всеми твоими хорошими советами и со всей своей мудростью!

Потом она повернулась к Берлинеру, гордая и соблазнительная. Берлинер смотрел на нее, не видя.

— Спаси меня, — сказала она, — и я буду твоей слугой.

Ее голос был напряженным, она медленно произносила каждое слово.

— Спаси меня, и я отдам тебе то, в чем отказала моему жениху. Мать медленно начала плакать.

— Посмотри на меня, я красивая. Посмотри на меня, я должна умереть. Посмотри на мое тело, как оно красиво. Оно создано для любви, для жизни, для нежности. Посмотри на него! Разве оно не красиво? Разве оно не молодо? Разве оно не тугое? Оно хочет любить, оно хочет любить! Б-г предназначил его для любви. Но мой жених мертв, и я тоже умру, и все умрет, и мое тело никогда не узнает любви.

Она уронила руки на бедра, и через мгновение прекрасное лицо исказилось от рыданий.

Два украинских охранника, привлеченные шумом, увели ее из сарая, и крики боли сменили крики отчаяния.

Но Берлинер, который раньше ничего не видел, теперь ничего и не слышал. Вдруг он почувствовал удар и, схватив лежащую у его ног одежду девушки, побежал, пряча в нее лицо.

Боль, а вместе с ней и сознание, вернулись только в конце

месяца, после того, как Исполнители начали реорганизацию лагеря. В это время в Треблинке было полторы тысячи заключенных. Это был период большого числа самоубийств — люди пользовались ядом, найденным в багаже тех, кого увели в газовые камеры, или вешались ночью в бараках. Повеситься в таких условиях было очень трудно, и многие долго дергались в петле до того как умереть. Позже, когда среди заключенных начали проявляться зачатки социальной жизни, техника улучшилась. Нужно было иметь друга, который выбьет из-под тебя ящик, и это стало величайшим доказательством дружбы. Отчаявшийся человек взбирался на ящик, делал петлю из ремня и привязывал его к балке. Когда все было готово, он говорил: «Давай!» Друг быстро выбивал из-под него ящик и читал молитву. Когда двое близких друзей хотели умереть вместе, они кидали жребий, и проигравший, после того как выбивал ящик из-под друга, или вешался сам или искал того, кто сможет ему помочь.

Этот метод первыми применили отец и сын. Он был еще совсем мальчик, а отец уже немолодой мужчина. Они остались вдвоем из всей большой семьи. Отец заставлял сына жить, чтобы сохранить их род, но теперь сын стал клепсидрой. Когда он спросил отца, заметны ли на его лице следы удара, отец вначале не посмел ответить. Шепот их беседы еще долго продолжался в ночи барака.

— Скажи мне, отец, скажи мне правду, — спрашивал сын.

— Нет, сыночек, ничего не видно, — отвечал отец, поглаживая лицо сына. — Ты будешь жить и продолжишь наш род.

Настолько сильным было желание отца продолжить линию жизни их рода, что он готов был пойти на риск, что его сын умрет в страшных мучениях.

Ты будешь жить, и ты попадешь в страну Израиля, в нашу страну, и ты женишься и будешь воспитывать детей, твои дети — это и мои дети, и дети моего отца и моего деда. Ты будешь учить их нашей религии и нашей вере в Б-га. Ты расскажешь им, как мы умирали, чтобы мир никогда не забывал этого. Ты сделаешь нашу страну неприступной крепостью, которая будет уважать Создателя, благословлять Его Имя и наводить страх на врагов.

Его голос звучал пророчески.

— Да, отец, — робко ответил сын.

— Вспомни предсказания пророка Захария. Говорил наш Господь: «Вот чему суждено случиться на земле: две части Израиля будут отрезаны и умрут, но третья останется жить. Я пронесу эту часть через огонь и очищу ее, как очищают серебро, испытаю, как испытывают золото. Они призовут Мое Имя, и Я услышу их. Я скажу: «Это мой народ», а они ответят: «Господь — это мой Б-г!» И ты будешь среди этой трети, о которой предсказал пророк Захария, — сказал отец, — а я буду отрезан. Но ты будешь очищен как серебро и испытан как золото. Так решил Создатель,

да будет благословенно Его Имя.

— Отец, — сказал вдруг ребенок, — я боюсь.

— Отец ненадолго замолчал. Когда он начал говорить, голос его изменился, стал мягче и печальней.

— Ты не веришь? — спросил он.

— Я боюсь.

Ребенок хотел говорить твердо, но его голос слегка дрожал.

— Отец долго гладил лицо своего сына, который не попадет в страну Израиля, который не будет иметь детей, который был последним в их роду и которому суждено умереть. Бога нет, — прошептал ребенок.

Это богохульство, произнесенное от чистого сердца, не возмутило отца.

— Он есть, сыночек, — сказал он полным любви голосом — только мы не понимаем Его. Наши грехи закрыли нам глаза и заткнули уши.

— Я боюсь, — снова сказал сын. — Они убьют меня. Я не хочу, чтобы они убили меня. Я думаю, я не выдержу этого.

И он повалился на отца, который долго держал его в руках, шепча молитвы. Наконец, как бы пробудившись из глубокого забытья, отец сказал:

— Пойдем, сыночек, приготовься умереть.

— Да, отец, — ответил ребенок, полный покорности.

Затем отец снял свой ремень и обвязал его вокруг шеи ребенка. Потом он заставил его встать на ящик и забрался рядом с ним, чтобы привязать ремень к балке. Когда все было сделано, он обнял сына и сошел вниз.

— Прощай, — прошептал сын.

— Увидимся, — ответил отец и быстро выбил из-под него ящик.

Через несколько минут он вернулся, залез на ящик и снял тело сына. Он осторожно положил его на песчаный пол барака и начал читать молитву.

В бараке поднялись голоса, успокаивающие, безымянные, братские, усиливающиеся при каждом «Амен». Но когда отец обвязал ремень вокруг шеи, никто не сдвинулся с места. Он забрался на ящик, нащупал руками балку, чтобы привязать ремень, и резким движением вытолкнул из-под себя ящик. Его тело выпрямилось, дернулось и затихло. Похоронный шепот возобновился. Глубокий как смерть, вечный как вера. В эту ночь возродилась социальная жизнь евреев Треблинки.

Когда начались первые реформы и узники стали словно пробуждаться от состояния бессознательности, первым проявлением их свободы стали самоубийства. Возрождение боли освободило их. В это время они перестали быть просто рабами, потому что смогли выбирать — или убить себя или продолжать мучиться. Эта свобода выбора освободила заключенных из тисков

Исполнителей, которые перестали играть роль верховных судей. Если они еще сохраняли свою власть над смертью, власть над жизнью они потеряли.

Второй победой была демонстрация солидарности в смерти. Это кажется очень незначительным, но это было первое движение, за которым последовали остальные. На основе этой солидарности снова начиналась жизнь. В этом новом мире, который рождался в Треблинке, выталкивание ящика из-под самоубийцы представляло собой ступень развития более важную, чем открытие огня в истории нашей цивилизации. Хотя это было еще не так очевидно, но это уже ограничивало власть Исполнителей.

Меир Берлинер, который во время разделения на два лагеря оказался в Лагере Номер Один, был назначен старшим в голубой команде, чьей обязанностью было «приветствовать» эшелоны. Он быстро осознал, что не сможет долго просуществовать в этом мире смерти. Он думал о самоубийстве, но помнил о клятве, которую заставила его дать пожилая женщина. Он не разделял этого яростного желания выжить, но чувствовал себя связанным этой клятвой против своей воли, как силой, которая была сильнее его самого.

Ночи были еще хуже, чем дни — днем удары приносили спасительное отупение. В течение дня ритм работы был таким интенсивным, что думать было некогда, но когда двери бараков закрывались, Берлинером овладевало отчаяние, а не покой. В это время самоубийства стали такими многочисленными, что когда ночью человек вставал, чтобы пройти к большому баку, служившему уборной, он должен был идти с вытянутыми вперед руками, чтобы не наткнуться на висящие тела. Иногда люди сходили с ума. Одни рыдали, другие истерически смеялись, третьи тараторили безумные фразы.

Однажды ночью Берлинеру показалось, что он тоже сходит с ума. День был душным, и в бараке нечем было дышать. Запах немытых тел в сочетании с запахом уборной был удушающим. Время от времени можно было слышать приглушенный приказ: «Давай!» — и барак содрогался от агонии повесившегося человека — вначале рывок, потом постепенно затухающая вибрация. У некоторых она длилась только несколько секунд, но у других казалась бесконечной. В основном вешались те, кто в течение дня видел, как уничтожали их родственников, и число повесившихся было пропорционально числу эшелонов.

В этот день прибыло пять эшелонов, и Берлинер сказал себе со странной отчетливостью, что в эту ночь будет много повесившихся. Несмотря на большую усталость, он не мог уснуть: каждый рывок, казалось, проходил через его собственное тело. Пинхаса Альтера послали в Лагерь Номер Два и Берлинер был один. Охваченный чувством патологического любопытства,

он непроизвольно ждал рывков.

Вдруг он услышал, как человек справа от него заговорил. Голос был ясным, твердым, тон — безразличным: «Слава Б-гу, мы теперь тоже кое-что делаем. Вот и все, мы остались, мы схватим их сразу же». Человек говорил негромко, и Берлинер, прислушивавшийся ко всем шумам, старался расслышать все. Вдруг голос словно бы споткнулся, и стало слышно только что-то бессвязное. Потом послышалось усталое и глухое бормотание, похожее на молитву умирающего. Берлинер слушал, затаившись. Голос вновь обрел силу. Бормотание снова стало словами, но они не имели ни смысла, ни связи. Это был набор абсурдов. И вдруг он превратился в рыдающий смех, дикий и безумный, который взорвался над похоронным молчанием барака. В ужасе Берлинер почувствовал, что сейчас тоже засмеется. Чтобы подавить в себе это желание, он вскрикнул и побежал на другой конец барака.

В ту ночь он решил бежать. Пробудившаяся способность воспринимать происходящее сделала жизнь в Треблинке невозможной, но умирать он не хотел. Выбирая между смертью и страданием он предпочел побег. «Из двух решений я всегда выбираю третье».

На следующий день, впервые после своего прибытия в Треблинку, Берлинер обрел способность внимательно наблюдать за происходящим вокруг. Это было еще немного, но эта вновь обретенная способность показалась ему полной значения и давала надежду на возможность побега. Когда он выводил толпу евреев из эшелона, он вдруг увидел выходящего из вагона Исаака Шокена, своего товарища из Варшавы.

Коренастый и жилистый, Шокен обладал выдающейся жизненной и физической силой, что плохо сочеталось с его внешним видом. Его друзья говорили, что вся предприимчивость духа и вся страстность ума евреев соединились в одном Шокене. Он любил драться, как изучающий Талмуд школьник любит спорить. Берлинер и познакомился с ним благодаря драке.

Это произошло в самом начале существования гетто. Однажды, идя по улице, Меир увидел, как несколько украинских солдат издевались над маленьким Шокеном. Еще веря, что аргентинский паспорт может защитить его от жестокости, он подошел к ним, чтобы вмешаться. Шокену это дало возможность убежать, а взбешенные украинцы повернулись к Берлинеру. Он даже не успел сунуть руку в карман, чтобы вытащить паспорт, как свалился на землю, потеряв сознание. Остальное произошло еще быстрее. Шокен, увидев что его незадачливый защитник попал в беду, вернулся чтобы помочь ему. Как ему удалось сбить с ног половину, а другую половину обратить в бегство, Берлинер так и не понял. Он пришел в себя, когда Шокен тащил его на себе и говорил:

— Быстрей, быстрей, они сейчас вернутся. — Потом он

побежал сам, и когда они, наконец остановились, Берлинеру казалось, что он умирает. Лежа на земле у стены, он отчаянно пытался восстановить дыхание, а Шокен со спокойным лицом, без капли пота на лбу улыбался ему одновременно и иронически, и подбадривающее. Прошло немало времени, прежде чем Берлинер сумел сказать:

— Спасибо. Вы спасли мне жизнь.

Когда он увидел, как Шокен вышел из вагона и быстро осмотрелся, пытаясь понять, что происходит, Берлинер вспомнил громкой хохот, которым Шокен встретил его выражение благодарности.

Он подошел к товарищу и осторожно прошептал: «Ты один?»

Не показав удивления и не глядя на Берлинера, Шокен тихо ответил:

— Да.

— Когда разденешься, скажи, что ты плотник, — продолжал также тихо Берлинер.

Не задавая никаких вопросов, Шокен незаметно кивнул и отскочил в сторону, чтобы избежать удара.

В тот вечер Берлинер стоял в очереди за миской супа, когда услыхал сзади:

— Шалом! — Он повернулся и увидел Шокена.

— Что здесь происходит? — спросил Шокен.

— Не задавай вопросов. Я объясню в бараке.

— Что мы можем сделать? — спросил Шокен, как только Берлинер закончил свой рассказ о том, что такое Треблинка.

Двери бараков только что закрылись еще на одну ночь агонии и кошмаров. Шокен не задавал лишних вопросов, не разразился слезами, не впал в бешенство. Он сидел, онемев и оцепенев от всего, что узнал. «Даже если острие меча у вашего горла, вы не должны впадать в отчаяние» — говорит Талмуд. Все эти евреи, которые отказывались принять идею смерти, следовали этому учению. Но если они подчинились этому по своей человеческой слабости, Шокен жил заповедью почти нечеловеческой. Когда он узнал, что полторы тысячи евреев, прибывших вместе с ним сегодня в Треблинку, теперь были мертвы, что миллионы евреев должны были умереть также как они, он задал только один вопрос:

— Что мы можем сделать?

Он был одним из тех людей, остановить которых может только смерть.

— Мы должны попытаться бежать, — ответил Берлинер.

— У тебя есть идея?

— Возможно. Но это будет трудно.

— Объясни.

— Значит так. Раз в несколько дней одежда и вещи отправляются в Люблин. Эшелоны привозят евреев и забирают

то, что от них остается — кучи тряпок.

— Неплохо организовано, — заметил Шокен.

Он говорил коротко, бодро, без эмоций, что одновременно и удивило и успокоило Берлинера. Он продолжал:

— Все команды принимают участие в погрузке. Моя идея состоит в том, чтобы спрятаться в одном из вагонов. Но немцы все время настороже, и я не знаю как...

— Это кажется выполнимым, — перебил Шокен.

Он помолчал немного и сказал как бы невзначай:

— Между прочим, спасибо. Ты спас мне жизнь. — Он нашел в темноте руку Берлинера и пожал ее.

— Это я должен благодарить тебя, — сказал тот с чувством. — Я думаю, это ты снова спас меня.

— Мы поговорим об этом, когда будем в поезде. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — ответил Берлинер и тут же уснул.

Через несколько дней двух евреев, которые пытались бежать, подвесившись под вагоны поезда, убили лопатами. Они спрятались там, когда поезд грузился, и их поймали как раз тогда, когда их вагон проходил через ворота лагеря. Берлинер видел расправу. Он весь был еще под ее впечатлением, когда вечером рассказывал об этом Шокену:

Два немца стояли по обе стороны ворот. Когда вагон проходил мимо них, они что-то закричали, и поезд остановился. Один немец наставил на них автомат и приказал выйти. Они, наверное, замерли от страха, потому что не шевелились. Тогда немец наклонился и выстрелил. Один еврей упал. Немец снова повторил приказ и второй вышел сам. У меня перед глазами еще стоит его лицо, искаженное страхом, и глаза, полные отчаяния. Когда поезд тронулся, они, наверное, думали, что все уже позади. Оказалось, что первый был только ранен. Их обоих вытащили на середину платформы и долго мучили, перед тем как убить. Они кричали от боли. Потом двум заключенным приказали обыскать их одежду. У них нашли много золота и бумажных денег. Когда немцы увидели это, они еще долго топтали их тела, хотя бедняги были уже мертвыми. Они кричали, что евреи украли золото Рейха.

Берлинер замолчал.

— Я боюсь, — сказал он после паузы.

— Я уже думал о таком исходе. Нам придется найти что-то другое, — сказал спокойно Шокен. — Но мысль о том, чтобы взять с собой деньги, кажется, правильная.

Снова Берлинер испытал смешанное чувство удивления и уверенности после слов Шокена.

— Разве тебя не пугает то, что они погибли?

— Я уже давно понял, что это будет борьба без компромиссов.

— Но там, где борьба, должны быть борцы, а эти условия не дают нам возможности даже защищаться.

— Пока еврей хочет жить, борьба будет продолжаться. Каждый борется своим способом, но поскольку на карту поставлено выживание еврейского народа, мы обязаны победить.

— Странная победа!

— Слушай! Немцы похожи на альпинистов, взбирающихся на гору. Если они взберутся, то поставят на вершине свой флаг, и люди скажут, что они покорили гору. Но если они остановятся на полдороге или не дойдут до вершины хотя бы сто метров, люди скажут, что гора покорила их. Если немцам не удастся уничтожить всех нас, то через тысячу лет учебники еврейской истории будут говорить, что в середине двадцатого столетия еврейский народ столкнулся лицом к лицу с величайшей угрозой за всю свою историю, но в этой битве он остался победителем, как и во всех остальных до нее.

Берлинер взглянул на него, удивленный этим исключительным смыслом коллективной судьбы еврейского народа.

— Но что будет, если выжившие не захотят больше быть евреями после такой катастрофы?

— Тогда мы проиграли. Значит опасность в нас, и только в нас. Поэтому мы должны найти смысл того, что происходит с нами.

— И какой же смысл ты находишь?

— Это не мое дело. Я оставлю его нашим мудрецам.

Вдруг они услышали короткую команду «Давай!», и барак вздрогнул.

— Что это? — спросил Шокен.

— Кто-то, кто не захотел больше жить, повесился.

— Но он сумасшедший.

— То же самое говорят и немцы.

Последние несколько минут они говорили довольно громко, и какой-то человек, услышав, направился в их сторону.

— Он был вне себя от горя, — сказал он.

— Вот этого-то и хотят немцы, чтобы мы все были вне себя от нашего горя.

— Вы правы, — сказал подошедший. — Я думаю, нам следует что-то делать. Берлинер заколебался на мгновение, раздумывая, стоит ли ему открывать их план незнакомцу. Он знал, что нужно быть осторожным, но этот человек внушал ему доверие. Он решил уговорить его присоединиться к ним.

— Мы хотим бежать. Не хотите ли Вы попробовать вместе с нами...

— Нет. Я не могу. Я уже думал об этом, но это невозможно. Меня привезли сюда вместе с женой и детьми. Я никогда не уйду из Треблинки. В мире нет места для такого человека, как я. Все, чем я могу оправдать смысл своего выживания, это помочь другим. Я не пойду с вами, но я помогу Вам, если хотите. Меня зовут Галевский. Я был инженером в Варшаве.

— Меня зовут Берлинер. Я был коммерсантом в Буэнос-Айресе.

— Меня зовут Шокен. Я был евреем.

И каждый непроизвольно протянул вперед правую руку. Их руки соединились вместе. Так родился Комитет Сопротивления Треблинки.

Три человека взяли за правило встречаться каждый вечер. Первой задачей, которую они сами себе поставили, было попытаться предотвратить самоубийства. Как только они слышали команду «Давай!», они спешили на этот звук. Они не всегда успевали вовремя, но даже если им удавалось добраться до бедняги, пока он был еще жив, они часто должны были удерживать его от повторной попытки забраться на ящик. Пока Берлинер и Шокен не давали ему двигаться, Галевский уговаривал отчаявшегося. Он испробовал множество аргументов, пока не нашел самый эффективный — аргумент последующего свидетельства.

— Мы должны будем обо всем рассказать, — объяснял он. — Мы подобны проклятым людям, которых волшебная сила держит живыми в самом сердце ада. У нас должна быть только одна мысль: выбраться отсюда, для того чтобы рассказать живым, предупредить их. Подумайте обо всех, кто неумышленно грешит, не сознавая этого. Подумайте обо всех, кто легко принимает решения, не зная, к чему они приведут. Подумайте обо всех, кто с легким сердцем, не понимая этого, идет к гибели, как слепой идет к обрыву. Разве вы не хотите ничего сделать для них?

В этой точке спора человек обычно начинал злиться. Его ответом было: «Почему я должен думать о людях, которые не думают обо мне? Весь мир является соучастником нашего уничтожения». Против этого возражения Галевский находил хороший ответ: «Весь мир является соучастником именно потому, что он не знает».

Когда несостоявшийся самоубийца начинал жаловаться на ужасы, выпавшие на долю евреев, Галевский знал, что он выиграл.

Уничтожение приняло для евреев мистический характер, который напоминал им о прошлом, полным надежд и тяжких испытаний. Обездоленные потомки Авраама, Исаака и Иакова, выжившие в процессе многовековой истории, ничего не имея, они стремились сохранить жизнь.

Эта обязанность жить, для того чтобы стать свидетелем, которую им предназначил Галевский, занимала важное место в их системе исторических измерений. На том уровне, до которого они опустились, только помогая другим они могли спастись от отчаяния, поскольку сохранили свои жизни ценой жизней других. В Треблинке в этот период уничтожались в день в среднем пятнадцать тысяч евреев. Отряд еврейских рабочих лагеря можно оценить примерно в тысячу человек. Поэтому цена

жизни в Треблинке, рассчитанная в еврейских головах, равнялась пятнадцати единицам в день. Конечно, работа все равно была бы сделана. Ее сделали бы другие. Но такова ужасная арифметика одного дня выживания в Треблинке.

Эти изнуряющие ночи сделали трех человек настоящими братьями. Они решили, что если Шокену и Берлинеру удастся совершить побег, они проберутся в гетто предупредить евреев о том, что такое Треблинка.

В первую ночь без самоубийств они долго говорили о побеге. Галевский был очень взволнован. Берлинер сознавал это и снова предложил ему уйти вместе. Галевский долго отказывался, наконец, сказал, что он подумает. Он боялся снова оказаться одиноким. После того, как он встретил Берлинера и Шокена, его жизнь снова приобрела какой-то смысл, и он сказал себе, что мог бы быть полезнее в гетто, чем в Треблинке. Но судьба решила за него. Через несколько дней Курт Франц отдал евреям приказ за одну ночь выбрать лидера. Галевский решил, что его долг остаться.

Его назначение благоприятствовало бы побегу. Став личностью в лагере, он легко мог бы достать золото у голд-юден. Так как было неразумно носить золото при себе, Шокен спрятал бы его в песчаном полу барака. Двери вагона не закрывались до тех пор, пока проверяющий немец не убеждался, что вагон заполнен до отказа. Так что два беглеца могли проскользнуть в вагон, заполненный на три четверти, и заложить дверь стеной из одежды, чтобы создать впечатление, что вагон заполнен. Когда стена будет сооружена, Галевский подозвал бы немца и сказал ему, что дверь можно закрыть. Поскольку заключенные возвращались в бараки только вечером перед сном, то можно было подготовиться к операции с утра, и Берлинер и Шокен могли заранее выкопать золото и взять его с собой.

Когда Галевский поделился с ними своим планом, они не сказали ни слова, как бы раздумывая. Поскольку заключенного всегда могли подвергнуть обыску, риск провести целый день с карманами, набитыми золотом, был слишком велик. Галевский предложил им, что он сам возьмет золото и передаст его им, когда они будут уже в вагоне. Шокен и Берлиннер не хотели подвергать его излишнему риску, но он настоял.

— Без золота вы не проживете и дня. Кроме того, вы должны выполнить задачу. Для меня в этом весь смысл. В любом случае я знаю, что не уйду отсюда живым. Теперь я уверен в этом. Моя жизнь остановилась в тот день, когда меня привезли в Треблинку. Моя агония может быть длиннее или короче, но я никогда не вернусь к жизни.

Он говорил с большой печалью, но без горечи или вызова. Два его друга поняли, что было бы бесполезно, да и бестактно утешать его.

— Где вы берете эту смелость — помогать нам бежать? Как вы находите в себе силы проводить бессонные ночи, подбадривая других? — спросил его Берлинер.

В чем источник той фанатичности, которая всегда заставляет евреев жить и оставаться евреями, несмотря на все горести, которые им приносит это имя? — ответил Галевский. — Где нашел смелость мой отец, который приговорил меня к страданиям, и где нашел ее его отец и отец его отца? Было бы достаточно, если бы один из них проявил слабость или силу, чтобы решить, что его сын не должен быть евреем, разорвать эту цепь несчастий и утвердить для своего рода спокойную жизнь.

— Возможно, тогда его род не имел бы для него никакого смысла, — вежливо ответил Шокен. — Традиция говорит, что когда один еврей покидает иудаизм, все евреи в трауре. Для отца нееврейский сын подобен мертвому сыну, а мертвый человек не может иметь детей. Если сын переходит в другую веру, род умирает.

— Вы правы, — сказал Галевский задумчиво. — Я думаю, если бы я был еще на свободе и имел бы сына, я сделал бы ему обрезание.

— Когда меня увозили из Варшавы, — сказал ему Шокен, — обсуждалась странная проблема, я вспомнил сейчас. Случилось так, что католическая церковь предложила спрятать пятьсот еврейских детей в монастырях и даже обещала, что не будет пытаться обратить их в свою веру. Я не знаю, было ли в конце концов это предложение принято, но многие евреи были против него. Они говорили: «Если мы отдадим им наших детей, они все равно переведут их в свою веру, несмотря на все свои прекрасные обещания. Для католиков обращать людей в свою веру — их первейшая обязанность. Так что, что бы мы не сделали, наши сыновья все равно потеряны. А когда наши отцы умирали у позорных столбов, они учили нас, что мертвый еврей лучше, чем еврей — отступник.

ГЛАВА VIII

Через несколько дней Галевский узнал, что погрузка одежды состоится завтра. Он ожидал этой новости уже давно, но вначале она его не обрадовала. Он снова останется один. Он прикидывал, хватит ли у него сил сопротивляться отчаянию. Цель, которую он поставил перед собой — помогать другим заключенным — оказалась очень трудной. На что он мог надеяться один против такого сильного врага? Как он мог надеяться сражаться в одиночку против уничтожения всего еврейского народа? С Шокеном и Берлинером все казалось возможным. Те несколько часов, которые он вечерами проводил с ними, помогали ему забыть неумолимую реальность Лагеря Треблинка.

До вечера Галевскому не удалось повидать Шокена и Берлинера.

— Вы уйдете завтра, — сказал он спокойно, пытаясь скрыть свои чувства. Берленер, казалось, не слышал. Шокен и Галевский смотрели на него с удивлением.

— Завтра в это время мы будем на свободе, — сказал ему Шокен, кладя руку на плечо. — Еще только один день, Меир, и мы выберемся из этого ада.

Я не смею верить этому, — ответил Берлинер. — Все это время я выдержал только потому, что надеялся убежать. Теперь, когда вы говорите, что это будет завтра, — продолжал он, повернувшись к Галевскому, — я чувствую себя как во сне. Вернуться к нормальной жизни после того, через что мы прошли, кажется невозможным.

— Вы не радуетесь, что пришла пора? — спросил его Галевский.

— Я радуюсь, но я не могу представить себя свободным человеком. Мне трудно поверить, что есть еще мир за этой колючей проволокой, мир, в котором и для меня найдется место.

— Я представляю себе, что вы чувствуете, — медленно сказал Галевский. — Возможно требуется больше мужества, чтобы убежать, чем чтобы остаться. Иногда мне хочется позволить себе умереть. Это было бы гораздо проще.

— Я думаю, мы все сойдемся в одном, — вмешался Шокен, чтобы совладать с нахлынувшими чувствами. — Мы живем не для удовольствия, а для того, чтобы бороться.

— Вы правы, — сказал Галевский твердо. — У нас есть другие дела, которые важнее сделать в последний вечер, чем жалеть самих себя.

Они провели остаток ночи, разрабатывая окончательные детали побега и их миссии в гетто. Они также решили попытаться найти способ передать информацию о Треблинке в Лондон. Когда все было решено, Берлинер предложил им договориться о месте в Палестине, где они могли бы встретиться после войны, если останутся в живых. Они выбрали кибуц в Галилее и пошли спать, полные грез о будущем.

Трагедия разразилась на следующее утро. Она изменила судьбу не только Берлинера, но и всего лагеря.

Устная летопись Треблинки не сохранила сведений о том, что делал Берлинер в то утро. Известно, что он оделся тепло, не по сезону и набил полные карманы золота. Последние слова, которые он сказал Шокену, когда их утром выводили из бараков под привычным градом ударов, были: «Я не верю, что кто-нибудь может выбраться отсюда. И не поверю, пока поезд не начнет двигаться». Было ли у него предчувствие того, что случится? Сказать это невозможно. Когда впоследствии Галевский передумывал все снова и снова, он вспоминал именно

эту двойственность состояния Берлинера, когда тот узнал, что побег состоится завтра. Когда Галевский рассказывал историю Берлинера Курлянду, капо «госпиталя», который должен был стать лагерным бытописателем, они после долгого обсуждения решили, что Берлинер, вероятно, уже был слишком сломлен душевно. Он уже не в силах был что-нибудь предпринять, у него не было воли вернуться к жизни.

Галевский снова увидал Берлинера только днем. Встреча их длилась несколько минут. Лицо Берлинера было искажено ненавистью и горем. Не глядя на Галевского он сказал: «Все кончено. Я не стану убегать. Я знаю, что никогда не уйду отсюда».

Думая, что у Берлинера сдали нервы, Галевский попытался успокоить его.

Вы не можете мне больше помочь, — ответил Берлинер. — Никто не может мне больше помочь. Только что привезли моих родителей. Мне удалось спрятаться и они не видели меня. Я видел их несколько минут. Их разделили: женщин налево, мужчин направо. В последнюю минуту отец хотел поцеловать мать, как будто понял, что больше никогда ее не увидит. Он повернулся, чтобы подойти к ней, но она уже уходила. Тут появился Макс Билас и так сильно ударил отца, что он упал. Кто-то помог ему встать на ноги и увел прочь.

Берлинер говорил резко и невнятно. Галевскому показалось, что он собирается совершить что-то непоправимое. Пытаясь вложить в свой голос как можно больше убедительности, он быстро сказал:

— Именно потому, что ваших родителей привезли сегодня в Треблинку, вы должны бежать. Вы не можете больше жить в Треблинке. Вы должны жить, чтобы отомстить.

— Отомстить! Как давно я мечтал об этом! — ответил Берлинер, прежде чем они разошлись в разные стороны.

В это время Галевского позвали к Курту Францу, и он не видел, куда направился Берлинер. Весь день он искал его, но не мог найти. Он увидел его снова только вечером на перекличке, но было уже слишком поздно.

Загрузка одежды производилась в течение дня. Во время короткого перерыва на обед Галевский нашел Шокена и рассказал ему о том, что произошло.

— Может быть, вам следует отложить побег. Если Берлинера поймают со всем золотом, которое при нем, будет обыск, и за погрузкой одежды будут следить более внимательно чем всегда.

— Я не хочу оставаться лишний день в Треблинке, — ответил Шокен. — Я верю в свою судьбу.

Галевский вручил ему ампулу с ядом.

— Возьмите это. Никто не знает, как он будет вести себя под пытками. Ни вы, ни я.

Существовало правило: если у заключенного обнаруживали золото, его пытали до тех пор, пока он не выдавал того, кто дал ему это золото, а потом пытали и того, кто дал.

— Увидимся позже, — ответил Шокен, быстро опуская ампулу в карман. Галевский внимательно посмотрел на него.

— Вы думаете, мы еще увидимся? — спросил он.

— Да, — ответил Шокен с воодушевлением. Потом добавил: — Позже, на станции. — И он исчез в толпе заключенных.

Галевский расхаживал взад и вперед перед поездом, когда он увидел, как подбежал Шокен, наполовину скрытый огромным тюком одежды.

— Третий вагон. Стойте около двери. Я дам знак, когда войти, — прошептал Галевский, когда Шокен проходил мимо.

Он очень нервничал. Ему не удалось найти Берлинера, и он боялся, что в любой момент может разразиться катастрофа.

Он увидел на платформе необычно много немцев и украинцев. Хозяева, должно быть предпринимали какие-то меры ввиду недавних попыток побегов. Галевский понял, что он не сумеет незаметно втолкнуть Шокена в вагон. Шокен повернулся с вопросительным видом. Вагон был почти полным. И Галевский решил рискнуть. Подняв кнут, он поспешил к Шокену с криком:

— В этом вагоне никого нет. Ну-ка, забирайся туда, ленивая свинья!

Шокен понял. Он вспрыгнул в вагон и в тот же момент в дверях появился заключенный, ответственный за укладку связок одежды. Шокен свалил его на пол. Все дело заняло несколько секунд. Прежде чем узник сумел понять, что происходит, Галевский позвал его:

— Возьми эти связки, негодный еврей, и уложи их как следует.

Не пытаясь больше понять, испуганный криками и ударами, заключенный стал хватать связки, которые начали скапливаться у края вагона и таскать их в глубину, где было еще пусто.

— Спасибо, друг, — прошептал Шокен. — Галевский вознаградит тебя за это.

В следующий заход узник окончательно пришел в себя. Когда он складывал свою ношу, он прошептал тем же приглушенным шепотом, что и Шокен:

— Я понял, удачи тебе, друг!

— Положи связки перед дверью. Оставь мне место, чтобы двигаться.

Тем временем Галевский отошел и начал ругать заключенных у следующего вагона, чтобы отвлечь внимание эсэсовцев и украинских охранников. Когда он увидел, что дверь вагона, в котором был Шокен почти заложена, он вернулся и, сделав вид, что проверяет, полностью ли загрузили вагон, проговорил:

— Положите связки так, чтобы стена не упала. Через три минуты я позову немца, чтобы закрыть дверь.

— Не забудьте! — сказал Шокен. — Мы встретимся в Израиле.

Когда Галевский собирался отойти, он встретился глазами с человеком, работавшим в том вагоне, где был спрятан Шокен.

— Спасибо, — сказал он едва слышно.

— Отличный план! — ответил тот, не отрываясь от работы.

— Вечером найди меня в бараке.

Они обменялись этими несколькими фразами, не разжимая губ, и не глядя друг на друга. Отойдя, Галевский сказал себе, что нашел нового помощника, и сразу же смелость, которая начала было покидать его, вернулась. Взглянув на часы, он начал отсчитывать минуты. Он решил пройти полторы минуты пути вдоль поезда и потом вернуться назад. Когда он обернулся, то увидел, что дверь вагона уже была полностью заложена одеждой и рабочие стояли рядом без дела. Это было опасно для них: существовало правило, что заключенный, хоть на секунду прекративший работу, считался саботажником. Охранник уже приближался к ним, снимая винтовку. Галевский взглянул на часы: оставалось еще больше минуты. Охранник был ближе к двери, чем он, но шел медленнее. Галевский поспешил к двери, снова поднимая кнут:

— Ленивые свиньи! — крикнул он. — Чего вы ждете?

— Вагон полный! — крикнул человек, который впустил Шокена. Галевский был уже перед дверью. Он повернулся к охраннику, который еще двигался к вагону. Если украинец подойдет сейчас к самой двери, может случиться, что он увидит, как кучи одежды шевелятся изнутри. Галевский через его голову закричал немцу, стоящему сзади:

— Вагон полный, господин солдат. Его можно закрыть.

Удивленный, охранник повернулся назад. Немец услышал и медленно подошел. Галевский быстро взглянул на часы. Шокен, должно быть затаился, стараясь не дышать.

Эсэсовец бегло взглянул на вагон, нажал одной рукой на связки и наклонился вперед, чтобы убедиться, что между ними и стеной вагона нет свободного места. Потом он повернулся к Галевскому, скрывающему свою тревогу покорным и раболепным видом.

— Все в порядке, господин солдат? — робко спросил Галевский.

— Закрывай! — сказал тот презрительно.

Повернувшись к заключенным, Галевский закричал как сержант, запугивающий новичков:

— Все в порядке, закрывайте двери, ленивые свиньи! После сильного толчка двери, наконец, закрылись.

— Желаю удачи, — прошептал Галевский.

При виде наглухо запечатанной двери он почувствовал большое облегчение. Комитет Сопротивления одержал свою первую победу.

И только после этого Галевский вспомнил о Берлинере.

Его последние слова эхом отозвались у него в голове: «Месть! Как давно я мечтал о ней!». Он вспомнил тон, которым его друг произнес эти слова, и прежний смутный страх снова наполнил его. Галевский понял, что Берлинер дошел до той точки, когда даже инстинкт самосохранения больше не действует.

Как потом он объяснял Курлянду, он не воспринял серьезно угрозу Берлинера. В то время никто не мог даже представить себе возможность акта восстания. Но Берлинер, которого покинули все надежды и вся воля к жизни, мог сделать что-нибудь неразумное. Если его арестуют со всем золотом, которое было при нем, Берлинер мог под пытками выдать не только Шокена, но и роль, которую играл в побеге Галевский. Если это случится до того как поезд уйдет, это будет полной катастрофой. Но даже и после ухода поезда последствия могут быть трагическими. Если немцы узнают, что еврейский комендант лагеря был главой Движения Сопротивления, их подозрительность так возрастет, что ни о каких последующих попытках не сможет быть и речи.

Обо всем этом думал Галевский, отходя от запечатанного вагона. Если Берлинера схватят, следует ли ему тут же проглотить ампулу с ядом или остаться в живых чтобы все отрицать? Самоубийство было бы более легким выходом. С одной стороны, оно освободило бы его от пыток, но с другой, представляло бы определенное признание вины, и немцы не удовлетворились бы им. Оставаться в живых, чтобы попытаться снять с себя обвинения, было ужасным риском, так как Галевский знал, что его замучают до смерти и только ни слова не сказав под пытками, он мог бы своей смертью развеять подозрения немцев. Но выдержит ли он пытки? Он не был уверен в этом. Когда он обдумал все это снова, он решил, что настоящей победой над эсэсовской системой смерти будет умереть под пытками, не признав ничего. И он решил не совершать самоубийства. И для того, чтобы это решение стало окончательным, он вынул ампулу с ядом из кармана, бросил ее на землю, поставил на нее ногу и медленно, но твердо нажал. Раздался слабый звук лопнувшего стекла. Когда он отвел ногу, в пыли блеснули мелкие осколки.

Сделав выбор, Галевский провел остаток дня в ожидании того, что казалось ему неминуемым. Чтобы доказать самому себе, что он не стал фаталистом, он пытался найти Берлинера. Отправление поезда, увозящего из этого ада двух его друзей, было тем кульминационным моментом, на который были устремлены все его помыслы в последние несколько дней. Ему казалось, что заключенные никогда так долго не загружали поезд. В самом отчаянном нетерпении провел он последние минуты погрузки, подгоняя евреев как настоящая овчарка. При этом он показал столько старания и рвения, что Курт Франц, видя его работу, поздравил себя с правильным выбором.

Но немец ошибался, неправильно истолковывая его цели.

Галевский не думал о мнении Курта Франца, когда он поднятым кнутом угрожал тем заключенным, кто бегал недостаточно быстро, чтобы удовлетворить его нетерпение. Кроме того, этим последним минутам суждено было оказать значительное влияние на будущее лагеря. Когда позже Курт Франц объяснял Галевскому, что именно усердие, которое он продемонстрировал во время погрузки поезда, спасло лагерь от уничтожения, Галевский, оправившись от удивления, сразу же сообразил, какие преимущества должны быть извлечены из такого «понимания» сути вещей. Трудно установить момент, когда евреи ускользнули из-под всесильного давления Исполнителей; когда, еще сохраняя образ покорных рабов, они начали готовить свою месть; когда, несмотря на кажущийся порядок, их роли стали меняться. Но это непонимание частью Исполнителей настоящих мотивов действий Галевского кажется одной из первых серьезных ошибок немцев. Стоит только вспомнить их безошибочный контроль над любыми действиями в гетто, их скрупулезность в тщательном отборе заключенных в команды и сравнить это с внезапной слепотой, приведшей их к тому, что они благодарили еврея за проявленное усердие в их одурачивании, чтобы понять, что в этот момент произошло изменение в отношениях между убийцами и жертвами, изменение, которое казалось совершенно безобидным, но которое открывало возможность радикальных перемен в будущем.

В течение этих нескольких минут наивысшего напряжения Галевский был далек от этих оптимистических мыслей. Крича, ругаясь, угрожая, он искал Берлинера. Он видел перед собой тысячу Берлинеров, бегущих со спрятанными лицами и с опущенными плечами, разрываемых между страшной усталостью и жутким страхом, острым желанием лечь и умереть и страстной волей продолжать жить, чтобы победить смерть; тысячу одинаковых людских подобий, кого в их усилии слиться в одно и исчезнуть, невозможно было различить даже по росту. Их одежда, которая раньше была частью их индивидуальности, теперь приобрела один общий цвет — грязно-серый. Было что-то пугающее в этом танце, скорость которого увеличивалась вместе с усталостью. Когда он подумал о том, что в другом мире они все были людьми: отцами, мужьями, сыновьями, коммерсантами, раввинами, разносчиками, выигрывавшими дела адвокатами, излечивающими больных врачами, что все они любили, страдали, надеялись, что все они иногда ревновали и были нетерпеливыми, что все они были человеческими существами, его охватили противоречивые чувства. Кроме болезненной жалости, которую он ощущал, в нем появилась некоторая гордость при виде этого сверхчеловеческого сопротивления, которое равнялось бесчеловечности испытания. Евреи встретили волю Исполнителей к уничтожению даже еще большей волей — волей к жизни.

День уже подходил к концу, когда была закрыта дверь последнего вагона. Галевский не нашел Берлинера, но и немцы тоже не схватили его. Поезд начал медленно двигаться, унося с собой Шокена и его ужасное сообщение. Шокен — первая победа Комитета Сопротивления.

Как только последний вагон был погружен, команды были тут же построены и, как и каждый вечер, отведены на аппельплац, где раздевали прибывших в эшелонах. День был очень жарким, и небо на западе было залито красным. Впервые с тех пор как его привезли в Треблинку, Галевский взглянул на небо. Со стороны заката оно было красным и разорванным, со стороны восхода уже темно-голубым. Он не смотрел на него, как на небо сожаления, небо прошлого. Он не думал о том, что небо было тем же самым, каким он привык его видеть в другом мире. Ему не приходило в голову, что в этот же час свободные люди в другом мире, также как и он, смотрели на это небо. Для него оно стало небом Треблинки.

На крышах бараков на другой стороне двора, как обычно каждый вечер украинские охранники устанавливали пулеметы на огневые позиции. Внизу во дворе кнуты охранников выравнивали строй евреев. В это время ритуал переклички был еще весьма формальным. Заключенных, эту безымянную массу, даже не пересчитывали. Перекличка состояла из двух частей. Первая часть, которая длилась от пятнадцати минут до двух часов, посвящалась тренировке снятия шапок. В отличие от заключенных других лагерей, евреи Треблинки не носили знаменитых полосатых курток. Их единственной униформой были шапки.

По команде «*Mützen ab*» каждый должен был быстрым движением сдернуть шапку и хлопнуть ею по своему правому бедру; по команде «*Mützen auf*» вновь надеть ее. Как пародия на строевую подготовку, эти упражнения теоретически предполагалось проводить до тех пор, пока тысяча шапок, ударяясь о тысячу бедер, не произведут единого звука, резкого как выстрел. На практике эта церемония длилась очень долго не в целях научить евреев одновременно снимать шапки, а для того, чтобы сломить их дух. Когда в совершенстве можно было уже не сомневаться, командир эсэсовской банды обычно резко хлопал себя по бедру и говорил: «Было уже почти отлично, но вы начнете упражнение снова из-за той еврейской свиньи, которая всегда опаздывает». И упражнение продолжалось снова до тех пор, пока усталость не преодолевала совершенство. Тогда удары начинали сыпаться снова, и евреи опять бросались в погоню за новым совершенством уже на пороге полного истощения. Иногда, редко, среди массы заключенных поднимался ропот, и тогда с крыш были слышны звуки взводимых курков пулеметов. Упражнение начиналось снова.

Вторая часть переклички, необязательная, представляла

собой речь, состоящую из ругательств. Именно во второй части заключенным сообщалось об организационных изменениях.

В тот вечер, когда Шокен наслаждался своими первыми минутами свободы, Галевский, стоя перед выстроенными в пять рядов заключенными, увидел, что прибыл сам Макс Билас в сопровождении красавца Курта Франца. Этикет требовал, чтобы он лично провел перекличку перед эсэсовцами. Поэтому он повернулся к заключенным чтобы скомандовать: «*Mützen ab!*» И тут Галевский, наконец, увидел Берлинера — в первом ряду, справа, напротив себя. Он удивился, что не заметил его раньше и попытался поймать его взгляд. Но Берлинер, замерший как каменная статуя, ничего не видел, казалось, он вообще потерял зрение. Эсэсовец приближался. Галевский, повышая голос, крикнул: «*Mütze-e-e-en ab!*». Тысяча шапок сдернулась с голов и яростно стукнулась о тысячу бедер. Перед выполнением предписанного полуоборота в сторону эсэсовца Галевский быстро взглянул на своего друга. Теперь он был без головного убора. Галевский повернулся к эсэсовцу, быстро снял шапку и передал ему дальнейшее проведение переклички.

Увидя, как Макс Билас подошел осмотреть ряды, Галевский уже знал, что должна произойти катастрофа. Еще не зная какую форму она примет, он почувствовал, что в тот момент, когда Билас встанет напротив Берлинера, что-то случится. Это было неминуемо.

Напряженный, испуганный и беспомощный, Галевский смотрел как Билас быстро двигался вдоль рядов. Это произошло в тот момент, когда, казалось, все уже было позади. За секунду до того, как он подошел к Берлинеру, Билас остановился, как бы удовлетворенный тем что он видел, и повернулся спиной к заключенным. Галевский уже собирался спокойно вздохнуть, когда увидел как фигура, как будто катапультированная из рядов, бросилась на Биласа с большим ножом, блеснувшим в правой руке. Рука опустилась с яростью. Тело Биласа вздрогнуло, затем медленно опустилось. Галевский увидел рукоятку ножа под левой лопаткой эсэсовца. Затем он взглянул на Берлинера, который неподвижно стоял на том месте, где он ударил Биласа. С поникшей головой, с опущенными руками, он ждал смерти. Она пришла градом пуль в упор. Он упал и не поднялся. Он совершил свою месть.

Курт Франц поспешил к Максу Биласу и, поддерживая его под руку, помогал ему идти. Когда раздалась первая пулеметная очередь, Билас медленно проходил мимо ошеломленного Галевского, который стоял не двигаясь. Он заметил, что рот Биласа был красным от крови и понял, что тот умирает. Тут раздалась вторая очередь, на этот раз оглушающая. Через несколько секунд к первому присоединился второй пулемет. Все действие, каждый элемент которого произошел почти одновременно, заняло меньше

минуты. Но этого времени заключенным было достаточно, чтобы осознать, что произошло, пулеметчикам — чтобы начать стрелять наугад. Евреев охватила паника. «Нас всех убьют!»' — крикнул кто-то и побежал вперед. Это послужило сигналом.

Подобно лошадям, беспорядочно носящимся по загону, узники бросились во все стороны и разбежались по двору. Эсэсовцы и украинцы поспешно отступили, чтобы не попасть под огонь пулеметов и избежать слепой ярости заключенных. Через несколько минут Курт Франц понял, что всех евреев могут уничтожить. Он закричал пулеметчикам, чтобы они прекратили огонь, но его голос потонул в стуке пулеметов и криках заключенных. То, что заставило Франца испугаться убийства евреев, не было вызвано сентиментальной привязанностью. Скорее он был против способа, которым совершалось убийство, — беспорядочного, без принятого заранее решения, не в соответствии с предусмотренными правилами. Эсэсовец крикнул еще раз, но сам не услышал своего голоса. И тогда он принял решение, которому суждено было принести ему офицерские погоны. Он побежал через дикое сумасшедшее стадо заключенных и разрывы пулеметных очередей в центр двора. Там он встал в полный рост, вытащил пистолет и выстрелил в пулеметчика на левой стороне бараков. Как по волшебству, все сразу остановилось. Галевский, который в самом начале бросился на землю, поднялся. Испуганные евреи смотрели друг на друга. Вновь появились украинские охранники и эсэсовцы.

— Построиться! — сухо приказал Курт Франц.

После того как ряды из нескольких сот уцелевших были вновь построены, тридцать заключенных были выбраны наугад и отведены в «госпиталь». Затем остальные бегом оттащили убитых и раненых. Через четверть часа двор был очищен. Курт Франц отдал приказ запереть заключенных в бараках. Тем временем эсэсовский охранник побежал за автомобилем, чтобы отвезти Биласа в Люблин.

Пока заключенных загоняли в бараки с помощью кнутов и ружейных прикладов, Галевский увидел, как четверо эсэсовцев осторожно отнесли к машине Биласа. Его лицо было очень бледным, глаза остановились. Курт Франц присоединился к этой группе, когда она проходила мимо Галевского.

И тогда он услышал, как умирающий Макс пробормотал слабеющим голосом: «Убейте всех евреев!».

ГЛАВА IX

Он был невысоким человеком с огромным носом, голубовато-зелеными глазами и исхлестанным непогодой лицом. Его звали Адольф Фридман, и его арестовали в Лодзи вместе с отцом, матерью и двумя сестрами. Отец был зажиточным человеком,

владельцем кондитерской фабрики. Он принадлежал к тому меньшинству евреев среднего класса, кто верил в возможность ассимиляции, когда Конституция 1919 года сделала евреев почти полноправными гражданами впервые за всю историю Польши.

Хотя он продолжал чтить Субботу, отмечать Йом-Кипур и в Пасху праздновать Исход из Египта, старший Фридман называл себя «Поляком Моисеева Закона». Проглотив немало обид, он сумел завести нескольких друзей среди христиан города. Правда, христиане чаще принимали его приглашения, чем звали его к себе, и часто его охватывали сомнения относительно искренности чувств его друзей. Но как истинный гуманист, он слишком верил в человека, чтобы приходить в отчаяние. Не отрицая своего еврейского происхождения, он готов был все понять, все принять, все простить. Час его триумфа стал также часом его величайшего сомнения. Старшая из его четырех детей была девушкой необычайной красоты. Ее звали Ханна, но среди девушек из хороших семей, в которых с помощью отца ей удалось быть принятой, ее знали как Анну. Ханна всегда была загадкой для отца. Она была слишком красивой, слишком далекой, слишком безразличной к нему, сыну еврея из гетто. Вместе с гордостью она вызывала в нем определенное беспокойство. Она была чем-то чужда отцу. Однажды, когда она развлекалась вместе с друзьями из своего класса, он услышал, как они называют ее Анной. Позвав ее в тот же вечер к себе в кабинет, он спросил, что это значит. Она ответила, что устала от того, что все зовут ее «еврейкой» и что, так как отец отказался забрать ее из этой школы и поместить в еврейскую или хотя бы в смешанную школу, она решила сделать еще один шаг в ассимиляции.

— Но, дитя мое, — сказал отец, — почему же ты не сказала мне, что все так плохо?

— Я думала, что твое заветное желание видеть, как мы выполняем твою миссию.

— Какую миссию?

— Отречение от иудаизма. Даже сейчас, хотя ты не запрещаешь нам видеться с бабушкой и дедушкой, ты делаешь все, что можешь, чтобы мы виделись с ними только в Йом-Кипур и Пасху.

— Это неправда, — подавленно сказал отец.

— И, кроме того, разве ты не видишь, что между твоими родителями и тобой такая же большая разница, как между тобой и мной?

Ей было тогда пятнадцать лет. Фридман почувствовал, как его глаза наполнились слезами. Тогда она подошла и поцеловала его в порыве нежности, чем еще больше смутила его.

— Это моя вина, — сказал он.

— Нет, отец, ты не мог провести всю свою жизнь в гетто.

Так доверие было восстановлено. Фридман решил предоставить ей свободу, так как ему было удобно иметь дочь, которая была еврейкой с евреями и христианкой с христианами.

Но однажды, ровно через три года после этой сцены, Ханна пришла в кабинет к отцу и объявила ему, что хочет выйти замуж. Ее жених был красивым, обладал каким-то титулом, не был евреем и имел скромные средства. Она была красивой, еврейкой и богатой. Хотя он сомневался, что действительно хотел этого, Фридман почувствовал, что он достиг цели своей жизни.

Церемония не была образцом веселья, но все прошло очень хорошо. У новых родственников было достаточно такта, чтобы обойтись простой религиозной церемонией и не приглашать родных, которые были отчаянными антисемитами. У Фридмана, со своей стороны, хватило ума не скупиться с приданым.

Восхищение закончилось на следующий день, когда Ханна пришла попрощаться перед отъездом в свадебное путешествие. Только Адольф, которому было в то время 16 лет, не плакал. Его отчаяние было слишком велико. Он очень любил Ханну и знал, что теперь потерял ее. Завтра Ханна, которая была всей его жизнью, станет чужой, и когда-нибудь ее дети, возможно, станут звать его «грязным евреем». Теряя последнюю надежду, целуя ее, он спросил:

— Зачем ты это сделала, Ханна?

— Но я люблю его, — ответила она голосом, из которого совершенно исчез еврейский акцент.

Хотя они отлично говорили по-польски, они привыкли, когда бывали вместе, говорить по-польски с еврейским акцентом. И вот впервые Ханна заговорила с ним как чужая. Адольф сдержал слезы.

— До свиданья, гойка! — сказал он, стараясь голосом не выдать своих чувств, и вышел из комнаты.

Когда отец, оказавшийся свидетелем этой сцены, пришел в комнату, где он спрятался, Адольф сказал:

— Надеюсь, ты будешь видеть ее чаще, чем мы видим нашу бабушку и дедушку.

— Разве это проклятие — быть евреем? — пробормотал отец, опускаясь в кресло.

— Это нужно спрашивать не у меня, отец. Но я думаю, это проклятие только для тех, кто не хочет быть евреем.

— Но если тебе нравится быть евреем, Адольф, так это потому, что я научил тебя этому.

— Ты научил меня только пройти через то, что не имело для меня никакого смысла. Это не ты научил меня, что я еврей, а те прекрасные школьные товарищи, которые у меня были в твоей прекрасной фешенебельной школе. И учили они меня не туманными молитвами, а своими кулаками. Мне очень жаль, что ты должен узнать об этом, но поскольку я ухожу и прекращаю играть в эту грязную игру, теперь это не имеет больше значения.

Отец взглянул на него, не веря. Он сделал попытку восстановить свой авторитет.

— Адольф, но я запрещаю тебе уходить.

— Как ты можешь запретить мне уйти, когда ты только что благословил эту мадам Анну Как-Там-Ее-Фамилия, графиню такую-то, до сих пор дочь еврея Фридмана?

— Адольф, Ханна — твоя сестра!

Графиня Анна Ковальская не может быть сестрой Адольфа Исаака Фридмана, как не может больше быть дочерью Соломона Иосифа Фридмана.

Фридман был приличным человеком. Все, что он делал, он делал из любви к своим детям. Он действительно верил, что ассимиляция была вопросом доброй воли. — Но они любят друг друга, — сказал он убежденно.

— Может быть это и правда, но это ничего не меняет. Даже если она любит в нем что-нибудь кроме его титула, и даже если он может видеть ее за большой кучей золота, которую она ему принесла, это не удержит нашу семью от развала.

То ли из искренней слепоты, то ли от необходимости лгать самому себе, отец запротестовал:

— Но она будет приходить видеться с нами, а мы будем навещать ее.

— Да, но когда ты придешь навестить ее, не забудь оставить свои пейсы и свой нос за дверью.

— Адольф!

— Отец!

Две пощечины, которые он получил от отца, были первыми и последними.

Он прошел через всю Европу и сказал, что ему 18 лет, когда записывался во французский иностранный легион.

На Марсельском вокзале, куда его послали, вербующий офицер не задавал вопросов. Он только сказал:

— Ты еврей, а я атеист, он заика, а этому изменила жена. Никто из нас не выбирал своего прошлого, но все выбрали путь легионера.

— Я не знаю, возможно, вы вступили в легион чтобы забыть, что вы — протестант, но я здесь для того, чтобы научиться быть евреем.

До 1933 года он был образцовым легионером. За свою храбрость он получил боевой орден, а за свое понятие дисциплины — нашивки капрала. Но однажды он изувечил немецкого легионера, потому что тот назвал его «грязным евреем», и был понижен в звании.

— Я думаю, ты был прав, — сказал ему командир, — но капрал не должен бить никого из своих подчиненных по личным причинам. Это вопрос дисциплины.

За вторую драку он получил «дыру» — известное наказание среди легионеров. В третий раз он дезертировал, когда понял, что его противник мертв.

Обойдя весь свет и перебрав все более или менее достойные виды деятельности, он вернулся в Польшу перед самым началом войны, где вступил в польскую армию.

В то время Иностранный легион был одной из лучших военных школ мира. Адольфа, хотя он был евреем, быстро оценили. После того как он спас свою роту от полного уничтожения во время первого сражения, его прямо на поле боя сделали сержантом. Ему удалось пройти с тяжелым пулеметом в тыл к немцам и, посеяв панику в их рядах, дать возможность роте отступить. Затем он один три часа сдерживал наступление немцев и сумел отойти назад во время последней атаки. О его подвигах было много разговоров в польской армии, и поэтому его зять, который был офицером, услышал о нем.

Они виделись только однажды в день свадьбы Ханны, но Адольф сразу же узнал его, когда пришел в лазарет перевязать несколько небольших ранений. Он притворился, что не знает его, и когда зять назвал себя, Адольф холодно ответил: «Вы, должно быть, ошиблись. Я единственный ребенок».

Но Ковальский видел слишком много его фотографий у жены, одна из которых стояла даже на ее туалетном столике, чтобы не узнать этот нос и это напряженное лицо, которое ни загар, ни морщины не могли изменить.

При других обстоятельствах Ковальский бы сразу ушел, предварительно дав по морде этому еврею, которого он осчастливил своим посещением. Но Адольф был теперь не просто еврей, он был герой. Кроме того, у Ковальского была другая причина настаивать, причина, которую Адольф не мог знать, поскольку он уехал из Лодзи на следующий день после свадьбы сестры и с тех пор не переписывался со своей семьей. Замужество и отъезд брата оказались для Ханны роковыми событиями. Она умерла через год от горя и нервного истощения, оставив мужу маленького сына, как будто не могла вынести рождение христианина. Смерть Ханны была ужасным ударом для мужа, который страстно любил ее. Со временем горе Ковальского не уменьшалось, а только увеличивалось. Ханна оставила очень большой след в его сердце. Все, что принадлежало ей, все, чего она касалась и что ей было дорого, стало предметом его патологической любви. Когда он разбирал вещи, оставшиеся после ее смерти, Ковальский узнал, что Адольф был единственным, кого она любила. Ковальский нашел письма, которые она писала своему брату, но конечно так никогда и не отправила, где она постоянно просила его прощения.

Когда Ковальский прочел имя Адольфа Фридмана, он был уверен, что это брат Ханны и поспешил увидеть его, чтобы услышать, как он будет говорить о своей сестре.

Увидев безразличное лицо Адольфа, Ковальский, помедлив

секунду, произнес:

— Ханна умерла.

— И еще многим Ханнам предстоит умереть. Всем Ханнам придется умереть.

— Но это была ваша сестра, и она любила вас больше всего на свете.

— Это неправда! — вскрикнул Адольф. — Кто вам это сказал?

Но он не мог больше сопротивляться тому чувству, которое пробудилось в нем при воспоминании о Ханне. В ту ночь эти двое мужчин долго говорили о женщине, которую оба любили болезненной любовью. Ковальский рассказал Адольфу, что отец был очень расстроен его отъездом и смертью дочери и что он живет в своем доме в Лодзи как отшельник. Адольф вновь открыл в себе целый мир чувств, который считал навсегда утраченным.

— Ковальский ушел утром. Адольф подождал несколько минут, бесшумно оделся и ушел из военного лагеря. Ясный рассвет поднимался над Польшей, а через неделю, в сотый раз за ее историю, ей предстояло поражение, вторжение и раздел. Когда он пришел в Лодзь, она была уже оккупирована, и начались преследования евреев. Адольф пытался убедить родителей бежать на русскую территорию, но измученный отец не хотел его слушать. Смерть Ханны вернула его к вере предков. Интерпретируя учение иудаизма в свете своего личного печального опыта, он считал предстоящие тяжелые испытания наказанием Б-га. Если он хочет наказать меня за мое отступничество, я не буду бежать от Его гнева, и если Он захочет простить меня, мы переживем эти тяжелые испытания, в каком бы виде Ему угодно было их назначить.

Адольф чувствовал, что на нем лежит доля ответственности за трагедию семьи, и не хотел вступать в прямой конфликт с отцом. Но поскольку он не мог оставаться бездеятельным, он начал организовывать в гетто движение Сопротивления. Он был душой и сердцем этого движения до дня первой депортации, которая застала его в доме родителей. Он не оказал никакого сопротивления и позволил увести себя вместе с ними. Отец умер в дороге. Когда Адольф наклонился над ним, чтобы получить благословление, отец заставил его поклясться, что он постарается выжить.

— Прости меня, сын мой, и тогда Б-г простит меня, — сказал он, — и обещай мне остаться в живых и быть хорошим евреем.

Закрыв отцу глаза, Адольф попытался вспомнить слова молитвы, которой учил его дед. Но только два первых слова пришли ему в голову: «Исгадал веискадаш...» — «да возвеличится, да освятится...» Он повторял их до тех пор, пока поезд не пришел в Треблинку. Его мать и сестры молились вместе с ним.

Когда они прибыли в лагерь, их тут же разъединили, даже не дав возможности попрощаться, и Адольф погрузился в мир

мучений. У него не осталось ничего кроме памяти о той клятве, что он дал отцу. Он обдумывал возможность побега, когда Шокен прыгнул в вагон. И теперь, когда сумерки быстро спускались на бараки, он разыскивал Галевского.

Узники оставались неподвижными, как бы оцепеневшими. Не было слышно ни крика, ни стона. Все произошло слишком быстро: опустившееся тело Макса Биласа, стрекот пулемета, паника и сумасшедший бег. Затем, непонятно как, все вдруг прекратилось. Когда они вновь побежали под кнутами, они действовали как автоматы, таща мертвых вместе с теми, кто только потерял сознание, понимая, что их собственное спасение зависит от того, чтобы бежать быстрее, еще быстрее, даже если нужно тащить кого-то за одну ногу. Некоторые из потерявших сознание во время этого бега приходили в себя. Они пытались высвободиться из отчаянных тисков своих товарищей и встать на ноги. Такие начинали бежать вместе с остальными. Те, кто не сумел, были брошены живыми в ров у «госпиталя». Теперь, когда двери захлопнулись, вместо шума и бешенства наступило тяжелое молчание.

Когда пулеметы открыли огонь, в Адольфе проснулся инстинкт солдата. Он бросился на землю и пополз к углу барака. Хотя категорически запрещалось заходить туда в дневное время, двери бараков, где спали заключенные, не запирались. Добравшись до угла, он в несколько коротких прыжков достиг двери. Потом, выбрав момент, когда пулеметчики на крышах смотрели в другую сторону, он проскользнул в дверь и закрыл ее за собой. Из соображений безопасности он не стал наблюдать за тем, что происходит во дворе через узкое окно, а спрятался за дверью, готовый напасть на первого вошедшего врага, разоружить его и сражаться. Внезапное появление Шокена в вагоне было сегодня для него открытием. Он снова обрел себя, и теперь, прячась в засаде, он был уверен в себе, в своих силах. Он успокоился, когда почувствовал себя в состоянии убить первого же немца или украинца, который пересечет порог, и разоружить его до того как кто-нибудь сумеет вмешаться. Он уже спланировал свои действия: ему нужно будет прыгнуть из-за двери и свалить врага на пол. Потом он сказал себе, что если войдет только один, он сможет справиться с ним так быстро, что охрана ничего не заподозрит. Ему нужно будет только захлопнуть дверь, после того как враг войдет. Он подумал, что в таком случае сумеет нанести больше ущерба, если наденет на себя вражескую форму. Приготовившись, он ждал. Вскоре крики стали яснее и громче. Когда дверь открылась от толчка, Адольф пригнулся, готовый к прыжку. Но вместо охранника, которого он ожидал, через проем хлынула толпа заключенных. Слегка разочарованный, Адольф последовал за ними. Умереть было не так легко.

Галевский вошел через несколько секунд после основной

массы заключенных и встал у двери. Адольф узнал его и подошел.

— Меня зовут Адольф, — сказал он, встав прямо перед ним.

Галевский удивленно взглянул на него. Его глаза, как бы пробуждаясь от глубокого сна, медленно возвращались к жизни.

— Адольф? Это имя мне ничего не говорит.

Но в его внимательно смотревших на Адольфа глазах мелькнула искра воспоминания.

— Хотя ваше лицо мне знакомо.

Адольф спокойно напомнил ему о поезде, о Шокене, о побеге.

— Да, вспомнил, — сказал Галевский тоном, в котором было и облегчение и усталость, подобно тому, как умирающий, пытаясь что-то вспомнить в последний момент, вспомнив, говорит себе, что это было несущественно. — Это было очень давно.

— Несколько часов назад.

— Эти несколько часов означают всю жизнь, всю нашу жизнь. До сих пор мы были как приговоренные, ожидающие помилования. Теперь мы знаем, что в помиловании отказано.

Уныние Галевского было неожиданным для Адольфа. Еще недавно открытие организации среди заключенных вернуло его к жизни. Но оказалось, что роли переменились. Галевский выглядел настолько разбитым и поверженным, что Адольф должен был подбодрить его.

— Приговоренные? Да, мы были ими, — сказал он бесстрастно.

Он понимал, что это было его обязанностью — поделиться с Галевским той смелостью, которая жила в нем, и, возможно, когда-нибудь, если им суждено будет жить, роли опять могут поменяться: они оба смогут вдохнуть смелость в кого-то третьего, кто, взяв себя в руки, поможет четвертому и так далее до самой смерти, которая сейчас казалась единственной весомой определенностью. Потому что жизнь — это долг, а уныние — величайший из грехов.

— Разница только в том, — продолжал он, — что теперь мы точно знаем дату нашей смерти.

— И как раз поэтому нам больше не на что надеяться. Но поскольку у нас нет больше иллюзий, мы свободны в своих действиях. То, о чем говорил Адольф, было все время в мыслях у Галевского. Именно благодаря этому аргументу он в свое время нашел в себе силы жить дальше: нужно подготовить узников к тому, чтобы сделать день их смерти днем славы. Но события обогнали его. Этот день смерти пришел слишком быстро.

— Вы и я — да, — ответил он, — но не остальные. Посмотрите на них. Вам не кажется, что они больше приготовились умирать, чем восставать?

Медленно приходя в себя после пережитого ужаса, заключенные начали молиться или шепотом обмениваться последними воспоминаниями. Для некоторых близость смерти создала какое-то подобие жизни. Так иногда перед самым наступлением ночи небо вдруг бывает охвачено ярким свечением.

Адольф медленно обвел глазами барак, который был почти полностью объят темнотой.

— А вы не думаете, что они пойдут за нами, если мы восстанем, когда явятся немцы?

— Уверен, что нет, — ответил Галевский со вновь обретенной твердостью. — В них что-то сломалось и потребуется много времени, чтобы они опять пришли в себя. Они живы только благодаря заложенным в них наследственным рефлексам, но подсознательно они стыдятся того, что не умерли вместе со своими семьями. В этом страшная сила нацистского режима. Как пауки, они усыпляют свои жертвы перед тем, как убить их. Это смерть в две стадии: сначала усыпить людей, а потом убить спящих. Это только кажется сложным, а на самом деле все просто. Представьте себе, что сразу по приходе в Польшу эсэсовцы объявили бы, что намерены убить всех евреев и сразу начали бы доказывать это. Нет сомнения, что все три миллиона польских евреев сразу же восстали бы. Они бы дрались до последнего со смелостью обреченных. И тогда не то что несколько тысяч войск, а весь вермахт потребовался бы, чтобы убить нас. И еще вопрос — все ли немецкие солдаты повиновались бы приказу? А теперь посмотрите на нас. Мы, евреи, не только разрешаем убивать нас, но еще и помогаем своим убийцам в этом уничтожении. Мы соучастники, пособники смерти, перешагнули и жизнь и смерть. Мы так унижены, что можем только стыдиться, что мы живы.

— Короче, мы чудовища?

— Да, какие-то новые образцы людей, подходящие этому новому миру.

— Но чудовища, которые иногда хотят восстать, как тот сегодня?

Берлинер был мой друг. Он предполагал бежать вместе с Шокеном, с тем, кто забрался в вагон. Он не восстал, он просто сошел с ума. Конечно сумасшедший он с нашей точки зрения, в другом мире его считали бы нормальным. Когда он увидел, как привезли его родителей, он сразу же стал человеком из другого мира. А человек из другого мира не может выдержать той жизни, которой мы живем. Поэтому он стал сумасшедшим или снова стал «нормальным», если вам так больше нравится. Почему он убил Макса Биласа? Я не сомневаюсь, он не собирался. Если бы он обдумал свой поступок заранее, он убил бы Курта Франца, который куда более опасен. Или он убил наугад, или он вынашивал какой-то другой план, который мы не знаем и никогда не узнаем. Нам нужны не Берлинеры, а бойцы другого сорта: солдаты смерти как бывают солдаты веры.

— Как вы и я?

— Возможно, но нам вдвоем не взять лагерь штурмом, особенно теперь, когда упущена сама причина для чего это делать.

— Что вы имеете в виду?

— Когда по ночам я вытаскивал из петли людей, собиравшихся повеситься, я убеждал их, что они должны выжить, чтобы потом быть свидетелями. Но сам я не особенно верил этому. Когда-нибудь отроют наши могилы. И люди, которые сделают это, сумеют представить себе, каковы были наши страдания.

— Я не уверен, — сказал Адольф задумчиво. — Мои кости расскажут, что я умер, но не расскажут как. Они не скажут, что вначале меня усыпили или что я сам стал убийцей, жертвой-убийцей. Рвы расскажут, сколько миллионов евреев было убито, но это только статистика. — Он говорил с остановками. — Чего рвы не расскажут — это почему и как мы умирали. Как это могло оказаться возможным — для любой стороны: и для жертв и для убийц — как мы позволили убить себя, и как им удалось убить нас.

Галевский посмотрел на Адольфа с благодарностью. Он снова обрел свою смелость продолжать борьбу.

Ночь уже заканчивалась, а реакции Исполнителей на убийство Макса Биласа еще не было. Поскольку смерть пока откладывалась, а для евреев надежда уже давно стала символом веры, заключенные начали медленно возвращаться к жизни. Перемена была еще очень незначительной, пока какой-то голос в глубине барака не сказал: «В конце концов, они нуждаются в нас. Зачем они станут убивать нас? Им придется заменять нас другими и будет то же самое».

Это утверждение надежды было высшей точкой дискуссии, которая длилась почти всю ночь. Оно молнией промчалось через барак.

Да, эти люди еще могли надеяться. После ночи агонии, в первых проблесках рассвета, который означал возвращение дня, новую победу света над тьмой, евреи снова начали верить в чудо. Это тайна, разгадку которой можно найти только в другой, еще большей тайне, которая называется выживание еврейского народа. Разум может перечислить ряд причин этого феномена: приверженность к вере, фанатизм семьи и т.д. Но другие нации, которым случалось попасть в подобные обстоятельства, исчезли, оставив, в лучшем случае, следы на камнях. Наследники своей древней истории, евреи Треблинки снова ожили, хотя на этот раз, уже, казалось, не было места надеждам. Но, видимо в этом индивидуальном отрицании смерти, во врожденной неспособности представить ее себе, следует искать основную причину чуда выживания. Еврей, более чем кто-либо, осознает себя внутри своей национальной общности. Как еврей он может существовать только пока он принадлежит ей. Если он покидает ее, он теряет себя среди множества других людей. Хотя каждый

отдельный еврей является смертным, его воля и отрицание смерти делают бессмертной его национальную общность. А бессмертие общности в свою очередь отражается на ее членах, разделяющих между собой это бессмертие.

Поняли ли Исполнители этот сложный процесс? Вероятно, нет, что доказывается последующими событиями. Но кое-что они поняли: «избавление земли от евреев», запугивание, рабство, частичное уничтожение — всего этого недостаточно. Нужно убить их всех, стереть самый их след с лица земли. Это они и пытались сделать. Но они не ожидали, что когда евреи почувствуют на себе дыхание забвения, они решат что-то предпринять.

Окна светлели от вставшего солнца. Настрой узников поднимался. Большинство, конечно, оставалось пессимистами, но и в этом пессимизме был оптимизм. Они вспомнили, что это утро Рош Ха-Шана — еврейского Нового года. Те самые евреи, которые за день до этого, перед убийством Макса Биласа, были простыми автоматами, существовавшими на ничейной земле между жизнью и смертью, те самые евреи, считавшие себя мертвыми несколько часов назад, теперь, избежав смерти, были охвачены безумной надеждой. Они открыли для себя, что даже в Треблинке можно еще на что-то надеяться.

Ношение часов наказывалось смертью, и они были только у Галевского, поэтому он первый понял, что что-то не в порядке. Было 15 минут шестого. Украинским охранникам следовало вывести евреев из бараков уже 15 минут назад. Чтобы не испугать остальных, он наклонился к Адольфу и прошептал:

— Я думаю, что мы все-таки приближаемся к концу. Уже 15 минут как нас должны были вывести.

— Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, — прошептал в ответ Адольф.

— Хотел бы я знать, что делается во дворе, — тихо сказал Галевский.

— Если ты встанешь, чтобы выглянуть из окна, ты напугаешь других, — Адольф впервые перешел на «ты». — В конце концов, мы не знаем. Может быть, твои часы спешат или они решили дать нам поспать в это утро подольше.

— Сомневаюсь, но с этими людьми, кто знает? Послушай, теперь, конечно, не время говорить об этом, но если сейчас нас не убьют, мы должны организоваться, чтобы в следующий раз мы могли что-нибудь предпринять.

Адольф взглянул на него.

— Можешь рассчитывать на меня, — сказал он, кладя свою руку на руку Галевского.

Они некоторое время смотрели друг на друга. И вдруг воздух разрезал гудок паровоза.

ГЛАВА X

Бараки замерли. Первый эшелон уже прибыл, а их еще не вывели наружу. Все все поняли. Замершие, они смотрели друг на друга. Надежда кончилась, агония начиналась снова. Несколько минут никто не двигался. Поезд медленно прошел мимо лагеря. Молчание было таким глубоким, что можно было слышать стук буферов и громыхание вагонов на рельсовых стыках. Подобно жителям Помпеи, которых нашли замурованными в тех самых положениях, в которых их настигла смерть, узники оставались замершими в тех позах, в которых их застал гудок паровоза. Вдруг один из них ринулся к окну. Он быстро выглянул наружу и соскользнул вниз.

— Бараки окружены, — сказал он ровным голосом .

Галевский собирался встать и попытаться успокоить узников, когда поднялся шум. Остолбенение перешло в панику. Одни плакали, другие богохульствовали, третьи — молились. Молитвы были больше похожи на языческие заклинания, отчаянные призывы, которые становясь то громче, то тише, сменяли друг друга. Евреи раскачивались вперед и назад при молитве, и их головы дергались так неистово, что, казалось, должны были оторваться от своих тел. Б-га, Великого, Невидимого, одновременно и яростно проклинали и восхваляли в экстазе. Одни — чтобы сильнее оскорбить Его своими проклятиями, подыскивали самые грязные слова из лексикона уличных проституток, другие — придумывали Ему сладчайшие и наиболее возвышенные имена. Они благодарили за тяжелые испытания и просили многократно умножить их. Адольф, ошеломленный, наблюдал это зрелище.

— Вот это настоящая вера! — сказал ему Галевский, повышая голос, чтобы его можно было услышать. И его потряс этот вечный и страстный диалог с Б-гом, непрерывный ряд крайних сомнений и слепых благодарностей.

Ответа Адольфа не было слышно из-за шума, но постепенно крики утихли.

— Что они будут делать с нами? — спрашивали одни.

— Они забросают нас гранатами.

— Они собираются сжечь бараки.

— Они заберут нас в газовые камеры.

Ответы неслись со всех сторон, еще больше увеличивая панику. Скоро солнце поднялось выше, и жара стала удушающей. Запах от неопорожненных параш был зловонным, и многие, несмотря на привычку, не могли удержаться от рвоты.

Вокруг бараков неподвижно стояли украинцы и эсэсовцы с автоматами наизготовку.

Мучение длилось все утро.

В полдень один из заключенных, наблюдавший, забравшись на плечи других, крикнул: «Они идут!»

Мгновенно вновь началась паника. Узники помчались

в заднюю часть барака, где они столпились вместе, образовав неразделимую человеческую массу. Каждый пытался спрятаться за других. Те, кто стоял первыми, пытались проскользнуть между теми, кто стоял во втором ряду, а прибежавшие последними карабкались по сплетениям тел, чтобы спрятаться как можно дальше. Но те, кто были внизу и не могли дышать, старались выбраться из-под других, и раскачивали человеческую пирамиду.

Когда украинцы открыли дверь, они отпрянули назад, испуганные открывшимся зрелищем и отравляющим запахом барака. Эсэсовцы подгоняли их вперед своими кнутами.

Адольф и несколько капо стояли у двери вместе с Галевским. Украинцы, обезумевшие от кнутов, начали яростно избивать кучу тел. Кнуты свистели и дубинки с шумом впивались в тела, но масса, вместо того, чтобы разъединится, казалось, сплавлялась еще плотнее. Галевский смотрел с ужасом.

— Сделайте что-нибудь, — сказал ему Адольф ровным голосом, — или они убьют их всех.

— Так или иначе, убьют, — сказал один из капо.

— Но не так! — крикнул Адольф, быстро повернувшись к нему.

— Ты прав, — сказал Галевский. — Или ты защищаешься и умираешь как мужчина, а эта бойня бессмысленна.

Курт Франц стоял перед дверью. Галевский подошел к нему и попросил разрешения поговорить с заключенными. Франц согласился и отозвал украинцев.

— Я даю вам две минуты, чтобы заставить их выйти из этой дыры, — сказал он.

Две минуты. Этого мало, чтобы произнести яркую речь, чтобы объяснить узникам, что если их решили убить, то они ничего не могут сделать — немцам стоит только обстрелять бараки из пулеметов; и что поэтому самое лучшее — взять себя в руки, чтобы умереть достойно. Галевский даже сомневался, способны ли еще евреи рассуждать, настолько они были охвачены ужасом, находились в состоянии транса. Но выйдя на середину барака, он принял решение.

— Братья мои, — сказал он, — я понимаю ваш страх. Но комендант лагеря сейчас заверил меня, что вы останетесь в живых, что вам не причинят вреда. Я верю ему, потому что он ничего не выигрывает от того, что говорит мне это. Но он также сказал, что если вы все не выйдете наружу через одну минуту, он отдаст приказ поджечь бараки.

Пирамида разрушилась, превратившись в человеческий поток, который устремился к двери.

Снаружи заключенных разделили на три колонны и повели к платформе, куда прибывали поезда. Левую колонну повели сразу к «госпиталю», не дав возможности малейшего сопротивления, без крика, без ропота. Когда послышалась стрельба, остальные

заключенные поняли, что пока они спасены. Они смотрели друг на друга, удивленные тем, что опять уцелели. Когда они построились на платформе, Курт Франц послал за Галевским.

— Среди вас есть преступники, а вы мне об этом не сообщили. — Он ударил его изо всех сил. — Это последний раз, когда я бью вас. В следующий раз, когда я буду вами недоволен, вас казнят.

Затем комендант лагеря, маленький толстый эсэсовский офицер, обратился к евреям с абсурдной речью, которую он вежливо попросил Галевского перевести на идиш. Он начал с того, что золото и одежда, которую они собирали, должны послужить для создания еврейских «резерваций». Должно быть создано шесть общин, одной из них будет Треблинка. Затем он объявил, что они переедут в новые бараки, где будут спать на деревянных нарах и получат по два одеяла. Он пообещал больше воды для умывания и закончил угрозой. Любопытно, что именно угроза успокоила евреев больше всего. Обещания были слишком чудесными, чтобы в них поверить, но когда офицер закончил: «Те, кто не работает, будут уничтожены», они поняли, что не из-за человечности с ними обходятся таким образом, а от нужды. Угроза смерти, как противовес, придавала ценность обещаниям.

Заключенные начали медленно приходить в себя от удивления, когда заговорил Курт Франц. Именно в этот момент он получил прозвище, которое следовало за ним на протяжении всей его карьеры: «Лялька»[1]. Высокий, белокурый, очень изящный, сильный, с круглым ангельским лицом, придававшим ему вид, который одновременно очаровывал и настораживал. Когда он встал перед ними — руки скрещены на груди, ноги слегка расставлены, грудь немного вперед — все заключенные нашли его очень привлекательным.

— У него лицо куклы, — прошептал кто-то. Кличка прочно прилепилась к нему.

Его речь, которая звучала как обращение генерала к своим солдатам, была достойна увековечивания. Только его пронзительный голос звучал диссонансом.

— Я обещаю, — начал он с драматической паузой. — Я обещаю каждому из вас лично, что впредь ни один работник не будет страдать от обид.

Он подчеркнул слово «работник» к удивлению узников. Они не поняли этого внезапного превращения из евреев в работников. Только позднее они осознали, что мир смерти должен был стать еще и миром лжи, в котором газовые камеры назывались фабриками, тела — фигурами, заключенные — работниками и т. д.

— Я обещаю, — продолжал Франц еще более убедительно, — что каждый из вас уйдет из лагеря в таком же состоянии, в котором он прибыл. Я даю вам торжественную клятву чести офицера СС.

[1] *Lalka* — кукла (польск.)

Лялька любил говорить. В этот день он получал удовольствие, высокопарно объясняя, что означает для эсэсовца честное слово и какую оно имеет ценность. Послушать его, так Треблинка должна стать земным раем. Он обещал организовать игры и спортивные соревнования, обеспечить полноценное питание и даже построить больницу для немощных. Что он просил за это? Дисциплину и эффективность.

Пока Лялька говорил, Галевский пытался догадаться, что произошло ночью среди Исполнителей. Он чувствовал, что Франц взял на себя роль главного обманщика. Эта манера обращения к заключенным была результатом детально разработанного плана. Он смотрел на Франца, заинтригованный тем, что на месте петлиц унтер-офицера, которые он носил накануне, на его безукоризненной черной форме были серебряные погоны и знаки различия унтерштурмфюрера СС. Много позднее, за взятку, Галевскому удалось узнать подробности.

Понимая, что он идет на риск быть обвиненным в нарушении дисциплины, комендант лагеря хотел замять случай с Биласом. Когда он созвал свой штаб, он предложил убить всех узников и заменить их теми, кто прибудет на следующий день. Именно в этом пункте он вступил в конфликт с Куртом Францем. Франц был только унтер-офицером, но он был членом секретной полиции, и комендант лагеря, несмотря на всю их взаимную антипатию ничего не мог сделать без его одобрения. Франц, честолюбивый молодой офицер, готов был сделать свою карьеру любым путем. По его мнению, проступок Берлинера лишний раз демонстрировал абсурдность политики нынешней администрации по отношению к евреям. Поэтому сейчас важно было не убить всех евреев, а изменить систему. Он предложил сделать это сам, но потребовал полной свободы действий.

— Короче, полное управление лагерем? — спросил комендант.

Не отвечая прямо, Франц продолжал:

— Пожалуйста, я готов на уступки, хотя мне это дорого стоит, поскольку все, что здесь пока сделано — это моя работа. Если вы согласны, я оставляю вам евреев.

Комендант уже готов был отказаться, когда зазвонил телефон. Офицер, который сопровождал Биласа в госпиталь в Люблин, сообщил, что он умер сразу по приезде. Городские власти уже уведомлены, так что появлялась опасность расследования. Теперь комендант был готов согласиться на все, что угодно, но Франц, который следил за телефонным разговором, увидел в неожиданном повороте событий возможность раз и навсегда избавиться от своего начальника и в то же время избавить себя от ответственности за то, что произошло.

Через несколько минут другой телефонный звонок вызвал их всех в Люблин, где по требованию Франца их допрашивали отдельно. Коменданта слушали первым.

Поскольку он не знал, что задумал его подчиненный, и боялся, что тот продаст его, комендант решил рассказать о событиях так, как они случились на самом деле. Но он был только заблудшим священником, в нем было больше садизма, чем ума. Для него преступление было только искушением судьбы. Он не совершал зла, он только с удовольствием подчинялся ему. Исполнители поняли, что его назначение было ошибкой.

С другой стороны, Курт Франц был одним из них, настоящим Исполнителем. Он знал, как разговаривать с ними. Картина лагеря, которую он нарисовал, не была благоприятной для его бывших начальников — коменданта и его помощника Макса Биласа.

Садист и педераст, — сказал он о покойном.

Последняя деталь особенно заинтересовала ведущих Исполнителей. Франц удовлетворил их любопытство. Он не упустил никаких подробностей. Его отчет был восхитительным.

Красивый Макс Билас имел гарем маленьких еврейских мальчиков. Он любил молодых, не старше 17 лет. Как пародия на пастухов Аркадии, мальчики должны были пасти лагерное стадо гусей. Они были одеты как принцы, у каждого из них было несколько комплектов одежды, но они должны были все одеваться одинаково, чтобы быть как бы в униформе. Билас велел построить для них маленький барак, который выглядел как кукольный домик. Он стоял в небольшом сосновом лесу у западной границы лагеря. Вокруг домика был миниатюрный парк, а вокруг этого парка — колючая проволока. Дом сделали из грубо отесанных бревен, что придавало ему невероятно сельский вид. Над дверью был маленький навес, пестрые занавески украшали окна. Кроме маленькой передней, интерьер домика состоял из одной большой спальни. От центрального прохода по обе стороны стояли два ряда одинаковых кроватей, разделенных маленькими прикроватными столиками с подсвечниками. Каждый вечер мальчики должны были стоять по стойке смирно у своих кроватей, когда Билас приходил пожелать им спокойной ночи. В течение дня они гуляли в парке. Иногда Билас брал их на прогулку в соседний лес, но обычно держал их внутри лагеря. Каждый день он проводил несколько часов в их обществе, наблюдая за ними около грубо сколоченного стола, который ставили перед домом, если разрешала погода, и развлекал их разными играми или рассказывал им сказки о дремучих лесах, очаровательных принцессах и кровожадных драконах. Мальчики были очень счастливы. Они называли его Максом и, казалось, очень любили. Когда бы он ни приходил повидаться с ними, они бежали встречать его с криками радости.

Макс объяснял им, что их родители уехали работать на Украину. Иногда он не навещал их по нескольку дней и когда приходил, говорил что ездил на Украину, где видел их родителей.

— Они спрашивали меня, хорошо ли вы себя ведете, усердно ли работаете и скучаете ли по ним. Вы не должны забывать своих родителей, мои маленькие, ваших родителей, которые работают для Рейха.

Сам того не замечая, увлеченный своим рассказом, Курт Франц восхищенно добавил:

— И ни разу дети ничего не заподозрили.

Потом Франц продолжил рассказ о коменданте. Он описал его как садиста, умственно неспособного к управлению таким предприятием как Треблинка. «Для него, — объяснял он, — уничтожение евреев является злом, и именно это зло и привлекает его. Он не понял ничего из величия нашей работы по очищению. Он не то, чтобы плохой нацист, он просто противоположность нацисту. Как Билас искал в Треблинке только удовлетворения своих гомосексуальных инстинктов, так и комендант хотел только утолить свою страсть к садизму. Поэтому предприятие содержалось в таком беспорядке».

Затем Курт Франц углубился в критику системы, отдавая предпочтение, конечно, только позитивным достижениям, в оценке которых он был достаточно справедлив. В тестах по определению способностей заключенных он не нашел ничего для критики, но здесь его начальство следовало только букве предписания. Их ошибкой, по его мнению, было то, что они не смягчили жестокости во время первой большой реорганизации.

Мы имели в своем распоряжении прекрасный материал недочеловеков. Этот успех, который был интересен с теологической точки зрения, представлял в то же время и практические неудобства, так как масса оставалась на самом деле неиспользованной. Поэтому мы решили организовать и специализировать ее, и я назначил капо. Это был тонкий маневр. Действительно, мы намеревались восстановить более нормальные жизненные условия среди индивидуумов, полностью лишенных надежды. Я предполагал, что мы используем нашу старую политику, которая всегда заключается в оставлении маленькой доли надежды, за которую жертвы могут ухватиться. Я объяснял, что надежда для евреев то же, что топливо для мотора, что можно морить их голодом, пока у них остается хоть какая-то надежда. Но никто не хотел меня слушать.

— Вот тогда начались самоубийства. Я снова начал настаивать. Я видел в самоубийствах подтверждение моих теорий и серьезное проявление недостатка дисциплины. Напрасно я объяснял, что давая евреям свободу умирать, мы разрешаем им ускользнуть от нас, предоставляем им некоторую степень независимости. Мне говорили, что поскольку в любом случае все евреи должны умереть, самоубийства означают только меньше работы для нас.

— Наконец, самоубийства прекратились, не знаю, правда, почему, но именно тогда начались попытки побегов. С ними

невозможно было бороться эффективно, поскольку узников надо было идентифицировать. Я хотел дать им номера.

— Номер? — возразили мне снова. — А почему не имена, отдельные комнаты и право на забастовку? И мы будем обращаться к ним «господин» и еще организуем выборы.

— Так что, как видите можно быть хорошим антисемитом и плохим Исполнителем, — закончил Курт Франц.

Начальство спросило, что, по его мнению, следовало бы сделать. Он вкратце объяснил, и за это был произведен в унтерштурмфюреры, получив полную свободу действий в Треблинке.

Макс Билас был похоронен с воинскими почестями, а коменданта перевели в эсэсовскую часть на Восточный фронт.

Вернувшись в лагерь, перед тем как прилечь на несколько часов, Курт Франц пришил свои погоны и велел убить маленьких мальчиков Макса Биласа. Эсэсовец, которому поручили выполнить эту задачу, вернулся домой больным. Его звали Менда. До этого дня он был образцовым палачом.

До прихода Гитлера к власти Курт Франц был официантом в маленьком городке Баварии. Он открыл свое призвание в самые первые дни нацистского режима. Это было одно из редких столкновений между личностью и ее судьбой. Из официанта во второразрядном кафе Лялька должен был стать Исполнителем очень высокого ранга. До этого все в нем было заурядным. В школе недостаток способностей, усиленный определенной естественной индифферентностью, держал его постоянно на последнем месте по успеваемости. Никчемному, ничем не примечательному. маленькому Курту очень не хватало смелости, и он слишком боялся инспектора, чтобы сбежать с уроков на берег городской речки. Позже его любовные похождения тоже заканчивались неудачами по причине той же нерешительности, несмотря на его приятную внешность. После нескольких безуспешных попыток приобрести профессию, он стал официантом.

И тогда в нем стало просыпаться честолюбие. Он стал заниматься боксом, но проиграл больше боев, чем выиграл, и получил больше синяков, чем поставил сам. Хотя он был удручен своими поражениями, определенная гордость уже в нем уже была. Он стал утверждать, что все бои были подтасованы и оставил этот престижный вид спорта. Тем временем владелец одного из главных кафе города обратил внимание не его внешность и взял его на работу. Для молодого Франца это было продвижением. Он сознавал это и гордился собой. Каждый вечер в кафе приходил играть оркестр. Франц, у которого был хороший слух, мечтал стать музыкантом и решил потратить свои сбережения на это новое увлечение. Он занимался с руководителем оркестра и проводил вечера, пытаясь выжать несколько связных звуков из старой потертой виолончели. Бедный руководитель оркестра продолжал

с ним заниматься не из-за вознаграждения, а скорее благодаря упорству и настойчивости своего ученика. Однако он с самого начала понял, что Франц никогда не будет способен занять место в городском хоровом обществе. К вящему несчастью нескольких сотен тысяч своих единоверцев руководитель оркестра был евреем.

Поджог рейхстага застал Франца на краю отчаяния, к которому его привело внезапное осознание того, что в музыке, как и во всем остальном, он потерпел крах. Он почти смирился с чувством собственной ничтожности, когда посетил первый нацистский митинг. Вот тут он, наконец, вышел на свою дорогу.

Когда он вернулся в то утро из Люблина, в голове унтерштурмрфюрера СС Курта Франца роились идеи. Наконец-то его заслуги оценили. Он собирался показать своим начальникам, как правы они были, оказав ему свое доверие. Первой задачей было снова взять евреев в руки, начать тренировать их заново, «с нуля». Затем он был намерен реорганизовать работу так, чтобы добиться максимального выхода продукции, и только тогда придут выдающиеся достижения. Треблинка станет не только лагерем уничтожения, а законченным миром, со своей собственной жизнью, играми, развлечениями, спортом, вечерами и свадьбами.

ГЛАВА XI

Перевод заключенных на новые квартиры ожидался уже довольно давно. Макс Билас был убит как раз перед тем, как он собирался объявить новость о перемене места жительства.

Новые бараки, созданные как продолжение корпуса хоф-юден, образовали П-образный блок. Решение о перемещении евреев было одной из серьезных мер для предотвращения побегов. Новое помещение было огорожено забором с колючей проволокой, вдоль которого проходила дорожка для охраны. Большое открытое пространство справа от бараков должно было стать новой аппель-плац. Вместо прежней простой полевой кухни в конце бараков для хоф-юден была смонтирована стационарная. В перегородке было сделано окошечко, через которое заключенные, подходя по одному, три раза в день получали свою еду. На другой стороне аппель-плаца посадили деревья, а напротив кухни вырыли колодец. Территория, образованная бараком и двором, которую евреи оставляли, только уходя на работу, и куда они возвращались сразу после ее окончания, называлась Гетто.

Все было готово для приема заключенных. Они были приведены в Гетто немедленно после речи Ляльки.

Войдя в новые бараки, заключенные поняли, что они одержали свою первую победу. Их охватило новое чувство. Это было не радостью и даже не облегчением, а смутным чувством,

рожденным надеждой, что когда-нибудь можно будет попытаться что-то сделать. Они перестали быть просто пешками в руках немцев. Еврей убил немца, а они вместо того чтобы убить всех евреев, произносили речи, пытались воскресить их надежды. Все это могло быть ложью, но самый факт, что их удостаивали этой лжи, воспринимался ими как знак надежды. Что-то изменилось в отношениях евреев с убийцами. Неожиданно игра стала более сложной. Убийцы сохранили право убивать, но они почувствовали необходимость давать объяснения. Смерть перестала быть для евреев беспричинным феноменом, управляемым слепой силой, она стала частью логической системы: «Работай — и твоя жизнь будет сохранена». Естественно, заключенные заподозрили, что это обещание было только приманкой и что, в конечном счете, когда Треблинка не будет больше нуждаться в них, их тоже убьют. Но еще они поняли, что на некоторое время между ними заключено соглашение, и оно будет действовать в течение времени, пока уничтожается еврейский народ.

Таковы были границы новой надежды на жизнь для евреев Треблинки. Они знали это и были настроены, пока еще бессознательно, на то, чтобы воспользоваться этим.

Приступив к самостоятельному управлению лагерем (старшего по званию офицера, который будет официальным комендантом лагеря, но фактически ограничится только административной работой, назначат позже), Лялька понял, что задача будет трудной. Масса заключенных представляла собой результат естественного отбора. Те, кто были слабы физически или психологически, не выдерживали трудных испытаний. Оставались только «сильные». Это соответствовало логике системы. Курт Франц мог, конечно, убить любого и начать снова с нуля, но прежняя ситуация могла быстро вернуться, а «выпуск» продукции тем временем пострадал бы. Он решил, что игра не стоит свеч и что наиболее выгодно создать условия угнетения, рассчитанные на то, чтобы держать узников в состоянии абсолютного рабства. Так родилась «система Ляльки». Она состояла из определенного числа мер угнетения, каждая из которых была достаточна, чтобы довести человека нормального темперамента до отчаяния.

Прежде всего, это была техника дамоклова меча или «стрельбы по тарелочкам». Эта техника, которая была всего лишь новым вариантом техники «фонаря под глазом», имела перед ней достаточно преимуществ. В течение рабочих часов Лялька, который был прекрасным стрелком, забирался на одну из куч одежды (они легко достигали высоты двух или трехэтажного дома). Узникам, которые работали внизу, не разрешалось смотреть наверх, за чем следили несколько украинцев. Лялькин пистолет висел над головами работающих, как дамоклов меч. Каждого, кто хоть на мгновение прекратил работу и был застигнут его взглядом, Лялька немедленно убивал. Конечно, система

была далека от совершенства, так как Лялька не мог держать в поле зрения шестьсот работающих в различных сортировочных командах. Ее влияние было больше психологического плана, чем реального, но она достигала успеха в придании авторитета власти и в то же время щадила старательно работающих. Узник мог всегда пойти на риск прекратить работу и краем глаза следить за Лялькой и украинцами, но результат мог стоить ему куда больше, чем тому, кто продолжал работать. Поэтому заключенные сознательно предпочитали работать. Пока они работали, опустив глаза, они чувствовали висящую над ними постоянную угрозу, и ее невидимость рождала в их сознании преувеличенные размеры опасности. Так невероятно малыми средствами — один пистолет и несколько украинцев — Лялька преуспел в создании психоза, страха, который был особенно силен из-за того, что он не был объективно оценен. Этот иррациональный страх мог привести только к мистификации силы Ляльки, мистификации, которая длилась до самого конца.

Потом Лялька завел собаку Барри, которую он воспитал в том же духе. Когда он не вскарабкивался на кучу одежды, он обычно, молча, гулял среди работающих. Как только он видел кого-то, кому, по его мнению, не хватало рвения в работе, он спускал на него Барри с командой: «Погляди-ка, человек, эта собака не работает», и собака, которую приучили вцепляться в интимные места, бросалась на еврея, пока Лялька все же не вызволял несчастного. Это была грубая идея — назвать собаку «человеком», а еврея — «собакой», но посредством ежедневных повторений евреи почти приняли ее, по крайней мере, в том особенном мире, которым становилась Треблинка. Каждое общество имеет свою шкалу социальных ценностей: в Треблинке собаки имели превосходство над евреями.

Для того, чтобы держать евреев в состоянии рабства, Лялька начал с принципа, гласящего, что необходимо внушать евреям денно и нощно, что они являются низшими существами, и заставить их столько раз это повторять, пока они сами в это не поверят. Его присутствие на куче тряпок было придумано именно для этого, как и функция Барри. Но эти два средства не требовали собственного признания заключенных в собственной ничтожности. Он изобрел третий, который должен был заполнить этот пробел. Он написал песню на военный мотив, которая стала гимном Треблинки. Евреи должны были петь эту песню 12 раз в день: когда они шли на работу и когда они возвращались, во время переклички, когда они переходили с одного места на другое. Это происходило автоматически, и их воля прекратила сопротивляться повторению отвратительных слов:

Вот идут колонны рабочих,
На лицах скорби печать.

Здесь каждый работать хочет,
Чтоб верность свою доказать.

Припев:
Вот поэтому мы в Треблинке,
Нас послала судьба сюда.
Вот поэтому мы в Треблинке,
Мы к смерти готовы всегда.

Когда голос гремит господина,
Когда взгляд его жжет огнем,
Поскорее в колонны сдвинемся
И послушно команды ждем.

Нашей жизни — труд оправданье,
Наш удел — быть покорным всегда.
Уходить нет у нас желанья,
Пока знак не подаст судьба.

Когда заключенные впервые услышали ее, они не смогли сдержать невольных улыбок из-за бессмысленности слов. Но скоро они выучили их с помощью кнута и перестали улыбаться.

После дневной работы они должны были повторять эту песню неустанно по нескольку часов, стоя по команде «смирно» на новом аппель-плаце, слово за словом, строчку за строчкой, куплет за куплетом, они бубнили ее до тех пор, пока не переставали понимать значение слов. Любая попытка сопротивления была невозможной, бессмысленной. Украинцы рыскали по рядам, подобно овчаркам, выискивая тех, кто только притворялся, что поет. Когда евреи выучили слова и мелодию гимна, они научились петь ее на марше: руки напряжены, ноги прямые, шея вытянута, час за часом, через отвращение, вопреки воле. Они маршировали до тех пор, пока не чувствовали себя полностью покоренными отупляющим ритмом мерных шагов, пока слова не вылетали из их ртов непрерывным потоком, пока они сами не начинали верить тому, что выкрикивали.

Нельзя придумывать искренность, нельзя искусственно создавать доверие. Но Лялька предупредил их: «Вы перестанете маршировать только тогда, когда я почувствую, что слова, которые вы поете, идут не из ваших ртов, а из ваших сердец, из глубины вашей души». И они начинали маршировать снова. Было пять часов вечера. Наступление было постепенным. Вначале охрана провела час, заставляя их вытягивать руки, выпрямлять шеи, высоко держать головы. Пение было чистой какофонией, но никто, казалось, этого не замечал. Узники концентрировали все усилия на своей позе и забывали гимн. Упорная маршировка с требованием слиться в одно целое уничтожала индивидуальную

волю. Это погружало людей в эйфорию боли, в такое состояние, которое заставляло их терять свою индивидуальность, снижало их волю к сопротивлению. И когда Лялька чувствовал, что они достигли этого состояния, он брался за их пение. К одиннадцати вечера, когда они в полном одурении возвращались в бараки, они продолжали бормотать гимн, сами того не осознавая. На следующий день все повторялось. Обучение таким способом длилось две недели.

Если и было что-то постоянное в методах Исполнителей на различных уровнях операции по Окончательному Решению, так это была их дотошность. С упорством, которое было бы смешным при любых других обстоятельствах, Исполнитель возвращал на рабочий стол свою работу двести раз, полировал ее снова и снова с добросовестностью тибетского монаха. Ничто не обескураживало его, так же как ничто его не удовлетворяло. Ведомый неистощимой энергией, его ум постоянно находился в поисках дальнейших улучшений, он продолжал, не теряя уверенности, лишенный всяких сомнений, невосприимчивый к скуке или усталости.

Лялька мог бы быть удовлетворен своим набором средств, которые образовали весьма солидный комплекс. Но думать так означало бы недооценивать его профессиональную совесть. В первые дни Треблинки он мечтал о создании системы, которая управлялась бы сама собой, «даже без того, чтобы нажимать кнопку, когда мы встаем утром», — говорил он. Первая попытка закончилась неудачей. Прометей уничтожения, он был снова в поисках своей идиллической цели: лагерь, в котором все или почти все управляется само собой.

Первые меры касались психологической обработки узников. Они были изобретены, чтобы превратить их в бессловесных рабов, без тени сохранения ума, рабов, готовых отдать все свои силы той работе, которая от них требовалась. В этом смысле его меры представляли значительный прогресс по сравнению с беспорядочными методами предыдущей администрации. Но с другой стороны, поскольку они сохраняли жизнь, они больше не гарантировали уничтожения элементов, которые не подходили физически или психически. В первые дни Треблинки рабочая сила обновлялась в целом в течение одной недели, а это означало, что примерно одна седьмая часть рабочей силы уничтожалась тем или иным способом каждый день. Такой быстрый оборот обеспечивал лагерю постоянную текучесть рабочей силы, вливание новой крови. Новая система не гарантировала больше этой текучести, и по этой причине появился риск, что лагерь будет перегружен непродуктивными элементами.

Чтобы бороться с опасностью такого отравления, Лялька выдвинул «правило четверти». Применительно ко всем узникам в целом или к отдельным группам, оно было предназначено для

снижения общего числа заключенных примерно на одну четверть. Его принцип был прост: взять одну группу заключенных или всех вместе и заставить их делать определенное число упражнений до тех пор, пока одна четверть испытуемых не будет уничтожена. Эта процедура, которая с первого взгляда была очень похожа на второе испытание способностей, тем не менее, радикально отличалась от него: суть была в том, чтобы не просто продержаться определенный промежуток времени, а продержаться дольше, чем одна четверть твоих товарищей. Двойное преимущество, которое оно давало, было заметно сразу же: во-первых, оно давало возможность точно определить процент уцелевших, а во-вторых, восстанавливало людей друг против друга, так как выживание одних зависело от смерти других.

Правило четверти редко применялось ко всем заключенным разом, так как упражнения, которым они подвергались, истощали их невероятно и соответственно снижали эффективность их работы. Но к ограниченным группам оно применялось почти каждый вечер. Эти группы составлялись или полностью из команды, чья работа не признавалась удовлетворительной, или из отдельных узников, набираемых во время переклички или в течение дня. Когда перекличка бывала закончена, всех заключенных выстраивали вокруг того пространства, где должны были происходить упражнения. Хотя такие упражнения и запрещены, обычно они применяются во всех армиях мира. Они заключаются в том, что людей заставляют бежать, а затем последовательно лечь, встать на четвереньки, ползти, лечь на спину, на живот, подняться, сесть, снова бежать и т.д. Очень изнурительные, они предназначены для того, чтобы сломить упорных индивидуумов. Но использование этих упражнений в боевой подготовке нельзя было сравнивать с тем, ради чего они делались в Треблинке — те, кто от усталости больше не мог их выполнять, немедленно направлялись в «госпиталь».

Хотя евреи Треблинки достигли той крайней точки, когда смерть теряет большую часть своей эмоциональной силы, они называли эти упражнения «гонкой за смертью».

В начале упражнения, в последнем акте солидарности, приговоренные пытались стоять плотной группой, но вскоре начинали работать кнуты, опускаясь на последних членов группы. Тогда они старались двигаться быстрее, чтобы раствориться в массе, но и предпоследние тоже начинали увеличивать скорость, чтобы не оказаться последними, и мало-помалу паника охватывала всю группу, которая с этого момента распадалась. Тогда начиналась драма, длившаяся столько, сколько у слабейших оставалось воли к жизни. Одной из наиболее трагических «гонок за смертью» была та, в которой умер профессор Меринг. Когда он попал в Треблинку, одному из его бывших студентов удалось спасти его и вместе с несколькими друзьями позаботиться о нем.

Но профессор был пожилым человеком, а в Треблинке для них не было места.

Меринг был одной из выдающихся фигур Лодзинского гетто. Друзья-христиане предлагали ему убежище в своих домах, но он отказался. Он как раз тогда узнал, что эшелоны евреев, уезжающих из Лодзи, направлялись не для освоения необработанных земель на Восток, а в Треблинку, и что Треблинка означает смерть. Каждый день он видел, как уезжают евреи, не проявляя ни малейшей попытки к сопротивлению. Они должны узнать правду, они должны организоваться, они должны сопротивляться. Его депортировали еще до того, как он сумел убедить хотя бы одного еврея. В древнем Риме отрубали головы гонцам, принесшим дурные вести. В Лодзи, в Вильнюсе, также как в Белостоке и в Варшаве их просто отказывались слушать.

Профессор Меринг понял, что еврейский народ переживает один из своих величайших кризисов. Вечерами в бараке он собирал вокруг себя нескольких узников, чтобы объяснить им свою точку зрения на мир и убеждал их всеми силами остаться в живых. «То, что люди, с которыми наши отношения были наиболее дружественными, хотят уничтожить нас, — говорил он, — означает что-то такое, что мы должны попытаться понять. Это тайна, которая осветит всю историю наших мучений. Я бы еще понял такое стремление к нашему уничтожению со стороны поляков или русских, но немцы...» В этом месте его голос обычно сникал. Вопросы возникали один за другим. В этом мире смерти он не испытывал ни горечи, ни страха, ни жажды мести, только одно желание понять.

Несмотря на предосторожности со стороны его друзей, однажды на перекличке его вытащили из рядов. Когда группа начала растягиваться вереницей и неодолимая жажда к жизни охватила и его, он побежал как сумасшедший. Лялька заметил его и после того как четверть уже упала, он продлил упражнение, чтобы посмотреть, сколько может продержаться пожилой человек, который бежал на несколько метров позади остальных.

— Если ты догонишь их, спасешь себе жизнь, — крикнул он.

И он отдал приказание подстегнуть кнутом группу оставшихся в живых. Они заколебались и побежали медленнее, чтобы помочь профессору, но удары удвоились, заставляя их отворачиваться. Кнуты разрывали одежду, покрывали их лица кровью. Ослепленные, пьяные от боли, они снова побежали быстрее. Когда профессор, получивший небольшую фору, увидел, как они снова удаляются, он вскинул руки, как бы пытаясь догнать их или как бы в мольбе. Он споткнулся раз, потом еще раз, его измученное тело, казалось, разламывалось. Он попытался еще раз выровнять равновесие, потом вдруг напрягся и рухнул в пыль. Когда немцы подошли к нему, они увидели тоненькую струйку крови, вытекавшую из его рта. Профессор Меринг был мертв.

А у бедного Ляльки не было конца неприятностям. Когда он узнал о новой истории, он засомневался, будет ли у него когда-нибудь покой с этими евреями. Свое открытие он сделал в два этапа, из которых первый была чистой случайностью. Евреи уже два месяца находились в гетто, когда однажды утром он случайно зашел в барак, который они занимали до этого. Поскольку Лялька считал всех евреев носителями заразных микробов, он никогда не переступал порог этих барков. Но сейчас, когда на Треблинку опустилась суровая континентальная зима, Лялька подумал, что холод, наверное, убил всех микробов. Он проходил мимо двери еще безо всяких намерений, когда вдруг ему в голову пришла мысль. Он поколебался и затем решил войти и посмотреть, как тут живут евреи. Когда он подошел ближе, то услышал шепот и приглушенный шум копания. Сначала он подумал о подкопе — навязчивая идея тюремщика. Он беззвучно подкрался к двери. Одно было непонятно — как заключенные могли войти в барак незамеченными. Лялька уже вообразил целую сеть помощников среди украинских охранников. Он выхватил свой пистолет, быстро распахнул дверь. Двое бывших в бараке охранников остолбенели, когда они увидели, кто вошел. Лялька был удивлен не меньше их, и некоторое время они, молча, смотрели друг на друга. Каждый из украинцев держал в руках инструмент, похожий на мотыгу. Земля вокруг них была перекопана как вспаханная. Лялька не понимал, что это значит, но страх, который он прочел на их лицах, сказал ему, что он поймал их на чем-то с поличным.

Обретя дар речи раньше охранников, он крикнул:

— Что вы тут делаете? — Объятый страхом и неспособный вымолвить слово, один из украинцев медленно раскрыл левую руку и вытянул ее вперед. В полутьме барака засветился желтый блеск золота, и сверкнули несколько бриллиантов.

— Боже мой! — пробормотал Лялька, медленно осознавая, что это значит. — Свиньи! Золото Рейха!

Он не на шутку взволновался, обнаружив, что в самом сердце Треблинки евреи оказались способными еще раз украсть германское золото. Мысль о том, что это золото принадлежит им, никогда не приходила ему в голову не только потому, что они были мертвыми (а те, кто еще жив, тоже будут мертвыми), но и потому, что в любом случае еврейское золото могло быть только украденным. По крайней мере, он был в этом глубоко убежден.

Вначале он хотел убить обоих украинцев, но потом решил узнать, как давно они приходят сюда и выкапывают золото, которое спрятали евреи.

— Два месяца, — ответили они, дрожа.

— С тех пор, как перевели евреев?

— С того самого дня, — пробормотал один.

Такая искренность обезоружила Ляльку и он убрал свой пистолет. Украинцы пришли в себя и показали ему, что весь грязный пол барака был полон золота, валюты, драгоценностей.

Результаты обыска, который он тут же произвел, были впечатляющими: девяносто фунтов золота и драгоценных камней и несколько тысяч долларов. На этом можно было бы остановиться, но вдруг ему пришла в голову мысль обыскать заключенных. Работа только что возобновилась после дневного перерыва. В это утро прибыл только один эшелон. От него ничего не осталось кроме кучи тел, которые заключенные Лагеря Номер Два перетаскивали к большим канавам. Лагерь Номер Один снова приобрел невинный вид рынка подержанных вещей. Люди из красной и голубой команд, после исполнения своих обязанностей по встрече эшелонов и раздеванию прибывших, включились в сортировочные команды. Огромная сортировочная площадь выглядела как копошащийся рынок с его огромными грудами одежды и различных вещей и маленькими кучками, которые образовались от эшелона, прибывшего в это утро. Эти новые кучи были, казалось, во власти армии муравьев, которые растаскивали их по частям. Каждая команда пришла за теми предметами, за которые она была ответственна, чтобы перенести их в другое место, где они должны были быть «распределены по сортам». После этого их уже окончательно упаковывали в огромные кипы. Эсэсовцы, украинцы и капо царили на этом базаре, каждый пытаясь украсть так, чтобы не увидели другие — кто золото, кто одежду, кто еду. Это был обычный день, которые бывают семь раз в неделю и тридцать раз в месяц. Легкий туман, который бледное зимнее солнце не могло разогнать, смягчал отдаленные контуры бараков и газовых камер. Все окрестности были тихи и спокойны, как если бы мир Треблинки был отделен от другого мира непроходимой землей, сотканной из звука и света. И здесь, на этой площади, в центре этой холодной туманности, утомленно двигалось особе племя людей, жившее только для того, чтобы служить тем двум кирпичным зданиям, которые на их жаргоне назывались «фабриками».

Свистки украинской охраны разорвали заунывную тишину. Заключенные замерли как соляные столбы. Тревога медленно прогоняла сладкое оцепенение. Для них любое событие, разбивавшее монотонный уклад работы, могло означать только что-то плохое. Их «счастье» зависело от того, чтобы ничего не происходило. Им стали ненавистны даже крики умирающих. Зачем кричать? Зачем сопротивляться? Ведь это только преумножит страдания.

— Становись! Становись!

Приказ, как эхо, постепенно повторялся всеми охранниками и капо.

Масса начала медленно двигаться. Кнуты захлопали, движения убыстрились, крики усилились, еще больше ускоряя

поток бесформенной массы.

Когда тысяча узников выстроилась в пять рядов, появился Лялька. Он не улыбался, но это еще не обязательно был хороший признак. Ни говоря ни слова, он подошел к первому человеку в первом ряду и потребовал вывернуть карманы. К счастью у него не оказалось золота, и Лялька начал медленно прогуливаться вдоль рядов, разглядывая узников. И хотя не было произнесено ни слова, весть об обыске распространилась по рядам. Не было найдено золота ни у второго человека, ни у третьего, ни у четвертого. На десятом Лялька засомневался — сначала в своих подозрениях, а затем в эффективности обыска. Он уже собирался распустить строй, когда ему пришла мысль заставить их сделать несколько шагов назад.

Пять шагов назад, марш! — скомандовал он, и масса рывками двинулась назад. Место, которое было занято заключенными минуту назад, выглядело как школьный стадион после пикника, но жирные бумажки были банкнотами, желтые блестки были не лютики, а радужно сверкающие капли не росой.

В этот вечер впервые правило четверти было применено ко всем заключенным. Лялька решил таким наказанием только отметить событие. Это не решало проблемы побегов, которую вскрыл этот инцидент.

В угрозе побега Курта Франца беспокоила не та мысль, что евреи ускользали от своей судьбы, поскольку он знал, что когда-нибудь их снова поймают. После наказания он говорил узникам добродушно и рассудительно:

— Зачем убегать? Зачем рисковать? Зачем причинять столько хлопот, когда в любом случае придет день, когда вас снова поймают? Неважно куда вы убежали, неважно, как далеко вы убежали, вы всегда будете опять в Треблинке, потому что вся земля будет очищена от евреев. Для вас, евреев, Треблинка — это дно огромной воронки, края которой — это края земли. Вы находитесь у самого дна, потому что вы прибыли первыми. Но другие уже летят к вам и скоро вас догонят.

Он говорил мягким голосом, как учитель, ласково журящий невнимательных учеников:

— Я говорю это вам ради вас же. Каждый день прибывают тысячи евреев и я могу легко заменить любого из вас, но вы находитесь в привилегированном положении, вы останетесь жить после всех других, чтобы осталось свидетельство об исчезнувшей расе, а вы хотите бежать, хотя смерть угрожает вам там, а не здесь. Конечно, вы должны работать в Треблинке, и я хорошо знаю, что вы не привыкли к этому, но кто работает здесь, того кормят и одевают. Только негодные уничтожаются, но это не наш закон, это закон природы. Вы думаете, она разрешает жить слепым волкам и больным львам? Поверьте мне! Работайте, работайте усердно, не пытайтесь увильнуть от своих обязанностей — Треблинка станет для Вас миром радости. Я клянусь вам честью эсэсовца!

В том, что говорил Лялька, была доля правды. Вероятность жизни для евреев в это время вне лагеря едва ли была больше, чем внутри него. Но побеги поднимали другие проблемы. Чего на самом деле боялись Исполнители, так это того, что беженцы, наконец, убедят евреев, которые еще находились в гетто, в реальности уничтожения. Конечно, они принимали меры предосторожности, конечно, они знали, что положение евреев в гетто было настолько тяжелым, что они скорее предпочитали утешаться во лжи, чем верить ужасным фактам, даже если их раскрывали свои же евреи. Но существовала угроза, что ситуация изменится, если слишком много свидетелей станут рассказывать одно и то же. Кроме того, была опасность, что об этом узнает весь мир и что История вынесет свой приговор Третьему Рейху.

Одно обстоятельство играло на руку Исполнителям: чудовищность правды. Уничтожение целого народа было настолько невероятным, что человеческий ум не мог этого принять. Всем известен нацистский принцип, что чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверят. Перефразируя это высказывание можно сказать, что чем невероятнее правда, тем меньше в нее поверят. Таково человеческое мышление, оно предпочитает ложь правде. Сама чудовищность предпринимаемого была гарантией его секретности.

Исполнители знали, что полностью предотвратить утечку информации невозможно, но они также понимали, что только накопление множества аналогичных свидетельств может способствовать убеждению евреев гетто в совершаемом геноциде, не говоря уже обо всем мире и истории. Поэтому следовало стремиться к тому, чтобы у заключенных не появилась привычка убегать, чтобы практика побегов не стала всеобщей. Именно по этой причине, осознав истинные размеры и последствия этого явления, Лялька решил с этой проблемой покончить.

Воля к побегу родилась в евреях тогда, когда возобновилась боль, когда лагерь был впервые реорганизован. В этот период некоторые еще выбирали смерть, но другие, вначале еще очень немногие, сразу же стали думать о побеге. Жизнь в Треблинке казалась невозможной для всех. Существовало только два способа избежать ее: смерть или побег. Но самоубийство отвратительно для еврея не только из-за религиозного запрета, но и потому, что жизнь еврея, как и любая жизнь — священна. Поэтому Галевскому удалось довольно быстро остановить волну самоубийств. Они были только непосредственной реакцией, своего рода затмением сознания в ответ на ужас ситуации. Но когда смерть перестала казаться разумным решением, все стали думать о побеге. А пока, в ожидании удобного случая, каждый начинал готовить свой маленький тайник. Поэтому пол бараков превратился в сказочное

поле сокровищ.

После ужасов тревожной ночи узники снова начали строить планы, но на этот раз в значительно большем масштабе. Эти часы агонии заставили их ринуться из мрака прозябания, в который их ввергло прибытие в Треблинку, в другую, новую жизнь, настолько же отличную от нормальной, насколько мир Треблинки отличался от нормального мира. В этой новой жизни главным стимулом стал побег. Евреи Треблинки так страстно хотели бежать, как другие люди в другом мире желали денег, власти или удовольствий. Это было не столько осознанным желанием, сколько инстинктом, подобным тому, который заставляет улетать перелетных птиц. После этого дня ничего не изменилось для них. Еще раз евреи стали «упрямым народом».

Выработалось несколько маршрутов побега: поезд, «госпиталь» и кучи одежды. Первый способ — поезд, был наиболее сложным, так как требовал помощи нескольких товарищей.

Маршрут через «госпиталь» обладал тем преимуществом, что мог быть осуществлен без чьей-либо помощи. Но он требовал большой удачи, находчивого ума и редкостной смелости. То, что эсэсовцы называли «госпиталем», было не больше госпиталем, чем газовая камера — фабрикой. Госпиталь состоял из маленьких бараков, на которых был нарисован красный крест, и большого рва, где тела убитых сжигались вместе со всеми документами, бумагами и фотографиями, принадлежавшими евреям из эшелонов. Сжигание тел производилось с помощью серы, но поскольку Лялька решил сократить убийства заключенных, и в среднем убивалось человек по двенадцать в день, то серу не лили ежедневно, и огонь горел не постоянно. Когда заключенные, которые хотели убежать, приходили бросать бумаги и фотографии в ров, они могли подождать, пока украинцы отвернутся, прыгнуть сами в дыру и спрятаться под телами. Лежа во рву среди трупов они должны были дождаться ночи, когда можно было попытаться перебраться через колючую проволоку.

Как ни трудно было достигнуть рва, отвлечь внимание украинских охранников было намного сложнее. И действительно, случаи успеха были очень редкими, пока капо Курлянд, разгадав этот маневр, не стал помогать заключенным. Но теперь его положение начальника «госпиталя» навлекало на него подозрение, и именно поэтому Галевский, сам предложивший этот способ побега, не хотел прибегать к его помощи. Но однажды Курлянд увидел, как заключенный прыгнул в ров. Повинуясь только инстинкту, он тут же позвал украинца, чтобы отвлечь его внимание, и с тех пор завел привычку стоять в конце дня рядом со рвом, для того чтобы помочь потенциальным беглецам. Благодаря ему, проблема бдительности украинцев была практически решена.

Однако попасть в ров еще не значило выиграть сражение. Более того, запах гниющего и горелого мяса был настолько

сильным, что многие теряли от него сознание. Другая еще более серьезная опасность была в том, что побег мог совпасть с тем днем, когда украинцы лили серу. Предугадать этот день было невозможно, поскольку дата зависела от того, сколько людей было убито на перекличке. Те, кому не везло, и кто совершил побег в «серный» день, сжигались серой или умирали от отравления.

Когда наступала ночь, беглец должен был выбраться из дыры. Это была не самая трудная часть плана, так как украинцы были обычно пьяны и по колючей проволоке ток не пропускали. Но покинув, наконец, Треблинку, узник встречался лицом к лицу с финальным испытанием, возможно, самым убийственным из всех: испытанием «свободой». Его единственным оружием было золото, которое ему удавалось вынести из Треблинки.

Третий маршрут был менее опасным, но он требовал помощи нескольких товарищей и весьма тщательной подготовки. Нужно было спрятаться, опять-таки в конце дня, в большой куче одежды. Но это было трудно сделать. Кучи были похожи на пирамиды, составленные из больших тюков одежды, сложенных параллельно одна другой. Тюки были так тщательно связаны, что было невозможно протиснуться между ними, не нарушив формы всей кучи и не рискуя развалить ее. Поэтому в течение дня, пока связывались тюки, нужно было внутри пирамиды образовать потайное пространство, достаточное по размеру для человека и в то же время настолько небольшое, чтобы можно было прикрыть его всего одним тюком так, чтобы ничего не было видно. Это требовало определенного искусства и ни в коем случае не могло быть сделано одним человеком. Если узнику, который хотел бежать, удавалось заручиться помощью нескольких друзей и благоразумием остальных, то спрятавшись в такую дыру, он имел хорошие шансы на успех. Но этот маршрут был практически оставлен, когда стали появляться доносчики.

Беглецы создавали большие проблемы для Галевского и поглощали всю его энергию. Он убеждал заключенных бежать неустанным повторением одного и того же приказа: «Расскажите! Расскажите! Расскажите все, что вы видели!» Но он же должен был скрывать побеги от немцев. Для этого он пополнял ряды заключенных за счет прибывших на следующий день. Каждый день немцы отбирали определенное число мужчин из эшелонов, предназначенных для газовых камер, для того чтобы заменить тех, кто умер накануне во время «гонки за смертью». Но Галевский с помощью Адольфа, которого он назначил мастером, проводил свой собственный отбор. При организации этого нелегального отбора возник ряд проблем, поскольку каждый заключенный имел теперь номер. Беглецы занимали свои места до вечерней переклички, и Галевский мог заменить их только на следующий день уже после утренней переклички. Таким образом, были две переклички, во время которых он должен был подтасовывать

цифры, чтобы обмануть немцев. Пока пересчет заключенных был для немцев пустой формальностью, обмануть их было для Галевского лишь вопросом словесной манипуляции. Он знал число беглецов, и ему нужно было только сделать ошибку, когда он считал вслух. Но когда немцы стали считать по-настоящему, каждая перекличка стала для Галевского изнурительным испытанием.

В течение целого месяца Галевский, ни разу не обнаруживая своих истинных намерений, дурачил Ляльку; в течение целого месяца евреи, переступившие пределы рабского состояния, находили в себе смелость противостоять Исполнителям. В течение этого месяца каждая мера, которую предпринимал Лялька, встречала контрмеру со стороны евреев. Он заставил каждого заключенного пришить номер на куртку. Евреи, которые убегали, оставляли свои куртки для тех, кто их заменял. Он организовал узников в группы по три человека в каждой, чтобы один был ответственен за двух остальных, узники убегали втроем. Ничего не помогало — никакие обещания, никакие угрозы, никакие показательные казни. Эта воля к побегу, которая руководила заключенными, была сильнее, чем их страх перед смертью, даже самой мучительной.

Тогда в лагере появился некто Кетнер. Узники сочли, что он похож на еврея и прозвали его Кива. Он организовал сеть доносчиков, которая стала кошмаром для заключенных, но они продолжали попытки к бегству. Хотя процент удач падал день ото дня, еще находились немногие, желавшие рискнуть своей жизнью ради свободы. Они знали, что эта свобода стоила не больше, чем жизнь в Треблинке, но их желание бежать шло не от разума. Они бежали как бы ведомые властным инстинктом, вероятно, тем самым, который заставлял евреев быть евреями в течение столь длительного времени.

И все же однажды побеги прекратились. Лялька и Кива думали, что они, наконец, преодолели упорство своих узников. Они чувствовали большое удовлетворение, к которому бессознательно примешивалось чувство страха перед людьми, которые в глубине отчаяния после столь длительной покорности находили в себе силы сопротивляться.

Это удовлетворение было их второй ошибкой. Евреи переключили всю свою энергию и всю свою надежду на предприятие, которое было безумным, грандиозным и еда ли не единственным в истории лагерей нацистской Европы: вооруженное восстание.

ГЛАВА XII

Шансы на успешный побег свелись практически к нулю, но Ланглер все-таки решил испытать судьбу. Сын владельца

большого обувного магазина в Чехословакии, он прибыл в Треблинку подобно сотням тысяч других евреев. Подобно им он не захотел поверить в изобилии циркулирующим слухам и рассказам, которые передавались шепотом. Но хоть он и не придавал значения этим рассказам настолько, чтобы вступить в отчаянную борьбу, он был достаточно напуган опасностью, которую представляла собой депортация, и прятался во время каждого рейда нацистов.

И все же однажды, подобно миллионам других евреев, его вытащили из тайника. В эшелоне, который вез его в Треблинку, он еще продолжал верить обещаниям немцев, боясь признать правду. В его вагоне было сто человек. Сто человек молящихся, плачущих, бесконечно обсуждающих, куда и зачем их везут. Когда один из них встал и сказал:

— Давайте восстанем!

Другие отвечали вечным аргументом:

— Если мы восстанем, они убьют нас всех на месте, а если подождем, нас, может быть, убьют, а может быть и нет, и уж, по крайней мере, не сразу же. — И обсуждение прекратилось. Когда в вагоне не стало воды, дети стали слизывать пот с лиц матерей, а взрослые замкнулись в себе. Потом человек, который призывал к восстанию, сказал:

— Я намерен выбраться отсюда. Кто со мной? — Когда он задал этот вопрос, его взгляд упал на Ланглера, и тот, не задумываясь ответил:

— Я. — Несколько человек пытались помешать им оторвать решетку, которой было закрыто окно, но они были слишком истощены. Ланглер и его новый знакомый бросили жребий, кому прыгать первому и судьба выбрала не его. Ланглер видел как тот с шумом прыгнул, перекувырнулся, вскочил на ноги и побежал к лесу. В этот момент раздались выстрелы, и Ланглер потерял желание прыгать. Он опустился на пол у окна и заплакал. Несколько раз он делал попытки встать, чтобы выпрыгнуть, но дрожащие ноги не могли его удержать, на него напал страх, властный, парализующий.

Когда его привезли в Треблинку, его узнал старый друг из Чехословакии и спас его. Страх никогда не покидал Ланглера, но теперь к нему присоединилось другое чувство: сознание того, что он вел себя как трус, отказавшись прыгать. Перед ним все время стояло лицо того человека, он видел его среди умирающих и так же ясно слышал его слова: «Давайте восстанем!», как слова своих соседей по бараку: «Давайте молиться, братья». В то время идея восстания еще казалась Ланглеру абсурдной. Что можно сделать голыми руками против танков, что могли сделать женщины и старики против этих сильных молодых солдат, хорошо натренированных и хорошо вооруженных? Это было безумием. Но теперь Ланглер жил в мире безумия и голос того человека

эхом отзывался в его сердце. Он еще не знал как восстать, но идея захватывала с каждым днем все больше и мало-помалу он забыл и свой страх, и свою трусость.

Он попался глупо, когда пытался затолкать в карман пачку денег во время сортировки одежды. Лялька понял, что он подготавливался к побегу и решил преподать всем урок. Впервые он имел живого преступника и хотел извлечь из этого преимущество. В центре двора поставили виселицу и Ланглера, уже распухшего от ударов, повесили за ноги. Было утро. Эшелон медленно двигался в сторону газовых камер. Сортировочные команды, прекратившие работу, получили приказ продолжать. Только украинский охранник, стоявший около виселицы, ударами кнута раскачивал Ланглера.

В середине дня, когда последний еврей из эшелона, должным образом раздетый и обысканный, прошел по «дороге к небесам», всех узников собрали на сортировочной площади и построили в колонны. Там, в середине двора, качался и стонал Ланглер, прося охранника прикончить его. После 15 минут муштры, когда ряды стали безукоризненно ровными, появился Лялька, который всегда тщательно подготавливал нужный эффект.

— Евреи! — начал он, указывая на Ланглера. — Этот еврей умрет. В Треблинке смерть для еврея — не редкость. Я бы даже сказал, образно говоря, для этого они сюда и попадают. Но этот, который там висит, умрет не так как остальные. Ваше положение позволяет вам заметить, как заботливо мы стараемся помочь нашим евреям умереть как можно прекраснее. Но мы постараемся проявить такую же заботу о том, чтобы этот умирал как можно дольше.

Лялька говорил медленно, делая большие паузы между фразами. Во время этих пауз до заключенных доносились стоны Ланглера, которые они должны были слушать, неподвижно стоя по стойке смирно.

— Евреи! — продолжал Лялька. — То, что вы боитесь умирать — это факт известный, и меня лично он всегда удивлял. Признаюсь откровенно, я никогда не понимал этой фанатичной привязанности к жизни. (Еще одна пауза, стоны усиливаются и затихают, вперемежку с мольбами, четко доносящимися до заключенных, которые могут только мысленно молиться за своего брата, осужденного на смерть). Я никогда не понимал этого, особенно с тех пор, как жить для вас стало труднее и болезненнее, чем умереть.

— Взять, например, его, — продолжал он, махнув рукой в сторону Ланглера.

— Послушайте его! О чем он просит? Умереть! О чем он просит охранника? Убить его. Наконец-то он поумнел. К сожалению, слишком поздно. Но, может быть, его пример послужит уроком для вас. Поскольку я сомневаюсь, что он умрет до вечера, то до конца дня вам придется поразмышлять над неприятностями, вытекающими из попытки убежать от нас.

Когда Лялька закончил свою речь, он заставил заключенных промаршировать мимо висящего как мясная туша Ланглера, распевая гимн Треблинки. Потом он вернул их на работу.

Этот день тянулся бесконечно. Никто не говорил ни слова. Молчание было таким глубоким, что стоны Ланглера слышались во всех углах огромного двора. Когда он призывал свою мать, каждый думал о своей. Когда он просил, чтобы его убили, каждый хотел умереть. Агония Ланглера была агонией их всех, его крики были их криками, его боль — их болью. О, если бы только они могли не слышать его, если бы только они могли не видеть измученное тело своего брата, которое еще вздрагивало при каждом ударе кнута! Сами того не желая, они исподтишка смотрели туда, где он висел, окровавленный, изуродованный, бесформенный. Они видели ручьи крови, медленно стекавшие с его волос, как с освежеванного животного, они видели свисавшие куски кожи, обнажавшие красное сырое мясо. Вдруг он издал страшный крик, который заставил замереть и заключенных и охранников, и все подумали, что он, наконец, умирает. Но сразу же после этого заключенные услышали, как он обращается к ним по-еврейски:

— *Yiden! Yiden!* Евреи, евреи, братья мои! — И снова голос, казалось идущий ниоткуда. — Восстаньте! Восстаньте! Не верьте их обещаниям. Всех вас убьют. Они не позволят вам уйти отсюда после всего, что вы видели. Даже если бы они хотели сохранить ваши жизни, их бы заставили убить вас, потому что мир никогда не простит им того, что они делают, и они знают это. Восстаньте! Отомстите за ваших отцов и братьев, отомстите за себя. Спасите честь Израиля! Раз нам суждено умереть, боритесь! Живи Израиль! Да здравствует еврейский народ!

Вначале охрана и немцы, ошарашенные, слушали, не понимая, но когда Ланглер крикнул:

— Живи Израиль! — они поняли, что он, должно быть, призывает к сопротивлению. Лялька побежал и выхватил автомат у охранника, стоящего на его пути. Когда он добежал до Ланглера, он увидел, что его тело отчаянно дергалось. Взбешенный речью, которую он не понял, но о значении которой догадывался, он схватил автомат за ствол и молотил прикладом по голове Ланглера до тех пор, пока его череп не раскололся.

В эту ночь в бараках долго не стихал страстный шепот. Каждый чувствовал, что Ланглер был прав и что единственным решением было восстание. Эта мысль появилась внезапно, как открытие. Да, они обречены, им нечего терять. И чтобы не произошло, они знали, что им предстоит умереть. Но как они могли восстать? Что они могли найти, кроме палки? Кто мог организовать их так, чтобы они все как один бросились на своих убийц? В маленьких группках заключенных, бдительно следя за

доносчиками, обсуждалась проблема восстания. Никто не верил, что оно могло быть успешным, но многие были готовы умереть, даже если на успех не было никаких шансов.

После немецкого вторжения они, испытывая одно унижение за другим, достигли такого состояния физического и морального рабства, которое было еще неизвестно в истории социальных отношений. И в ходе этого падения, казалось бы, не было ничего, что могло бы остановить их, словно какие-то чары опустились на них, не давая им вновь обрести равновесие. Какой-то рок заставил их попадать во все ловушки, которые Исполнители для них приготовили. Высшие хозяева их судьбы, Исполнители, властвовали над ними как потусторонняя сила.

Физически слабые и морально сломленные, евреи позволяли вести себя к смерти как стадо животных на бойню, разрешили превратить себя в помощников по уничтожению собственного народа. И эти помощники были не преступниками, а хорошими евреями, иногда даже великими евреями. И теперь вдруг произошло чудо. Именно теперь, когда их падение было всеобщим, когда все, к чему прежде стремились, потеряло свою ценность, когда их человеческая природа почти покинула их, евреи, поднявшие самих себя со дна пропасти, начали медленное восхождение, остановить которое могла только смерть.

Несколькими месяцами ранее они отвоевали свое право умирать, совершив самоубийство. Теперь же они начали борьбу за право умереть сражаясь. В эту ночь на гудящие бараки, в этом безумном мире Треблинки, снизошло чудо: чудо в состоянии богооставленности.

ГЛАВА XIII

Галевскому не нужно было ждать смерти Ланглера, чтобы прийти к мысли о восстании. Старый и больной, психологически сломленный уничтожением своей семьи и всем, через что ему пришлось пройти как еврейскому коменданту лагеря, Галевский жил теперь только ради этой цели. Вначале нереальное как акт веры, акт сумасшедшей надежды, восстание обрело в его глазах черты реального плана в то утро, когда эсэсовцы не посмели уничтожить всех евреев. Когда Лялька ударил его, он опустил глаза и подумал: «Ты большой и сильный, но ты сейчас сделал ошибку, которая будет стоить тебе очень дорого!»

В гетто он жил теперь не вместе с остальными заключенными, а в бараках хоф-юден, где все, включая условия жизни, было более сносным. Бараки были меньше, гораздо чище и приятнее, чем те, где он жил раньше. У него была своя собственная койка и даже ящик, который служил ему тумбочкой и ночным столиком. Хоф-юден имели доступ к колодцу, где они кое-как умывались каждое утро. И поскольку они работали во вполне нормальных

условиях, им более или менее удавалось сохранить опрятность. Хоф-юден приняли его очень прохладно, и у Галевского заняло немало времени установить контакт с одним из них, врачом, который лечил немцев. Его фамилия была Хоронжицкий и он был одним из наиболее известных врачей Варшавы. От своего прошлого великолепия он сохранил, кроме хороших манер, только элегантный, тщательно отглаженный костюм, который он носил под белым халатом. Галевский выбрал его потому, что тот ни с кем не разговаривал. Высокий, седовласый, с неподвижным как бы мертвым лицом, он никогда не задавал вопросов и ни к кому не обращался. В бараках он проводил долгие часы, лежа с открытыми глазами, казалось, не видя и не слыша ничего, что делалось вокруг. Было что-то возвышенное в его молчании, и это вызывало любопытство. Даже после того как они стали друзьями, доктор Хоронжицкий никогда не говорил о себе, своей семье или об обстоятельствах своего прибытия в Треблинку. Это было как если бы он начал новую жизнь, которая полностью стерла из памяти предыдущую. Галевский долго наблюдал за ним, прежде чем решился заговорить. Привилегированное положение, в котором находился доктор Хоронжицкий, в конце концов, решило дело. Он мог принести существенную пользу восстанию.

Пока он искал способа сблизиться с Хоронжицким и наблюдал какой эгоистичной жизнью жили хоф-юден, Галевский думал, что молчание доктора было способом выразить свое неодобрение. Идя на риск раскрыть свои планы доносчику, он решил поговорить с доктором в открытую.

— Вы не думаете, — спросил он его как-то напрямик, — что мы могли бы что-то организовать, а не позволять убивать себя так, как сейчас?

Хоронжицкий быстро посмотрел на него, и Галевский впервые увидел, как сверкнули его глаза.

— Что вы имеете в виду? — спросил он его безразличным тоном, как бы не желая показывать своих чувств.

Галевский видел оттенок недоверия в поведении доктора. Но он понял: доктор потерял доверие к людям, и все казалось ему подозрительным. Галевский сам не доверял доктору, он априори не доверял всему миру, а больше всего хоф-юден, но чувствовал, что если первым не протянет руки, доктор не откроет ему своих мыслей. Еще колеблясь, он изучал взглядом Хоронжицкого, который спокойно смотрел на него. Парализованный холодностью этих глаз, Галевский уже собирался отказаться от своих намерений, когда ему показалось, что в глазах доктора мелькнуло неуловимое одобрение. Это могло быть только иллюзией, и даже когда он открыл рот, чтобы начать говорить, у него было чувство, что он совершает ошибку. Он стоял с открытым ртом, но еще не произнес ни слова.

— Вы боитесь говорить, — сказал доктор. — Вы не доверяете

мне. Здесь все не доверяют друг другу.

— Но не мы, — резко ответил Галевский, сразу чувствуя свою солидарность с другими заключенными.

— Посмотрим, что будет, когда ваши люди снова обретут надежду, когда первый из них начнет верить обещаниям немцев, посмотрим, не перестанут ли они тогда доверять друг другу.

Оба они знали, куда может завести их такой разговор, но тактично решили составить мнение друг о друге, поговорив вначале о чем-то другом.

— Вы считаете, что можно ожидать лишь этого? — спросил Галевский, как бы отвлекаясь от сути.

— Я думаю, что каждый человек хочет спасти свою шкуру и готов ради этого на все,.

— Предположим, что станет ясно, что шансов нет?

— Искусство немцев в том и состоит, чтобы скрывать то, что очевидно. Один немец сказал мне, что Гитлер закончил одну из своих речей об уничтожении евреев утверждением, что из всех евреев Европы останется в живых ровно столько, чтобы наполнить ими один автомобиль, который провезут по улицам Берлина. Ну, и каждый еврей верит, что именно он будет ехать в этом автомобиле. Это можно даже назвать автомобильным комплексом.

— Короче, евреи трусы? Наоборот, это не трусость — верить в невозможное. Когда еврей родится в Америке, его родители верят, что он будет миллионером, во Франции — что он будет учиться в Сорбонне, в Риме — что он станет Папой. Для евреев нет ничего невозможного, даже если нужно совершить чудо. В этом их исключительная сила, но сегодня она оказывается страшной слабостью. Почему мы такие, я не знаю. Возможно потому, что у евреев слишком долго не было своей страны, и потому, что у них никогда не было работы, которая считалась их призванием как нации. Но теперь с этим покончено. Я уже сомневаюсь, останется ли достаточно евреев, чтобы заполнить один автомобиль.

Галевский слушал рассеянно. Он уже встречал людей, падших духом, и решил идти напролом.

— Поскольку для евреев нет ничего невозможного, — сказал он медленно, осторожно развивая мысль, — почему для них невозможно восстать?

Хоронжицкий не ответил и Галевский спросил:

— Вы мне не доверяете?

— Вы являетесь главой коллаборационистов, — сказал доктор.

— А вы личный врач немцев, — возразил Галевский.

Хоронжицкий бросил на него быстрый взгляд и вдруг лицо его расслабилось, а глаза слегка засветились.

— У вас есть план? — спросил он изменившимся голосом.

— Нет, но его можно составить.

Задумчиво, как бы заканчивая вслух молчаливый спор, Хоронжицкий добавил: — В конце концов, может быть вы и правы, он может даже сработать. С евреями все может случиться. Он протянул руку, которую Галевский пожал, чувствуя, что он сделал правильный выбор.

На следующий день они обсуждали, кто из хоф-юден мог бы войти в Комитет.

— У них больше свободы, чем у других и их помощь была бы решающей, — сказал Хоронжицкий, — но я не уверен, что они согласятся. Вы знаете, у них спокойная жизнь. Некоторые из них, кажется, даже не знают, что происходит «там».

Галевский удивленно взглянул на него.

— Да, да. Это правда. По крайней мере, они никогда не разговаривают об этом. Они приняли позицию немцев.

— Но запах? Сейчас, зимой, он еще более или менее терпимый, но летом, когда запах гниющего мяса раздражал даже немцев?

Ни слова. Запах стал запрещенным предметом в разговорах, никто не касается его. Я думаю, никто не осмеливается даже сморщить нос. Я помню, однажды ветер дул прямо оттуда и дышать было нечем. Я сказал: «Ну и запах!». Меня только что привезли. Все посмотрели на меня с упреком, и никто не ответил. Вот тогда мы и прекратили разговаривать друг с другом. Ведь это факт, что никто не знает, что именно происходит в Лагере Номер Два, ни вы, ни я. А между тем, все должны знать или по крайней мере подозревать, что там убивают евреев, но это их не интересует, они отказываются что-либо узнавать об этом. Интуитивно они чувствуют, что немцы не разрешат свидетелям уйти отсюда, поэтому они притворяются, что ничего не знают. «Газовые камеры? Какие газовые камеры? Запах? Какой запах? У вас определенно богатое воображение». Это несчастная комедия, в которой актеры — дураки.

— Может быть, вы немного несправедливы? — спросил Галевский.

— Да, конечно, — спокойно сказал доктор. — Да, молчание — это явление сложное. По отношению к немцам все объясняется просто. Глупые и дисциплинированные, они подчиняются — приказ есть приказ, секрет есть секрет. Но с евреями куда более сложно. Я хотел бы добавить, что есть еще второе объяснение, которое не исключает первого.

Доктор Хоронжицкий так давно впал в молчание, что теперь, выбравшись из него, он говорил не переставая. Он ощущал потребность рассказать все, что он видел, объяснить все, что он понял. И это была не болтовня, а та же самая потребность, которая овладевала многими евреями: потребность сохранить свидетельство. Доктор Гинзбург ощущал это в Вильно. В Варшаве

доктор Рингельблюм посвятил себя сбору и записи даже самых незначительных фактов за все время существования гетто. Когда окончательная ликвидация стала неминуема, он вместе с помощниками запечатал свои записки в железный ящик и зарыл их в землю, чтобы когда-нибудь будущие поколения могли их найти. Мордехай Таненбаум, который из Вильнюса добрался до Варшавы и затем был послан в Белосток и организовал там Сопротивление, тоже вел журнал, в который он заносил все подряд: свои впечатления, программу Комитета Сопротивления, анекдоты, даты депортации, реакцию разных личностей, все, что он видел, узнал или чувствовал — так, чтобы будущие поколения могли узнать, что происходило, и могли понять, как это происходило. Также как Рингельблюм, он доверил свои записки земле за несколько дней до ликвидации. Этот журнал, который нашли после войны, начинается такими словами: «Приветствую тебя, неизвестный искатель, который нашел эти страницы». Страстный призыв, как первая фраза письма, которое кладут в бутылку потерпевшие кораблекрушение. Действительно, иудаизм, казалось, терпел крушение. Мордехай говорил Теше, своей невесте, за несколько дней до восстания в Варшавском гетто, где ей суждено было погибнуть: «В любом случае, все потеряно, так что живи, живи любой ценой. Ты расскажешь обо всем, что здесь было, ты сумеешь это». В первые дни Треблинки эта потребность вынести, сохранить свидетельство, была для многих одним из главных стимулов выжить. Галевский использовал это чтобы отговаривать от самоубийства. Эта потребность должна была стать одной из важнейших причин восстания.

И эта же причина заставляла Хоронжицкого говорить так долго.

— В чем же заключается второе объяснение комедии, которую играют евреи? — спросил Галевский.

— Как по-вашему, можно жить рядом со смертью? — ответил доктор вопросом на вопрос.

— Я думаю — нет, и потому-то в рабочих командах столько попыток побегов, тогда как раньше они пытались кончать с собой, что, в общем-то одно и тоже. Ну вот, а хоф-юден изобрели третье решение. Они не кончают с собой и не убегают. Они просто ничего не знают, они действуют так, как будто смерти не существует. Вечером в пятницу они зажигают свечи, утром идут на работу, едят в определенные часы, говорят о погоде, сплетничают друг о друге. Они как бы воссоздали жизненные условия их родных городков. Им не хватает двух элементов: будущего и пространства, но они никогда не говорят об этих двух предметах из страха разрушить иллюзию. Кроме этих трех табу — будущего, пространства и того, что происходит здесь — все остальное в полном соответствии с их прежней жизнью. Некоторые даже живут вместе со своими семьями, женами и детьми. У них есть отдельные комнаты, они

дают детям уроки.

— Все это звучит не очень обнадеживающе, — сказал Галевский.

— Наоборот, мой друг. Эта потрясающая способность приспосабливаться должна помочь нам.

— Не в подготовке восстания!

— Да, боюсь, что в этом отношении они не на многое годятся. По крайней мере, сейчас. Только когда они поближе познакомятся со смертью. Но есть один человек, который может согласиться — мой коллега в «госпитале».

Галевский не сразу понял, на кого он намекал. Вначале он подумал, что доктор оговорился и что он имел в виду немецкий лазарет, но он не знал никакого другого доктора, работающего там. Видя его смущение, Хоронжицкий продолжил: капо Курлянд, «доктор».

— Но он не... — начал Галевский и вдруг понял, что это шутка. Она ему не понравилась. Он хотел сказать об этом Хоронжицкому, но тот быстро добавил:

— Видите, мы даже шутим в этом мире. Здесь все называют его Доктор. Но для них это не юмор, — сказал он, чуть подумав. — Это часть их мира лжи.

К Галевскому снова вернулось самообладание.

— Курлянд, вы думаете? — спросил он скептически.

Галевский никогда не понимал, как может человек согласиться делать то, что делает Курлянд. В его обязанности, как начальника «госпиталя», входило делать смертельные уколы людям из эшелонов, которых нельзя было вести в газовые камеры, потому что они были калеками или ранеными. Одетый в белый халат, он приглашал их в маленькие бараки, задние двери которых открывались прямо в ров и, объясняя, что делает им укол дигиталиса, он вводил яд, который убивал их почти моментально.

Галевский не винил его, он не доверял ему. Он не чувствовал, что имеет право обвинять его в чем-то, поскольку вся их деятельность, включая его собственную, способствовала тому же самому — смерти их народа. Но он не мог не ощущать чувства беспокойства в присутствии человека, который имел смелость смотреть в лицо своим жертвам и, вводя иглу, улыбаться и приговаривать: «Ну вот, это не больно. Вам уже лучше, да?» Весь день в своих маленьких бараках он повторял те же самые слова с той же самой улыбкой:» Ну вот, это не больно. Вам уже лучше, да?» Через несколько секунд он делал знак своим помощникам утащить тело за занавеску, закрывающую дверь. Пока тело падало в ров, Курлянд уже наклонялся над следующим пациентом. Поглаживая его руку, вводя иглу, он улыбался и повторял: «Ну вот...»

— Вы неправы! — сказал Хоронжицкий, видя выражение его

лица. — Он очень хороший человек.

— Я не осуждаю его, но думаю, что, несмотря на все что видел здесь, я никогда не смог бы сделать это.

— А вы могли представить себе, будучи в Варшаве, в своей квартире, сидя в своем любимом кресле, почитывая свою любимую газету, пока дети играют на ковре в гостиной, что станете главным капо?

Эти слова разбудили в Галевском воспоминания о счастливом прошлом и так ранили его, что от потрясения он ничего не мог сказать.

Хоронжицкий не хотел обижать его. Заметив реакцию, он быстро добавил:

— Простите меня. Я не имел в виду...

Но Галевский уже пришел в себя. — Вы правы. Никто, и меньше всего я сам, не имеет права судить в таких делах. Никто не может сказать: «Я никогда не сделаю этого».

— Именно так, — добавил Хоронжицкий. — Курлянд мог бы быть и негодяем.

На следующий день они впервые встретились втроем.

Больше, чем любой в Треблинке, Курлянд был свидетелем. Он прошел через такое, что иногда доходил до состояния, когда не мог больше ощущать того горя, которое он вынес, видел или приносил сам. Он страдал не от того, что вынес или делал он лично, а от того, что он вынес или делал как еврей, от того, что вынесли или делали все евреи. Курлянд достиг небывало высокого чувства коллективности судьбы еврейского народа. И он жил этой судьбой не как личность, а как элемент невидимого целого, элемент, наделенный специальной функцией свидетеля.

Его личная судьба была ему, в общем, безразлична. «Моя судьба, — говорил он обычно, — это только судьба одного человека. Все, что я могу чувствовать, это только человеческие эмоции. Слезы, которые я проливаю, на вкус те же самые, что и слезы других. Даже моя смерть будет смертью обычного человека. И даже если ее обстоятельства будут особенно драматическими, после нее мое тело нельзя будет отличить от тела, задавленного поездом. Это все просто, почти ординарно и не может идти в сравнение с исчезновением народа, избранного Б-гом и имеющего возраст три тысячи лет». Еще он говорил: «Б-га не беспокоит моя смерть или смерть любого другого отдельного еврея, но его беспокоит наше общее исчезновение». Он рассматривал эти события как выполнение Его воли. Потому что, если Б-г существует, — а для Курлянда он существовал — ничего не могло случиться, чего бы Он не хотел. Поскольку Б-г не деспот, все должно иметь свое объяснение. Массовое уничтожение, которое Он принес своему народу, не могло быть беспричинным. Это должно было представлять собой ужасное предупреждение. Именно в этом пункте мысли Курлянда расходились с мыслями большинства религиозных евреев. Те в уничтожении еврейского народа видели предупреждение только одним евреям, Курлянд же видел в этом предупреждение всему миру. Б-г принес в жертву свой народ, чтобы сказать миру что-то очень важное.

К сожалению, не сохранилось ничего из того, что написал Курлянд. Очень трудно восстановить его основные мысли через воспоминания свидетелей, но совершенно определенно, что эта мессианская концепция о страданиях еврейского народа была центральной в его умозаключениях. Он стал лагерным летописцем и день за днем вел хронику выполнения воли Б-га, для того, чтобы будущие поколения могли постичь ее скрытое значение.

Встреча с Галевским была для него событием. Курлянд был в некотором смысле мечтателем, а Галевский — человеком рациональных действий, но у них было одно общее — оба они были евреями. Вместо того чтобы противостоять, они дополняли друг друга. Возможность восстания давала Курлянду надежду, что ему удастся вынести свою хронику из Треблинки. Мистическая концепция Курлянда внесла дополнительный смысл в восстание — идею искупления.

На этой встрече был разработан предварительный план восстания. Боевые группы следовало набирать из таких заключенных, на которых можно было положиться, и кто умел держать оружие. Они должны были напасть на немцев и украинцев, разрушить лагерное сторожевое оборудование и организовать коллективный побег заключенных. Было решено, что Адольф, которого не было на встрече, потому что он спал в большом бараке вместе с другими узниками, будет ответственным за обучение и частично за вербовку людей, из которых можно было сформировать боевые группы. План также предусматривал поиски контактов с хоф-юден, которые, благодаря своей работе на немцев, имели большую свободу действий. Проблема оружия тоже поднималась, но никакого решения не было найдено. И наконец они договорились о побегах. Для них самих этого вопроса не существовало: поскольку они должны были выполнить особую миссию, побег для них представлял бы предательство.

— Если нам удастся когда-нибудь уйти отсюда, — сказал Галевский голосом, в котором не чувствовалось убежденности, — мы уйдем последними.

Вслед за ним Хорожницкий тоже осудил побеги. Он считал их опасными и ненадежными.

— Если мы решили подготовить восстание, мы должны всю нашу энергию посвятить его организации. Риск, на который вы идете ради побега, — сказал он, поворачиваясь к Галевскому, — неизмеримо больше поставленной нами цели. Вы находитесь постоянно под страхом возможности добровольного или принудительного признания этих людей. Если вас раскроют, вы лишите Комитет вашей помощи и рискуете поставить под угрозу

жизни всех узников.

— Я уже обдумал эту проблему. Я знаю, насколько это серьезно, но мы не можем отказаться помогать тем, кто хочет бежать.

Курлянд согласился с Галевским.

— Мы должны хвататься за любую возможность, чтобы как можно больше евреев выбралось отсюда.

— Но не тогда, когда это будет подвергать опасности наш план. Побеги будут мешать нашей работе. Они становятся все более и более трудными и держат немцев в состоянии постоянной напряженности. Мы должны успокоить немцев, заставить их ослабить бдительность. Мы должны заставить их думать, что они сломили нас, заставить их поверить, что мы стали настоящими рабами.

— Но имеем ли мы право мешать человеку бежать во имя предполагаемого восстания? — спросил Галевский. — Это очень тяжелая ответственность для нас. Побег — это их единственная надежда. Можем ли мы отнять ее у них?

— Да, если взамен предложим восстание.

— Но тогда мы должны будем открыть тайну многим людям.

Они сошлись на компромиссе. Комитет прекратит поддерживать беглецов и оказывать им помощь с того дня, когда будет установлена дата восстания. Этому решению суждено было иметь серьезные последствия.

В Треблинке нельзя было допускать ни малейшей слабости. Щепетильность Галевского была его слабостью.

Несмотря на все усилия членов Комитета, контакты с хоф-юден не устанавливались. Они жили изолированно, в своем мире лжи, в мучительной тишине, из которой, казалось, ничего не может их вытащить. Они не испытывали муки вместе с другими заключенными, не чувствовали с ними ничего общего, кроме того факта, что они тоже были евреями. На другом уровне, конечно, но их поведение напоминало тех евреев гетто, которые не могли подвести себя к мысли о неизбежном конце. Они еще не достигли дна, поэтому не могли начать вновь пониматься.

Кива был хорошим нацистом и яростным антисемитом. Тюремщик по профессии, он не без гордости утверждал, что еще ни один узник не убежал из-под его охраны. Благодаря репутации, ему доверили особую задачу: прекратить побеги. Он принялся за это дело со страстью и не терял времени для достижения превосходных результатов. Он ни минуты не отдыхал. Казалось, ничего не могло ускользнуть от его маленьких, прищуренных глазок. Он говорил, что не начинает завтракать до тех пор, пока не прикончит, по крайней мере, двух евреев. Сразу после подъема он начинал рыскать в поисках жертв. Его появление вызывало панику среди узников, для которых он стал даже большим источником ужаса, чем Лялька. Поскольку его появление всегда приносило

чью-то смерть, они прозвали его Ангелом смерти. Невысокий, с бычьей шеей, слегка хромой, он обычно появлялся неожиданно и набрасывался на свою жертву как хищник. Хотя обычно он передвигался с трудом, в эти моменты он достигал удивительной скорости. Когда он настигал свою жертву, он всегда улыбался и говорил: «Ты неважно себя чувствуешь? Пойдем в госпиталь». Узники уже знали это его выражение. Они даже не пытались сказать ему, что их здоровье отличное. Лялька не любил его и не всегда одобрял его методы, но оценивая их эффективность, не мешал ему.

Однажды Кива зашел слишком далеко. Это была мелочь, не имеющая особого значения в лагере, где все должны были умереть, но то, что было мелочью для Кивы, открыло дверь новой фазы в организации восстания.

Для отъявленного антисемита с довольно ограниченным мышлением, каким был Кива, все евреи были только евреями, и привилегированное положение хоф-юден казалось ему оскорблением. Лялька объяснил ему кое-что, но Кива находил, что это только отговорки, бесполезные и непригодные для Треблинки. Однажды в самой спокойной ситуации Кива, в присутствии нескольких хоф-юден, сказал, что для него лично не существует разницы между евреями, что евреи есть евреи, и все они бегут по дороге к быстрому исчезновению. Для хоф-юден это между делом сказанное замечание было небесным знамением, внезапно расколовшим раковину, в которой они пытались укрыться. С их глаз спала пелена, и реальность положения открылась им во всей свой ясности. Даже если пока их положение было лучше, конец их будет тем же самым, что и у плац-юден и у всех евреев Европы.

В тот же вечер двое из хоф-юден, Зальцберг и Монек, пришли к Галевскому, который разговаривал в это время с Курляндом и Хоронжицким. Зальцберг был человеком среднего возраста и жил в Треблинке с двумя детьми. Он представлял определенную моральную силу. Монеку было 22 года, и он был их капо. В это время в бараке царило глубокое молчание, что придавало еще больший вес тому, что сказал Зальцберг.

— Мы просим вас простить нас за наше прошлое поведение. Смерть больше не пугает нас. Мы все готовы выполнить наш долг, чтобы спасти честь Израиля. Мы знаем, что вы организовали Комитет и что вы готовите восстание. Мы просим разрешить нам присоединиться к вам.

Его тон был несколько высокопарным, но Галевский почувствовал, что он может на них рассчитывать.

— Благодарю вас, — ответил он. — Мы знали, что вы хорошие евреи и что вы нам поможете. Однако я должен сказать вам, что шансы на успех крайне малы. Во-первых, мы должны справиться с лагерной охраной, которая довольно многочисленная — сорок немцев и двести украинцев. Затем нам придется обороняться

против подкреплений, которые обязательно прибудут. Мы слишком компрометирующие свидетели для немцев, чтобы они не сделали всего, что в их силах, чтобы захватить нас снова. И, наконец, тем из нас, кто останется в живых, придется бороться с холодом, голодом, крестьянами, фашистскими бандами, дезертирами...

Адольф, со своей стороны, работал без передышки. В 17 лет отчаяние вытолкнуло его в жизнь, полную авантюр, и действие стало второй натурой. Но если раньше он сражался в чужих битвах на чужой земле, то это восстание было его восстанием, его жизненной миссией. В первый, и без сомнения в последний раз, он будет сражаться под еврейским флагом, сражаться как еврей, за евреев. И желание сражаться было у него таким же сильным, как сознание своей принадлежности к еврейству. Кроме того, у него была точная задача, которую он должен был выполнить. Он работал не на том уровне, где разрабатывались идеи и принималось множество не имеющих прямого отношения к делу проблем. Ему сказали: «Набери и организуй пять боевых групп». Это было ясно, но нелегко. Во-первых, он должен был действовать конспиративно. Во-вторых, он должен был найти узников, которые были готовы сражаться, но не для того чтобы убежать самим, а для того, чтобы позволить убежать другим и разрушить лагерь. И это при том, что единственной мыслью почти всех заключенных был побег. Вдобавок к этим двум трудностям была еще третья: очень мало евреев умело пользоваться оружием. Рассматриваемые как граждане второго сорта, уничтожаемые во время погромов, презираемые всеми «хорошими поляками», многие евреи пытались, не всегда безуспешно, избежать военной службы. Большинство не имело никакой военной подготовки.

Адольфу нужны были люди, на которых он мог положиться. Он начал с поиска тех, кто был в польской армии, особенно тех, кто сражался во время короткой компании 1939 года. «Даже они немного знают, — сказал он однажды Галевскому. — Но лучшие солдаты это те, кто сражается, зная, что они должны погибнуть. И, кроме того, — добавил он с улыбкой — у нас нет выбора». Когда кто-нибудь указывал ему на еврея, который был в армии, он подходил к нему и начинал прощупывать его путем туманных разговоров. Если человек не понимал что к чему, он не разговаривал с ним больше. Если же тот отвечал на его намеки, он спрашивал его напрямую: «Как ты думаешь, мы можем что-нибудь сделать?» Ответ служил определяющим тестом.

Первых пятерых человек, кто ответил «Да», Адольф назначил командирами групп, потом, по совету Галевского, поручил им самим подбирать людей для своих групп. Чтобы обеспечить полную конспирацию, он запретил им называть своим людям какие-нибудь фамилии, как фамилию командира, так и фамилии остальных членов группы. Каждый должен был знать только

фамилию своего ведущего. Каждый командир группы получил ампулу с ядом, который достал Курлянд. Только Адольф знал всех завербованных. Он учил командиров групп выбирать людей. «О человеке можно судить тогда, когда его бьют, — объяснял он. — Есть такие, кто впадает в панику, а есть и такие, кто остается спокойным. Есть такие, кто опускает голову и подчиняется, а есть такие, кто защищается и при этом пытается увидеть, откуда идут удары. Вот такие-то и есть хорошие солдаты».

Таковы были приготовления к восстанию, когда произошел инцидент с Ланглером. Слышал ли он о восстании? Вероятно, нет. Его патетический призыв был, вероятнее всего, просто совпадением. Идя своей дорогой, Ланглер прошел тот же путь, что и члены Комитета: после периода смерти и унижений приходит период протеста. Его призыв подействовал как катализатор.

Комитет собрался в тот же вечер, когда узники в бараках были заняты страстными спорами.

Галевский начал с рассказа хоф-юден о смерти Ланглера.

— Его призыв — это знак, — закончил он, — знак того, что время пришло. Ланглер — наше первое выступление, наш первый герой.

Затем Комитет перешел к практическим вопросам. Во-первых, дата. Вот-вот должен был пойти первый снег, до него нельзя было начать восстание. Им следовало выбрать день, когда пойдет сильный снег, чтобы он быстро покрыл все следы.

— В этот вечер доктор Хоронжицкий сделал последнюю попытку убедить Комитет принять решение запретить побеги. Поскольку Комитет включает двух новых членов, я предлагаю заново рассмотреть проблему побегов. Должны ли мы, чтобы усыпить подозрение немцев, взять на себя ответственность за прекращение побегов? Или мы можем разрешить продолжить их, при этом никак не содействуя беглецам? Иными словами, должны ли мы осознать, что с этого момента у евреев Треблинки есть только один курс — восстание!

На этот раз Курлянд согласился с Хоронжицким.

Отдельные судьбы не должны нас заботить. Это восстание имеет целью не только спасти жизни, это должно быть событием исторической важности. Оно должно явиться символом судьбы еврейского народа, которому не в состоянии нанести поражение никакая сила на земле. Это восстание должно показать миру, что даже на самом дне пропасти мы не впали в отчаяние. Оно должно бросить новый свет на наши муки, показать, что наша покорность не была трусостью, и что когда мы сочли необходимым бороться, ничто не могло остановить нас. Исходя из этого, я считаю, что мы должны исключить все, что представляет собой малейший риск для успеха нашего предприятия. Если, поддавшись на сантименты, мы не запретим побеги, не сделаем всего, что в наших силах, чтобы прекратить их — это будет нашей ошибкой,

слабостью, предательством.

Но Зальцберг и Монек не смотрели на эту проблему под таким углом, и, в конце концов. решили все-таки придерживаться компромисса.

Потом они перешли к главной проблеме: оружие. Галевский думал об этом все время и пришел к заключению, что единственный способ достать его — купить у украинских охранников.

— Почему вы думаете, что они пойдут на такой большой риск? — спросил Зальцберг.

— Потому что они любят золото.

— Но у них и так есть все, что они хотят. Все, что им нужно сделать — нагнуться и взять.

Идея показалась членам Комитета безумной. Тогда Галевский рассказал им то, что недавно узнал:

— После того, как Лялька обнаружил двух украинских охранников в старых бараках, он принял меры, которые бы препятствовали доступу охраны к золоту. Я узнал об этом от голд-юден. Украинцы теперь не имеют права входить в их бараки, и на каждой сортировочной станции за ними наблюдает немец. Кроме того, голд-юден сказали мне, что иногда украинцы приносят им немного еды в обмен на деньги. Я думаю, мы можем попытаться достать оружие теми же средствами. Проблема только в том, чтобы найти наименее свирепого или наиболее жадного.

Членам Комитета риск показался слишком большим, но это было единственным решением, и все согласились с ним. Встала проблема — кому следует доверить эту опасную миссию. Галевскому, как еврейскому коменданту лагеря, этим заниматься не следовало. Если бы его поймали, могла возникнуть опасность для всего лагеря. Зальцберг и Монек не имели контакта с украинцами. Украинцы не любили их, потому что им не разрешали бить хоф-юден. Оставалися Курлянд и Хоронжицкий. Курлянд предложил попробовать, но у него были маленькие шансы на успех: трое украинцев в «госпитале» были животными, не заинтересованными ни в чем, кроме своей работы убийц. Все повернулись к Хоронжицкому, который работал с двумя украинскими помощниками в немецком лазарете. Он немного помолчал, потом поднял глаза.

— Я сделаю это, — сказал он. — Я думаю, у меня есть шансы на успех. В любом случае я в лучшем положении, чем все остальные.

Затем, повернувшись к Галевскому, он добавил:

— Готовьте деньги, много денег. Я дам вам знать, когда я буду готов.

Пять членов Комитета мало спали в ту ночь. Было еще много проблем, требующих решения, но они чувствовали, что близок час, когда они отомстят за все, что они выстрадали, когда они отомстят за весь еврейский народ и покажут миру, что евреев

можно убить, но не покорить.

ГЛАВА XIV

Между тем Треблинка становилась крупным центром уничтожения евреев. Эшелоны прибывали из всех городов Польши, из Греции, Болгарии и Германии.

Чтобы поощрить усердие Ляльки, начальство пообещало ему, что все евреи Европы будут посылаться только в Треблинку. Когда Курт Франц услышал эти хорошие новости, он решил, что лагерь достоин своей миссии. Деятельность Кивы начала приносить плоды, и после казни Ланглера число побегов сократилось еще больше. По-видимому, день, когда они совсем прекратятся, был близок. Лялька поручил дело поддержания дисциплины верному Киве, а сам принялся за вторую часть программы — реорганизацию работы, которая дала бы Треблинке возможность лучше выполнять свою миссию.

Было построено десять новых газовых камер, чтобы удовлетворить все возрастающую потребность в уничтожении, доведя общее число камер до тринадцати. При старательном заполнении в одну камеру удавалось завести около двухсот евреев, что теоретически давало максимальную цифру — две тысячи шестьсот евреев каждые полчаса. Конечно, цифра была теоретической, она говорила о возможности. Действительные цифры были намного ниже, поскольку организация была далека от совершенства. Подготовка евреев, которая и так длилась слишком долго, затягивалась еще больше новым требованием отрезать волосы у женщин. Так что не техническое оснащение лагеря определяло его производительность, а организация работы.

Лялька принялся решать проблему в корне. Эшелоны из шестидесяти вагонов останавливались в нескольких сотнях метров от Треблинки, где их разделяли на три части по двадцать вагонов в каждой. Конечно, было проще отправить весь эшелон в лагерь, но платформа была недостаточно длинной, и если бы все шесть тысяч депортированных (все сто процентов) одновременно вышли из вагонов, это могло вызвать суматоху, беспорядки, нежелательные инциденты. По этой причине Исполнители не считали необходимым удлинять платформу, хотя это не доставило бы особых трудностей, и предпочитали систему последовательной разгрузки. При такой системе не возникало толпы, но значительно снижалась производительность, каждая плохо организованная выгрузка приводила к неприятным сценам — неопределенности и суматохе среди депортируемых, которые не знали, куда их привезли, и которых иногда охватывала паника

Так что первой проблемой было сохранить им хотя бы минимум надежды. У Ляльки было много недостатков, но его нельзя было обвинить в отсутствии творческого воображения.

После нескольких дней наблюдения его осенила идея о переделке платформы, куда прибывали заключенные, в подобие железнодорожной станции. На уровне вагонных дверей сделали настил, придававший видимость железнодорожной платформы и облегчавший выход из вагонов. Платформу огородили рядом бараков, в которых были сложены штабелями тюки, приготовленные к отправке. Эти бараки, которые открывались на сортировочную площадь, образовывали вдоль платформы длинную деревянную стену. На ней Лялька велел сделать имитацию окон и дверей, окрашенных в приятные цвета. Окна были украшены веселенькими занавесками и обрамлены зелеными портьерами, но это было такой же фальшью, как и все остальное. На каждой двери было свое наименование, выполненное по трафарету на уровне глаз: «Начальник станции», «Туалет», «Лазарет» (на этой двери был нарисован красный крест). Лялькина забота о деталях была настолько серьезной, что он заставил своих людей нарисовать две двери, ведущие в залы ожидания первого и второго класса. Билетное окно, на котором висела табличка «Закрыто», было маленьким шедевром, так как имело выступ для создания кажущейся перспективы и тщательно нарисованную решетку. Рядом с билетным окном большое расписание объявляло об отправлении поездов на Варшаву, Белосток, Волковыск и т.д. Слева от бараков в колючей проволоке были установлены две калитки. Первая, которая вела в «госпиталь», имела деревянную стрелку с надписью «Волковыск». Вторая, которая вела к месту, где евреи раздевались, имела стрелку «Белосток». Лялька велел также разбить несколько цветочных клумб, которые придавали всей зоне приятный и живой вид.

Когда все было закончено, Лялька пришел проверить. Окна выглядели более реальными, чем настоящие окна, с десяти метров было не отличить. Стрелки бросались в глаза и были успокаивающими. Цветы, которые были настоящими, придавали всему месту схожесть с уютной станцией в маленьком провинциальном городке. Все было прекрасно, и все-таки чего-то еще не хватало, небольшой детали, маленького штриха, который придал бы всему такой оттенок достоверности, который невозможно придумать. Лялька чувствовал, что он что-то пропустил, но не мог понять, что именно. Он провел все утро на платформе, и в полдень, когда шел в столовую на второй завтрак, он был озабочен, задумчив и занят этой мыслью. Вдохновение пришло за чашкой кофе.

— Часы! — сказал он вдруг, хлопнув себя по лбу. — Конечно, это они! Станция без часов — это не станция.

Тут же, при других немцах, которые ничего не понимали, он послал за плотниками. Он объяснил им, чего он хотел: часовой циферблат со стрелками, нарисованный на деревянном цилиндре семьдесят сантиметров диаметром и двадцать сантиметров

толщиной. Когда он уже хотел отпустить их, один из плотников спросил:

— А какое время будет в Треблинке?

Лялька сразу не понял, а плотник переспросил:

— Какое время должны указывать стрелки на циферблате?

— Три часа, — сказал он.

Унтерштурмфюрер СС Курт Франц в Треблинке остановил время.

Надежда — это прекрасно, но дисциплина — лучше. Лялька принял множество других мер, чтобы ускорить выгрузку пассажиров смерти. Голубая команда была разделена на двадцать групп, каждая на вагон. Их работой было вежливо, но твердо вывести евреев из вагонов и подмести там пол ровно за пять минут.

Когда все было готово, Лялька возвращался и смотрел, хорошо ли выполнено его распоряжение.

Устное предание Треблинки сохранило память об одном эпизоде, который, без сомнения, был одним из наиболее трагических и наиболее полно раскрывающих суть этого мира лжи и смерти. Зимой 1943 года в Треблинку прибывали последние немецкие евреи, бывшие герои или кавалеры Железного Креста первой мировой войны. Даже еще больше, чем польские евреи, они отказывались понять реальность уничтожения. По этому поводу Рингельблюм заметил в своем журнале, что первые депортируемые из Варшавского гетто называли Гитлера «*Unser Führer*» — наш фюрер. Эта ужасная слепота продолжалась до самого порога газовых камер. Все это выглядело так, как если бы нацисты в последнем жесте благодарности хотели сделать обстоятельства их смерти отличными от других евреев. Так, наиболее заслуженные немецкие евреи привозились в Треблинку не в вагонах для скота, а в пассажирских поездах со спальными вагонами и вагонами-ресторанами. Умереть все должны были одинаково, но одних гнали на смерть как животных, а других как граждан среднего класса со всей положенной предупредительностью — такова была эта безумная система. Поезд катился долго через поля и леса, сначала по главным путям, потом по запасным. Постепенно между рельсами появлялась трава. Но никто не беспокоился. Фюрер сказал, что им предстоит освоить большие пространства на Востоке. Но поезд катился все более и более медленно, пока, громыхнув от одного конца до другого, не остановился на этой странной станции, где рельсы исчезали в куче песка. Через окна вагона пассажиры видели очаровательную маленькую станцию. Несколько эсэсовцев и украинских охранников в форме, казалось, находились здесь на службе. Пока ничего тревожного. Евреи уверенно выходили из вагонов. Но не совсем: люди из голубых команд, которые забирали их багаж пока они сходили с поезда, имели странный вид — настоящие висельники, а не носильщики.

К счастью, у каждого был свой номер. Так что последним рефлексом цивилизованного человека было скромно вытащить кусочек бумаги и записать номера своих «носильщиков».

Лялька также решил, что слишком много времени уходит на операции по раздеванию и разборке багажа. Для этого нужно было рационализировать различные этапы операции, организовать раздевание как конвейер. Но ритм этого конвейера постоянно нарушался больными, старыми и ранеными, неспособными действовать так же быстро, как остальные. Это угрожало затянуть операцию и сделать ее еще медленнее, чем раньше. Проблема эта возникла перед Лялькой как раз тогда, когда он обдумывал свою идею об имитации узловой станции. Тогда он решил сортировать жертвы. Независимо от пола, лица от 10 лет и старше, не имеющие серьезных ранений или других признаков явно выраженной ущербности, а также дети до 10 лет, но не более чем по двое на одного взрослого, считались группой, способной быстро пройти полный цикл «Обработки». Жертвы, которые не соответствовали нормам, должны были препровождаться в «госпиталь» членами голубых команд и передаваться украинцам для «специальной обработки». Вокруг рва «госпиталя» была поставлена скамья, так что жертвы обычно сами падали вниз после того как получали пулю в затылок. Эта скамья использовалась только тогда, когда Курлянд бывал перегружен работой. Дверь на платформе, через которую проходили эти жертвы, была увенчана стрелкой «Волковыск». На дьявольском языке Треблинки «Волковыск» означал пулю в затылок или инъекцию. «Белосток» означал газовую камеру.

Около двери «Белосток» стоял высокий еврей, обязанностью которого было беспрерывно кричать: «Большие тюки сюда! Большие тюки сюда!» У него было прозвище «Великий упаковщик». Как только жертвы уходили, Великий упаковщик и его люди из красной команды бегом тащили тюки на сортировочную площадь, где багаж сразу же поступал в ведение сортировочных команд.

Как только жертвы проходили через двери, поступал приказ: «Женщины налево, мужчины направо». Так как этот момент обычно приводил к болезненным сценам, то чтобы сократить время прощания, Лялька в этом месте удвоил число украинских охранников.

Пока женщин отводили к баракам по левой стороне, чтобы они раздевались и шли к парикмахеру, мужчины, выстроенные в две шеренги, медленно входили в конвейер, вырабатывающий «продукцию». Этот конвейер включал пять станций. На каждой из них группа «красных» выкрикивала во всю мощь своих легких наименование того предмета одежды, которую им было поручено забирать. На первой станции жертвы снимали свои пальто и шапки. На второй — пиджаки, а взамен они получали веревку. На третьей они садились, снимали обувь и связывали ее

веревкой, которую только что получили — если не связать обувь сразу, ее бы потом пришлось выбросить, из-за невозможности разобрать по парам, так как за день набиралось до пятнадцати тысяч пар. На четвертой станции жертвы оставляли брюки и на пятой — рубашку и нижнее белье.

После того как на конвейере с них все было содрано, мужчин отводили в бараки на правой стороне и запирали там, пока женщины проходили процедуры. Однако небольшое количество наиболее здоровых мужчин выводили через двери, чтобы они отнесли одежду на сортировочную площадку. Они должны были бежать голыми между двумя рядами украинских охранников. Ни разу не остановившись, они бросали свой тюк в кучи и, повернувшись, бежали назад за следующим.

Тем временем женщин отводили к баракам слева. Эти бараки были разделены на две части: комнаты для раздевания и «салон красоты». «Положите вашу одежду в кучку так, чтобы вы могли найти ее после душа», — требовали от них в первой комнате. «Салон красоты» был комнатой с шестью скамейками, на каждую из которых можно было посадить двадцать женщин. За каждой скамейкой двадцать заключенных из красной команды, одетых в белые халаты и вооруженных ножницами, стояли смирно, пока женщины усаживались. В свободные промежутки между своей работой они сами садились на скамейки и под управлением капо, который превращался в дирижера, должны были распевать старые еврейские песни.

Лялька, который настаивал на личной ответственности за каждую деталь, усовершенствовал то, что он называл «Треблинским образованием». Пятью хорошо поставленными движениями ножниц вся копна волос перемещалась в мешок, поставленный для этой цели около каждого «парикмахера». Это было просто и эффективно. Сколько драм видел этот «салон красоты»! От красивой молодой женщины, которая расплакалась, увидев какой она стала безобразной, до матери, которая выхватила ножницы у одного из парикмахеров и буквально отрезала руку украинцу. От сестры, которая в парикмахере узнала брата, до молодой девушки Рут Дорфман, которая внезапно все поняв и сдерживая слезы, спросила, трудно ли это — умирать и призналась, что хотела бы, чтобы все скорее кончилось.

Обезображенные женщины в две шеренги покидали «салон красоты». Сразу за дверями они должны были становиться в позы, специально предписанные Лялькой, чтобы можно было обыскать интимные места. До этого момента сомнения еще оставались. Конечно, внимательный взгляд мог заметить, что часы деревянные, и что страшный запах был запахом гниющих тел. Тысячи деталей показывали, что Треблинка не была транзитным лагерем, и некоторые понимали это, но большинство верило в невозможное до последнего. Двери бараков, которые

открывались прямо на «дорогу к небесам», были поворотным пунктом. До сих пор узникам оставляли надежду, но здесь от этой попытки отказывались.

Это было одно из важнейших Лялькиных нововведений. После какого момента больше не следовало обманывать жертвы? Эта деталь была предметом очень серьезных споров среди Исполнителей. На Нюренбергском процессе комендант Освенцима Рудольф Гесс критиковал Треблинку, где, как он считал, заключенные знали, что их ведут убивать. Он был сторонником выдачи полотенец у дверей газовых камер. Он утверждал, что его система не только исключала беспорядки, но и была более гуманной, чем он гордился. Но не Гесс изобрел эту «технику полотенец», она была во всех руководствах и применялась также в Треблинке до большой Лялькиной реформы.

Лялькины размышления привели его к тому, что можно было бы назвать «принципом отсекания». Его рассуждения были простыми: поскольку рано или поздно жертвы должны были понять, что их убьют, то откладывать этот момент было бы фальшивой гуманностью. Принцип «чем позже, тем лучше» здесь не применялся. Серьезно заняться изучением этой проблемы Ляльку заставило одно, сделанное совершенно случайно, наблюдение: люди, у которых сбилось дыхание, умирают гораздо быстрее, чем остальные. Это открытие заставило его начисто отбросить применявшиеся раньше принципы. Давайте проследим его логику индустриалиста. Запыхавшаяся жертва умирает быстрее. Следовательно, экономия времени. Лучший способ вызвать отдышку — заставить человека бежать — еще одна экономия времени. Возникал новый вопрос: с какого момента следует заставлять жертву бежать и этим создавать панику — дополнительную помощь в нарушении дыхания? Ответ напрашивался сам собой: как только не нужно заставлять ее что-то делать. Франц определил эту точку — точку, от которой нет возврата: двери бараков.

Остальное было только делом разработки деталей. Вдоль «дороги к небесам» и перед газовыми камерами он установил цепь охранников, вооруженных кнутами, чьей функцией было заставить заключенных бежать, заставить их стремиться в газовые камеры добровольно, в поисках убежища. Можно сказать, что эта система более смелая, чем классическая, но можно и увидеть опасность, которую она содержит. Вдруг, предавшись отчаянию, понимая, что им нечего больше терять, жертвы могли наброситься на охрану. Лялька сознавал этот риск, но он утверждал, что все зависит от темпа. «Это точная работа, — говорил он, — но если сохранять очень быстрый темп и не допускать ни единого момента колебания, метод абсолютно безопасен».

Кое-что еще следовало доработать. Но уже с первого дня Лялька мог гордиться своим новаторством: теперь убийство

целого эшелона занимало не более 45 минут. Именно столько времени требовалось жертвам, чтобы пройти свой последний путь от момента, когда снимался болт на дверях вагона для скота, до момента, когда открывались двери внутренних помещений газовых камер, чтобы вытащить оттуда тела. Три четверти часа от двери до двери в сравнении с часом и четвертью, а иногда даже около двух часов, как это было при старой системе. Это был рекорд.

Одну из новых деталей интересно отметить особо, так как она показывает, как руководило Лялькой желание усовершенствования. Иногда бывало невозможно из прибывших в одной группе вагонов образовать одну удобную для быстрого уничтожения партию. Хотя обычно в вагонах было по сто голов, но иногда в них находилось и до ста пятидесяти, а сто пятьдесят евреев, умноженные на двадцать вагонов, составляли уже три тысячи жертв.

Тринадцать газовых камер по двести мест каждая давали две тысячи шестьсот мест, четыреста оставалось. При старой системе, когда оборот был медленным, требовалось дополнительное время, чтобы этот излишек в четыреста голов пропустить новой партией. Исключительная машинная точность, произведенная Лялькиными реформами, максимально ускоряла кругооборот: как только газовые камеры после опустошения вымывались гашеной известью, они снова немедленно заполнялись. «Излишек», однако, по-прежнему приходилось присоединять к следующему эшелону. Эти люди в процессе ожидания восстанавливали свое дыхание и умирали значительно медленнее остальных. Появлялась необходимость держать всех в камере дольше или «добивать» их после того, как их вытаскивали наружу. В обоих случаях это представляло потерю времени. Чтобы устранить это неудобство Лялька разработал ряд упражнений — танцы, прыжки и т. п., которые должны были выполнять все жертвы, ожидающие следующей загрузки.

Но давайте вернемся к мужчинам. Расписание было разработано так, чтобы к тому времени, когда последняя женщина появлялась из левых бараков, вся одежда была перенесена на сортировочную площадь. Мужчин сразу же выводили из правых бараков и гнали вслед за женщинами на «дорогу к небесам», куда они попадали по отдельной боковой дорожке. Поскольку у самых сильных дыхание уже сбивалось, пока таскали одежду, то к тому моменту, когда они добирались до газовых камер, они задыхались так же, как и самые слабые. Все умирали дружно — для полного удовлетворения великого Исполнителя Курта Франца, передовика истребления.

Поскольку цепочка из двадцати вагонов прибывала на платформу каждые полчаса, Лялькина система сделала возможным заканчивать процесс обработки двенадцати поездов по двадцать

вагонов в каждом — четыре эшелона или двадцать четыре тысячи человек — за время от семи утра до четверти второго дня.

Остаток дня посвящался сортировке одежды в Лагере Номер Один и избавлению от тел в Лагере Номер Два.

После того как тела убирали из газовых камер, заключенные переносили их на устройстве, похожем на носилки, в огромные рвы, где для экономии пространства их аккуратно складывали горизонтальными рядами, чередуя с рядами песка. В этой области Лялька тоже произвел массу улучшений.

До большой реформы «дантисты» вытаскивали золотые зубы и мосты из трупов, ползая по огромным грудам тел, которые накапливались за утро перед дверями бункеров газовых камер. Это было неэффективно. Поэтому Ляльке пришла мысль поставить ряд «дантистов» на пути от газовых камер до рвов, установив, таким образом, своеобразный золотой фильтр. Проходя мимо «дантистов», носильщики тел, не опуская носилок, замедляли движение настолько, чтобы «дантист» мог открыть рот и вытащить то, что было нужно. Для опытного «дантиста» операция никогда не занимала более одной минуты. Он клал свою добычу в корзину, которую другой заключенный время от времени приходил опорожнять. После того как все находки промывались в колодце, их приносили в бараки, где другие «дантисты» сортировали их, чистили и классифицировали.

Тем временем носильщики тел возобновляли свой бег ко рву (все перемещения с одного конца до другого делались бегом). Тут Лялька произвел другое усовершенствование. Раньше носильщики спускались вниз и укладывали тела сами. Лялька, помешанный на специализации, создал команду укладчиков тел, которая постоянно находилась на дне рва. Теперь, когда носильщики тел спускались в ров, они просто опытным движением опрокидывали свой груз и нижним маршрутом, как на гимнастическом стадионе, возвращались к бункерам газовой камеры, чтобы не мешать тем, кто шел с грузом по верхнему маршруту. Когда уборка трупов из газовых камер заканчивалось, что обычно бывало между двенадцатью и часом дня, бункерная команда, работавшая на этом участке, присоединялась к команде носильщиков. Процесс захоронения продолжался весь день и заканчивался иногда даже ночью. Лялька ввел правило, по которому никто не смел идти спать, пока последний труп не был положен на свое место.

В Лагере Номер Один день посвящался сортировке. Здесь тоже была введена новая технология. Вся одежда и все принадлежности должны были быть проверены, и любые признаки, указывающие на то, что эта одежда принадлежала евреям, должны были быть удалены. Кроме того, вдохновленный примером индустрии, Лялька приказал, чтобы работник подписывал на сделанной им связке одежды свой регистрационный номер. Эта мера была предназначена для того, чтобы в случае необходимости

немедленно обнаружить, кто сделал не совсем аккуратную связку. На следующий день по совету «короля дисциплины» Кивы, Курт Франц открывал наугад связку, делал вид, что обнаруживал преступника, собирал всех узников и вешал несчастного. Вся процедура занимала 15 минут и представляла последний штрих в реорганизации работы.

Затем Лялька вернулся к проблемам дисциплины. Одна забота не оставляла его: побеги, хотя и значительно сократившиеся, все еще продолжались.

— Они все еще утекают помаленьку, — сказал ему Кива.

Это было непереносимо. Необходимо было раз и навсегда положить конец этому безобразию. Лялька был поставлен перед жестким выбором: или убить всех заключенных и этим разрушить их таинственную организацию или усилить бдительность, организовать систематические обыски, создать такой климат напряженности, чтобы узники больше не осмеливались мечтать о побеге. Выбор был чисто теоретический, Лялька сделал его в первый же день: он решил принять все необходимые меры, чтобы сделать лагерь герметичным.

Это было на следующий день после того, как доктор Хоронжицкий сказал Галевскому, что ему удалось, наконец, напасть на такого украинца, который согласился достать оружие.

Комитет собрался сразу же.

ГЛАВА XV

Хоф-юден почувствовали важность этой встречи и в бараках никто не разговаривал. Все лежали на своих койках с открытыми глазами, глядя поверх деревянных стен, за лагерь, даже за само время, глядя в одну точку, где все воспоминания сглаживались, в точку выше жизни и смерти, выше собственной личности. Это была точка, где контуры смещались, последовательно образуя очертания дома, праздника, лица, зимнего дня, солнца. Евреи смотрели на надежду — надежда жить, надежда умереть, надежда уйти — все это было забытым. Какая могла быть надежда у этих уже мертвых людей? Для них все стало абсурдным с того дня, когда их привезли в Треблинку. И еще — это стало совершенно нормальным: однажды приехали грузовики. Людей вытаскивали из домов, которые были домами их родителей и дедов. Они хорошо знали их, эти дома, каждый их уголок и каждую трещину, они тысячи раз проходили через их порог. Теперь они прошли через него в последний раз, но они не знали этого и обратили на это внимания не больше, чем обычно. На деревенской улице ожидал ряд грузовиков. Улица была пустынной и двери домов закрыты. Забирали евреев и это никого не беспокоило. Когда наступала ночь, они перестали узнавать дорогу. И, несомненно, именно в этот момент они перестали принадлежать миру. Они

исчезли. Мертвые или живые, они были уже в другом мире — мире, который был похож на настоящий, но в котором все ценности были перевернуты, где смерть заняла место жизни.

Построенный, организованный, разбитый на классы, упорядоченный наподобие внешнего мира, мир Треблинки становился его отрицанием, тенью, отражением, проекцией. «Я был на краю колодца, — говорит уцелевший, — где небо было на дне».

В самом темном углу барака четыре человека слушали пятого.

— Что любопытно, — говорил Хоронжицкий. — Вначале украинец не стал доверять мне! Да, в каком-то смысле он испугался меня. Он, должно быть, подумал, что я «овечка». Каждый раз, когда я подходил к нему, я видел, как его лицо замыкалось, как будто он чего-то боялся. Но, наконец, мы начали болтать, и мало-помалу я стал понимать, что он не подходит для работы убийцы. Он, конечно, антисемит, но он не понимает, почему немцы убивают евреев. В его глазах мы часть мирового баланса злых сил. Однажды он сказал мне: «Это выглядит, как если бы кто-то захотел засыпать долины, потому что не любит горы». Я не понял, что он имеет в виду. «И что?» — спросил я его. «Но тогда не стало бы больше гор».

На другой день, когда мы стали более близки, он объяснил, что по его мнению, дело идет к концу. Это как старая пасхальная притча, где бык выпил воду, которой заливали огонь, который сжег палку, которой били кошку, которая... Ну, вы знаете. Так вот, по его мнению, а я думаю, что он прав, когда мы закончим помогать им убивать евреев, украинцы убьют оставшихся евреев, потом украинцев убьют лагерные эсэсовцы, а те, в свою очередь будут убиты суперэсэсовцами. Так, чтобы не осталось ни одного свидетеля.

— А тела? — вдруг спросил Галевский.

— Я спросил его об этом. Он ответил, что их сожгут и никто никогда не найдет их.

Курлянд вскинулся, как будто хотел что-то сказать. Все повернулись к нему.

— Вы знаете, сколько тел уже есть? — спросил он. Никто не знал.

— По моим подсчетам, уже более пятисот тысяч. Нельзя избавиться от пятисот тысяч тел так, чтобы их невозможно было обнаружить.

Цифра потрясла каждого.

— Это невозможно, — прошептал Зальцберг. — Пятьсот тысяч там, на таком маленьком участке земли. Это ужасно.

— Это могила всего еврейского народа, — сказал Курлянд.

Все замолчали, как бы склоняя головы перед памятью мертвых. Галевский был первым, кто вышел из болезненного оцепенения.

— Мы должны любой ценой добиться успеха, — сказал он медленно. Затем, повернувшись к Хоронжицкому, попросил его продолжать.

— И когда украинец высказал мне свои мысли о конце лагеря, я решил бросить свои карты на стол. Я сказал ему, что в Треблинке готовится восстание. Он удивился больше, чем если бы узнал, что умер Гитлер. Сквозь удивление, которое можно было прочесть на его лице, сверкало восхищение. Но он сразу же ответил, что у нас нет никаких шансов, что это безумие и что он не хотел бы быть вовлеченным в это дело. Его удивление открывало путь страху и в первый момент я испугался, что он побежит к немцам и все им расскажет. Я думаю, что украинцы боятся их больше, чем мы. Было бесполезно говорить ему о деньгах. Он так испугался, что все золото мира не заставило бы его изменить свое мнение.

— Я решил попытаться убедить его, что у нас хорошие шансы на успех. Я рассказал ему об Адольфе и его ударных группах. Я описал решимость всех заключенных. Я изобрел совершенный план. Я говорил так убедительно, как будто для меня не существовало сомнений в исходе. Когда я увидел, что он начал слушать с интересом, я вдруг сказал, что так или иначе у нас есть другие пути, чтобы достать оружие, и если он отказывается, тем хуже для него. Не только потому, что он не получит денег, но и потому, что он рискует быть убитым во время восстания, а так он мог бы оказаться под нашей защитой. Даже если бы я был самим дьяволом, бедняга не посмотрел бы на меня иначе. На его глазах раб превратился в хозяина, великого распорядителя жизни и смерти. Я, бедный еврей, собирался решать, кому погибнуть, а кому уцелеть. Зная, что в его глазах моя жизнь не имеет ни малейшей ценности, я наслаждался угрозой лишить его моей защиты. Это было так невообразимо, что он задрожал. Вы знаете, антисемиты приписывают нам волшебные силы. Ах, если бы вы были правы! — перебил Галевский.

— Кто знает? — сказал Монек. — Если мы победим, это будет настоящее чудо. Все замолчали, чтобы дать Хоронжицкому закончить свой рассказ.

— Поскольку он никогда не понимал, как евреи разрешают убивать себя, украинец полностью готов был поверить, не вдаваясь в подробности, что евреи собираются из жертв стать мстителями. Оставалось только договориться о цене. Это был единственный пункт, который не представлял проблем, но, чтобы продолжить игру, я поторговался. Мы сошлись на цене по пятьсот золотых долларов за пистолет и гранату и по две тысячи за автомат, но он не уверен, что сможет внести автоматы в лагерь.

— Пятьсот золотых долларов за пистолет, — пробормотал Курлянд задумчиво.

— Это действительно сумасшедший мир.

— То же самое сказал я себе, когда торговался с ним. Но мы здесь богаче Польского банка. Будем считать, что он пытался продать мне банку консервированного лука за два злотых, а я соглашался только за полтора. Я должен сделать ему три платежа по пять тысяч долларов. Он начнет приносить оружие после первого платежа. Я настаивал на том, чтобы он приносил как можно больше гранат.

Хоронжицкий закончил. Последнее предложение он произнес тоном, который подразумевал: «Миссия завершена». Остальные четверо смотрели на него со смешанным выражением благодарности и восхищения.

— Это очень хорошо, прекрасно, благодарю вас, — медленно сказал Галевский.

— Боевые группы готовы, оружие скоро будет, восстание состоится.

— Да, кажется, скоро мы будем свободны, — сказал Монек.

Даже когда они активно занимались подготовкой восстания, в глубине души у них оставалось сомнение, смутное чувство невозможности, такое ощущение, будто они перешли предел, за которым нет возврата, и любая попытка, которую они предпримут, потерпит неудачу, ведь над ними нависло проклятие. И теперь вдруг восстание оказывалось здесь, перед их глазами. Через несколько дней они начнут получать оружие. Через две недели, максимум через месяц, они бросятся в атаку на лагерь, убьют своих мучителей и убегут в леса. Через месяц жизнь начнется снова, стрелки на часах будут снова двигаться, время будет снова делиться на часы, недели, месяцы, годы. Снова они будут надеяться, строить планы, снова они будут жить. Множество планов на будущее промелькнуло в их сознании, оставляя в мозгу неуловимые следы.

— Хорошо! — сказал Галевский, как бы возвращаясь к действительности. — Деньги вы получите завтра утром. Завтра же я встречусь с Адольфом, чтобы разработать детали нападения. Он говорил, что это не его дело, но я думаю, что у него есть кое-какие мысли.

Галевский уже предупредил хоф-юден, что ему нужны будут деньги для большого дела. Поэтому когда он попросил у банкира Александера пять тысяч долларов, чтобы дать их Хоронжицкому, тот не был удивлен.

Александер был одним из влиятельных банкиров довоенной Варшавы. Он был одним из тех, кого обычно называют денежным евреем. У него были манеры и вкусы мецената. Роскошное существование, путешествия, развлечения — жизнь принесла ему все. За несколько поколений его семья поднялась от нищеты гетто до вершин благополучия. Они были семьей хасидов, полностью занятых изучением Торы. Казалось, ничто не могло изменить этой древней, загадочной бедности, в которой они жили. Все блага

мира были для них ничем, кроме щедрой принцессы Шаббат. «Когда приходит Шаббат, — говорил уважаемый ребе, — каждый еврей — король в Израиле». И из века в век семья Александеров предпочитала это еженедельное королевство всем богатствам мира. Кто берет в голову удары, насмешки, грязные улицы, зимний холод или голод, когда в пятницу вечером, с первой звездой, появляющейся на небе, каждый соломенный домишко в гетто, как в волшебной сказке, превращается во дворец. Чтобы достойно встретить принцессу, единственную комнату скребли весь день, даже темные щели. Стол покрывали безукоризненной скатертью, такой белой, что она, казалось, отражала веселое пламя свечей, которые по традиции зажигала мать. Серебряные подсвечники, единственное семейное достояние, сверкали любовью, которую мать, хранительница домашнего очага, вкладывала в их чистку и полировку. Она полировала их снова и снова в честь королевской гостьи. Когда день клонился к закату, вся семья умывалась и надевала праздничную одежду: рубашки, белые как та скатерть и кафтаны из черного шелка. Все почести мира не могли принести столько радости, сколько чувствовали они, когда отец начинал читать первую молитву. В этот момент королевство Б-га опускалось на землю. Не было больше бедных, не было слабых, не было угнетенных. Каждый еврей был королем.

Но однажды Александер впал в ересь. Из-за недостатка то ли образования, то ли характера он перевел свою любовь к Б-гу, которой его учили в любовь к деньгам. Поскольку эта любовь была очень сильна в семье Александеров, блудный сын оставил целое состояние.

Богатство в семье Александеров длилось столетие. Потом, когда немцы пришли в Варшаву, ошибка судьбы была исправлена. Вначале было гетто, потом лагерь смерти. Как если бы столетия богатства не существовало, банкир Александер снова стал евреем Александером, презренным ничтожеством, а затем из-за своей профессии — хоф-юден. Это он доставал деньги для побега Шокена и Берлинера. Потом он установил контакты с Курляндом, который для своей хроники просил его оценивать суммы, направляемые в Берлин. Так он автоматически стал членом организации с двойной ролью — как банкир Комитета и финансовый советник Курлянда.

В десять часов утра Вильденштейн, один из людей Адольфа, пришел на назначенное место получить деньги. Он не знал того хоф-юден, который должен был их принести, но тот знал его по внешнему виду. Насколько серьезным было полученное им задание, он понял из того, что помимо инструкций он получил еще и маленькую ампулу яда. Он не должен был рисковать, и проглотить яд при малейшем подозрении. Хотя Галевский еще препятствовал самоубийствам по некоторым моральным соображениям, тем же, по которым он отказывался запретить

побеги, но в этом случае он понимал необходимость сжигания за собой всех мостов. Люди, которым Комитет доверял особые поручения, получали дозу яда, чтобы обрезать любую попытку расследования.

Вильденштейн сунул мешочек с золотыми монетами за пазуху и быстро огляделся. Голд-юден уже исчез. Лазарет был примерно в ста метрах на другой стороне центральной дороги лагеря, на краю немецкой части. На дороге никого не было, и Вильденштейн предпочел бы немного подождать, пока не появятся хотя бы несколько хоф-юден, но еще больше он опасался, что золото найдут при нем. Теоретически район возле лазарета не был запретным, но всегда было опасно находиться без работы. Несколько секунд он колебался. Потом вдруг, как человек, бросающийся в воду, пошел по дороге. С опущенной в знак унижения головой, быстрыми шагами, чтобы создать впечатление, будто он торопится куда-то на работу, он пошел в сторону лазарета. Он шел, не оборачиваясь, не отрывая от лазарета глаз, и вдруг в двух метрах от себя заметил метлу, сделанную из веток. Не останавливаясь, он подхватил ее и пошел дальше более уверенно.

Доктор Хоронжицкий встал, когда услышал, как он вошел. Он был один и казался взволнованным. Взяв мешок из рук Вильденштейна, он сказал:

— Уходите быстрей, кажется, за мной следят. — Вильденштейн сказал, что не заметил ничего особенного. — Может быть, вы и правы, и мне только мерещится, — пробормотал доктор нетвердым голосом. Он посмотрел вокруг, куда бы спрятать мешок. Видя, как он колеблется, Вильденштейн показал на его плащ, который висел на гвозде на стене.

— Да, правильно, это хорошая мысль. — Доктор говорил неуверенно, как будто потерял над собой контроль. Вильденштейн должен был повторить это несколько раз. Потом он открыл дверь, чтобы посмотреть, нет ли кого поблизости, и собрался уходить. Проходя мимо, он внимательно взглянул на Хоронжицкого.

— Не беспокойтесь, — сказал тот, понимая, о чем думал Вильденштейн. — Вы можете на меня положиться.

Вильденштейн увидел Ляльку, уже выходя на дорогу. Немец еще не заметил его и Вильденштейн начал яростно подметать дорожку к лазарету. В своей безукоризненной черной форме, фуражка слегка сдвинута набок, сапоги сверкают, Лялька двигался легкой пружинистой походкой спортсмена, находящегося в отличной форме. Время от времени он разрубал воздух своей неизменной палкой. У каждого человека есть своя стихия, в которой он себя чувствует привольно, в которой он приобретает новые измерения. Стихией Курта Франца была Треблинка. Когда он одевал свой гражданский костюм, чтобы ехать в отпуск в свой прекрасный немецкий городок, он сразу же превращался

в обычного немца — одного из миллионов. Высокий блондин, усталый, с пустыми глазами и тупым взглядом, одетый в костюм из синтетического материала, с зеленой шляпой, господин Франц не производил впечатления. Тусклый и скромный, он снова занимал свое обычное место в жизни. Но когда унтерштурмфюрер Курт Франц возвращался в Треблинку, свое королевство на сторожевой заставе Рейха, он снова становился Лялькой, Принцем Смерти. Его королевство было маленьким, около двадцати гектаров внутри колючей проволоки, но зато его подданные были неисчислимы. Он имел над ними абсолютную власть, единственной границей которой была жизнь, как и полагается Принцу Смерти. И когда он прогуливался по дорожке своего королевства с фуражкой набок, в начищенных ботинках, в безукоризненной форме, что-то ломалось в сердцах заключенных.

Лялька прошел мимо Вальденштейна, не заметив его, и прежде чем тот мог предупредить доктора Хоронжицкого, вошел в лазарет. Через окно барака Вильденштейн видел как доктор вспрыгнул, когда дверь открылась. Окно было закрыто из-за холода, и Вильденштейн мог только видеть, как две фигуры стояли друг перед другом, но не мог слышать, о чем они говорили. В какой-то момент доктор повернулся к окну и наклонился над стоявшим рядом столом. А Лялька прошел в глубину комнаты и исчез из вида. Вальденштейн интуитивно, опасаясь беды, оставался стоять там же и увидел, как немец подошел к плащу. Лялька стоял боком и улыбался. Доктор не двигался и не отрывал глаз от того места слева от окна, где, как помнил Вальденштейн, висело зеркало.

Вдруг Лялька поднял правую руку к плащу. В тот же момент Хоронжицкий повернулся и буквально прыгнул в направлении немца. Вильденштейн увидел, как оба они упали и через стены барака услышал какие-то глухие звуки. Он хотел бежать, но ужас, смешанный с любопытством, заставил его остаться на месте. Лялька, который был физически намного сильнее доктора, не давал Хоронжицкому двинуться, чтобы помешать ему принять яд. Необходимо было предупредить Галевского. Все должны знать, что доктора схватили живым. Теперь каждый должен был быть готов принять яд, если они хотели спасти то, что можно было спасти.

Пока эти мысли проносились в его голове, Вильденштейн сжимал в своем кармане маленькую бутылочку, которую дал ему Галевский. Касание стекла внезапно успокоило его. Все было кончено: и надежда, и борьба, и ужас. Он чувствовал себя очень спокойно. Смерть не пугала его, наоборот, смерть, которую он держал у себя в кулаке, имела даже что-то утешающее. Он должен был сделать только одно движение и после этого уже никто ничего не сможет ему сделать. Когда дверь барака распахнулась как от взрыва, Вальденштейн быстро вытащил свою бутылочку.

Первым показался доктор. Лялька без фуражки, с разорванным кителем выскочил на секунду позже. Он вытащил пистолет и прицелился. «Боже, сделай так, чтобы Лялька убил его», — подумал Вильденштейн. Но Хоронжицкий уже вытащил ампулу с ядом из кармана и пытался открыть ее, пока бежал. Раздался выстрел. Доктор споткнулся и, остановившись на мгновение, упал. Лялька помчался к нему, но доктор уже достал рукой до рта. Его тело напряглось и замерло. Когда Лялька добежал до него, Вильденштейн увидел окровавленный рот доктора с кусочками стекла на губах.

Лялька был еще достаточно спокоен, когда Хоронжицкий внезапно выскочил из барака. Вначале он решил, что доктор сошел с ума, и вытащил пистолет, чтобы убить его как добивают раненую лошадь или бешеную собаку. Но когда он увидел жест доктора, то понял, что дело может быть более сложным, чем оно показалось вначале. Если человек при таких обстоятельствах кончает с собой, значит ему есть, что скрывать. Когда доктор, будучи не в состоянии открыть ампулу с ядом, поднес ее ко рту и раздавил зубами, Лялька интуитивно почувствовал, что он пытается унести с собой в могилу какую-то тайну. У немца была хорошая реакция, и он, не теряя времени, подозвал нескольких эсэсовцев, чтобы спасти доктора. Хоронжицкий еще дышал, когда его внесли в лазарет. Вильденштейн воспользовался суматохой, чтобы ускользнуть и рассказать Адольфу обо всем, что произошло.

Пока два украинских помощника пытались промыванием желудка вернуть доктора к жизни, Курт Франц вывалил содержимое мешка на стол и внимательно исследовал его. Первое, что поразило его, было то, что все монеты были золотыми долларами. Его подозрение, что у доктора была тайна, подтвердилось. Интуиция стала уверенностью, когда он пересчитал их: ровно пять тысяч долларов. «Что бы стал делать человек с пятью тысячами в золотых монетах?» — подумал Лялька. Первой мыслью было, что доктор готовился к побегу и поэтому скопил такую сумму, чтобы выжить в лесах. Самоубийство доктора не отменяло этой гипотезы. Действительно, после примерного наказания, совершенного над неудачливым кандидатом в беглецы, было объяснимо, что доктор предпочел совершить самоубийство. Но если он хотел только убежать, почему ему нужны были ровно пять тысяч и именно в золотых монетах? Тут было что-то такое, что не имело объяснений. Почему не взять драгоценности, рубли или другие деньги? Для чего ему были эти хлопоты с поиском именно долларов? И почему круглое число? Обдумывая все это, Лялька пригрозил помощникам, что они отвечают за жизнь доктора своими собственными. Он пришел к выводу, что доктор не пытался убежать.

Если исключить гипотезу о побеге, оставалось только два

решения. Или доктор хотел подкупить кого-то, или он сошел с ума. Хотя это выглядело абсурдом, вторая гипотеза казалась Курту Францу более вероятной, чем первая. Как можно объяснить такую внезапную слепоту со стороны Исполнителей? Предположив идею подкупа, объективный исследователь должен был, по крайней мере, предположить возможность приобретения оружия. Лялька, однако, предпочел мысль, что доктор сошел с ума, что это было извечной еврейской страстью к золоту. Эта ошибка в суждениях, этот недостаток в понимании склада ума жертвы, могут показаться странными. На самом же деле это был неизбежный вывод из тех ограблений и присвоений, которые лежат в политике уничтожения. Антисемиты считали евреев низшими существами, чья трусость может равняться только их любви к деньгам. Лялька, этот мастер среди Исполнителей, ошибался, но причины его ошибок те же самые, что и причины успехов его коллег в Вильнюсе или где угодно. Это была абсолютная уверенность в неполноценности евреев, которая давала Исполнителям не только возможность достигать успеха, но и ставить политику уничтожения на первое место.

Даже придя к каким-то предположениям, Лялька не удосужился проверить их. Он торопил помощников, заставляя их вернуть доктора к жизни. Здесь в нем говорило упрямство тирана, который не мог допустить факта, что кто-то мог ему сопротивляться. Смерть узников была в его власти. Он раздавал ее с такой щедростью, что верил, будто только он был ее хозяином. И эта неподвижность трупа была для него непереносимым личным оскорблением, преступлением высшей степени.

Он велел повесить тело доктора Хоронжицкого до вечера, не желая признавать свое поражение. Когда подошло время переклички, в последнем жесте злобы и бессилия, чтобы показать, что он остается хозяином, он протащил тело перед узниками, привязал его к столбу для наказаний и приказал охраннику дать пятьдесят плетей. В этот момент заключенные подумали, что он сошел с ума.

Члены Комитета, которые с утра были готовы к смерти, начали вновь обретать надежду. Возможно, в конце концов, организация могла быть спасена.

Но Кива, будучи настоящим профессиональным тюремщиком, знал, как проводить расследования. Лялькины предположения о сумасшествии доктора не показались ему убедительными. Он был уверен, что золото для чего-то предназначалось. Вероятно, чтобы подкупить украинца. Но с какой целью? Он допросил обоих помощников, но поскольку у него не было доказательств, и ему не разрешили пытать их, он ничего не добился. Тогда он решил продолжить расследование с другого конца, с происхождения золота. Размер суммы, круглое число и тот факт, что все оно было в долларах, заставляли предполагать, что оно могло быть собрано

только голд-юден. Для того чтобы заставить их признаться, у Кивы был план.

Когда «наказание» было закончено, он отвел всех голд-юден в сторону и сказал им, что перед смертью Хоронжицкий признался, что это они дали ему это золото. Он пообещал награду любому, кто наведет его на след «воров». У Александера были большие сложности в сборе денег и все голд-юден были в какой-то степени в курсе дела, потому что они или помогали собирать деньги, или видели это, или слышали об этом. Был определенный риск, что кто-нибудь из них мог не выдержать пыток. Александер сознавал опасность, когда он увидел, как Кива вывел восемь человек из рядов. Он предусмотрительно достал из кармана ампулу с ядом. Все голд-юден знали его, а он знал Галевского.

Кива сам повел первого в «госпиталь», где он вошел в раж. Подведя его к краю рва, он предложил ему выбор: ров или яма. Первый без колебаний выбрал ров. Он упал с ужасным криком, который был отчетливо слышен на аппель-плаце. Все заключенные, собранные там, поняли и смотрели на семерых других, которые ждали, не двигаясь. Второй сделал тот же выбор, потом третий. Потом увели оставшихся пятерых. Когда прозвучали их пять страшных криков, Александер осознал, что он никогда не переживет Треблинку, потому что он никогда не сможет забыть крики этих людей, которые умерли за него, за восстание. Этих людей, которых он мог спасти ценой собственной жизни. Ему нужно было только сказать: «Это был я!», а потом сразу же принять яд. Но он должен был довести до конца доверенное ему дело. Он перестал принадлежать себе с тех пор, как восстание вернуло ему стимул к жизни. Но если Александер еще имел стимул, чтобы бороться, то стимул к тому, чтобы пережить победу, он потерял. Он пришел к такому же выводу, как и Галевский: в другом мире для него не было больше места.

Комитет собрался в тот же вечер. Все молчали. Не осмеливаясь произнести это вслух, каждый понимал, что смерть Хоронжицкого была результатом не только случайности, что ее можно было бы избежать, если бы они приняли большие предосторожности. Настойчивость доктора в запрещении побегов приобрела теперь трагический смысл. Именно в попытке бороться с ними Лялька почти раскрыл восстание. Тайна была спасена, но Хоронжицкий погиб.

Галевский не мог забыть требование Хоронжицкого запретить побеги. Он чувствовал личную ответственность за смерть первых девяти жертв и за первую неудачу. Во время агонии голд-юден он хотел сдаться сам, но это же чувство ответственности за движение не дало ему это сделать. Теперь он сомневался, хватит ли у него сил пройти через все. Эти долгие месяцы борьбы истощили его и этот провал как раз тогда, когда он считал, что они уже достигли цели, поколебал его решимость.

Нам следует запретить побеги, как он просил нас об этом, — медленно сказал Монек.

Это был не упрек, а только логическое заключение, вытекающее из этого события, но Галевский, психологически потрясенный, потерял над собой контроль.

Простите меня!, — запинаясь сказал он и заплакал.

В ночь своего первого сражения Комитет потерял восемь человек и одного члена — своего лидера.

ГЛАВА XVI

Заговорщики медленно оправлялись от своей первой неудачи, когда разразилась эпидемия тифа.

Была зима, и температура не поднимался выше нуля. Количество эшелонов, являвшихся важным источником питания, сокращалось. И, наконец, Исполнители еще сильнее ужесточили дисциплину после случая с Хоронжицким. Евреи осуждали эту попытку. Только Адольф не терял своей веры и делал все, что мог, чтобы поддержать дух своих боевых групп. Но все чувствовали, что восстание отодвинулось на срок, который нельзя было даже определить. Это было не отчаяние — то, что они ощущали, а вид летаргии, со страшной пустотой в сердце, с нескончаемой континентальной зимой, под ударами кнутов, с постоянным чувством голода, в этом мире смерти, во власти неумолимой машины, которая уничтожала людей с устрашающей регулярностью.

Новость об эпидемии распространилась мгновенно. За одну неделю заразилась половина заключенных. Потом произошло чудо: чудо отречения, чудо жизни. Эта новая угроза вместо того, чтобы загасить последнюю искорку воли к жизни в заключенных, наоборот вернула ее. . . Внезапно всякая пассивность показалась им трусостью. Тиф, смертельное заболевание, в их положении был союзником немцев. Поэтому они должны были сопротивляться ему также решительно, как и самим немцам. Перед лицом этой новой опасности «несгибаемые люди» снова подняли головы. Болезни они противопоставили ту энергию, которую не могли обратить против убийц. Врачи могут назвать эту историю невероятной, но все собранные свидетельства подтверждают ее достоверность. Недоедающие, недосыпающие, плохо одетые, постоянно избиваемые, больные шли на работу с температурой больше 41. Они не только работали, им даже удавалось избегать преследований немцев, которые, еще больше чем раньше выслеживали слабых. Высокая температура держалась от двух до трех недель и оставляла людей, задыхающимися от слабости, анемии, истощенными, но с единственным стремлением выжить, этим сильнейшим трехтысячелетним стремлением, которое сильнее болезни, сильнее смерти. Девяносто пять процентов

заключенных переболели тифом. Только половина из них была признана негодной и уничтожена Исполнителями.

Первое время евреи пытались скрыть эпидемию от немцев, сознавая, что если они о ней узнают, то еще больше усилят свою систему «естественного отбора». У врачей, конечно, не было лекарств, и они могли только советовать больным есть, как можно больше. Но в этот период эшелоны приходили редко, и ежедневная диета была такой же скудной, как всегда. Тогда началось то, что немцы назвали «спекуляцией».

Спекуляция началась, когда немцы стали препятствовать украинцам обогащаться. Поскольку украинские охранники выполняли свои обязанности отнюдь не за идею, как это делали их хозяева, они наладили контакты с голд-юден, чтобы покупать золото в обмен на продукты. Но риск настолько перевешивал положительные результаты, что бизнес оставался на низком уровне.

Когда после неудачи с восстанием разразился тиф, положение полностью изменилось. Добывание пищи стало еще более серьезной проблемой. Так как у каждого были деньги, а эпидемия распространялась очень быстро, на рынок было выброшено огромное количество золота, что вызвало резкий скачок цен. Один апельсин, который стоил 10 золотых долларов, стал стоить 100 долларов и выше, селедка поднялась до 80 долларов. Только алкоголь не поднимался. Бутылка водки продолжала оставаться где-то на уровне 50 долларов. Торговля происходила в уборной гетто в конце аппель-плаца у колючей проволоки. Один украинец обслуживал нескольких евреев. После того, как вопрос о ценах бывал решен, еврей оставлял вечером в условленном месте деньги и, теоретически, на следующее утро находил продукты. Но только теоретически, потому что из-за увеличения спроса украинцы все чаще и чаще шли на обман. Внезапное превращение рынка покупки в рынок продажи (поскольку раньше они сами просили евреев приносить деньги в обмен на продукты и алкоголь) подталкивало их к этому. Но была и другая причина этого явления: первых дельцов из украинцев, которые сохраняли профессиональную совесть, было явно недостаточно, чтобы снабжать весь лагерь, и больные заключенные обращались к кому угодно.

Инфляция продолжалась до тех пор, пока евреи не осознали, что скоро они не смогут купить ничего. Наблюдая безнаказанность своих бесчестных коллег, даже честные украинцы начинали обманывать.

Единственным путем заставить украинцев быть надежными, снизить инфляцию и регулировать рынок было искусственно снизить спрос. Но для того, чтобы снизить спрос, нужно было найти другой способ добывания продуктов, т.е. разрушить монополию украинцев. Такой метод существовал, но он был еще более рискованным. Маскировочная команда почти

каждый день выходила в лес для сбора веток, чтобы прикрывать колючую проволоку и придавать лагерю невинный вид. Двух украинцев, которые ее сопровождали, было нетрудно подкупить, но необходимо было найти способ купить товары вне лагеря и внести их на его территорию. Это, конечно, было связано с большим риском. Адольф поручил Клейнману, который был одновременно капо маскировочной команды и старшим одной из его боевых групп, изучить, что можно сделать.

Клейнман немедленно с энтузиазмом принялся за работу. Ему был двадцать один год, и он сформировался в суровой школе Хашомер-Хацаир, одного из сильнейших сионистских движений. Молодой и хорошо физически тренированный, он имел шансы убежать в лес, но решил оставаться в гетто Радома, считая, что он будет там более полезным, чем если бы он бился в одиночку. Благодаря своей силе он остался в живых после выгрузки и провел несколько дней, ничего не понимая. Когда он осознал, что происходит в Треблинке, он заплакал в первый и последний раз в своей жизни. Это был единственный раз, когда она дал слабину перед лицом горя и смятения. Он был настоящим саброй, который подобно членам Легиона, знал только одну родину — Хашомер-Хацаир. Адольф сразу понял его и доверил ему командование группой, несмотря на молодость. Клейнман стал братом Адольфа.

С помощью членов своей группы Клейман быстро навел в лесу контакты с польскими крестьянами. Они, соперничая с украинцами в любви к деньгам, охотно согласились сотрудничать. Первые находки были обнадеживающими: украинские охранники уже увеличили цены настолько, что пища обходилась заключенным в двадцать раз дороже. Клейнман чувствовал по отношению к ним ненависть даже большую, чем к эсэсовцам. Эсэсовцы были уголовными безумцами, которых нельзя было даже назвать людьми, но охранники, которые убивали и получали при этом удовольствие, были просто свиньями. Свиней можно подкупить, и скоро так и поступили с двумя охранниками. За небольшую добавочную мзду они согласились выносить деньги. Поскольку их никогда не обыскивали, они почти не рисковали. Продукты можно было проносить, спрятав в ветках. Клейнману давали деньги утром, и он приносил продукты вечером. Поскольку голд-юден были под постоянным наблюдением и не могли больше выносить деньги из бараков, где они работали, каждый сам должен был платить за то, что он получал. Адольф хотел бы сделать нечто вроде казны, но это было невозможно, поскольку единственными доступными деньгами были те, которые удавалось добывать из одежды жертв.

Система работала так некоторое время, пока о ней не прослышали доносчики. Но поскольку они получали за свои доносы только мороженую картошку, то предпочитали молчать

в обмен на то, что им давали часть принесенного.

Такая ситуация продолжалась достаточно долго, пока однажды об этом не пронюхал Лялька. Он угрожал и наказывал, но ничего не помогало. Тогда он решил, что команду будет сопровождать немец. Этот стоил дороже, чем украинец, но и его в свою очередь подкупили. Машина работала. Убийцы уже становились узниками своих жертв.

Тем временем, компания по реформе цен приносила свои плоды. Цена на одно яблоко установилась в 30 долларов, на маленькую буханку хлеба в 20 долларов или 1000 злотых или 10 рублей, колбаса — 60 долларов, пол-литра водки — 40, килограмм ветчины — 80, маленькая банка сардин — 20, а большая — 40, бутылка ликера, на который не было спроса — 10, селедка — 20. Эти цены были не выше тех, которые устанавливала маскировочная команда, но они были значительно повышены из-за подкупа украинцев, доносчиков и немецкого охранника. Кроме того, значительно упрощая операции, стала распространяться система набора продуктов к обеду. Там были один апельсин, маленькая буханка хлеба, кусок шоколада и бутылка водки. Стоил такой ящик 100 долларов вместо 140, если покупать в розницу. И, наконец, последний штрих, который показывает, какой путь прошла социальная жизнь евреев в Треблинке с момента возникновения — не только нечестность охранников была уничтожена, но многие из тех, кто продолжал это дело, даже соглашались предоставлять кредиты.

Несмотря на принятые меры предосторожности, немцам стало известно, что по лагерю распространилась эпидемия тифа.

Три месяца тому назад Лялька казнил бы любого во имя священного выпуска «продукции». Теперь он удовлетворялся тем, что разрешил Киве уничтожить слабейших. Он тоже стал узником своей работы. Он полюбил этот мир, который создал из ничего, и для которого у него было еще много планов. Евреи Треблинки перестали быть просто евреями, они стали его подданными, а даже самый страшный тиран не может иногда не ощущать чувства любви к своим подданным. В конце концов, они делали эту работу вместе. Эти убийства соединили их так, как время и ржавчина соединяют куски железа. Теперь Лялька стал даже узнавать некоторые лица, запоминать некоторые имена.

Курт Франц разрешил даже открыть лазарет. Конечно, он не соответствовал потребностям нескольких сотен больных в лагере, но поскольку у врачей все равно не было никаких лекарств, это не имело значения. «Счастливец» попадал в лазарет на шестой день лихорадки и оставался там теоретически до тех пор, пока держалась температура. Лазарет имел одно преимущество и один серьезный недостаток. Преимуществом был отдых, недостатком — смерть.

Так как в маленьких бараках всегда было больше двадцати больных, Кива приходил почти ежедневно подчищать остаток.

За исключением нескольких привилегированных лиц, никто не знал, кому разрешалось там находиться, а кому нет, поэтому Кива выбирал наугад, а иногда просто забирал всех подряд. Больной находился в постоянном страхе прибытия «ангела смерти». Кива внезапно появлялся в дверях, никто не слышал, как он входил. Он улыбался, довольный произведенным эффектом. Для таких случаев он разработал новый диалог, который очень любил. Приближаясь к каждому узнику, он спрашивал его, не болен ли тот. Если узник говорил «нет», Кива делал вид, что впадает в бешенство при виде «симулянта», отлынивающего от работы в лазарете и заставляющего товарищей трудиться за него, и немедленно забирал его для примерного наказания. Если узник говорил «да», Кива смотрел на него, покачивал головой и заканчивал приглашением в «госпиталь» для производства радикального лечения. Ничего нельзя было сделать, кроме как играть с ним в эту игру, потому что «твердолобым» разбивали головы еще до казни. Условия «госпитализации» были такими, что многие предпочитали не идти в лазарет. Действительно, туда шли только привилегированные, капо, доносчики, которым нечего было бояться, и совсем отчаявшиеся, которые уже ничего не ожидали.

Другие организовывались. Некоторое время на сортировочной площадке стоял маленький сарай, который использовался как уборная. Заключенные превратили его в «дом отдыха». Потом этот сарай стал служить социальным центром. В течение дня заключенные забегали туда прожевать корку хлеба, найденную в одежде, сделать несколько затяжек сигаретой или просто поболтать, обменяться последними новостями или сменять пару обуви на сигареты. Хотя помещение было совсем крошечным, его социальные функции были очень важны психологически. Запах уборной был таким, что даже Кива избегал появляться поблизости, и это безобидное место стало нейтральной территорией внутри лагеря. Здесь евреи были дома, здесь они испытывали чувство уверенности, которое было тем более сильным, что убежище не было рискованным.

С натиском тифа роль уборной снова изменилась. Когда оказалось, что созданный немцами лазарет — не что иное, как ловушка, не потому что так планировалось, а в силу того, что самые элементарные понятия в лагере приобретали противоположный смысл, туалет стал подпольным лазаретом.

Это только деталь, но она важна, так как она показывает изменения, которые произошли в Треблинке. Чем больше проходило времени, тем яснее становилась картина будущего: узников Треблинки казнят, когда не будут в них больше нуждаться. Но Лялька хотел спрятать правду, так как он понимал, что она может привести заключенных к некоторым отчаянным поступкам. Заключенные, с другой стороны, еще не задумывались о конце.

Их ежедневная жизнь была слишком полна опасностей, чтобы разрешить им воображать будущее, как бы близко оно ни было. Болезни, избиения, голод и истощение разрушали их. Как они могли задумываться об этом отдаленном дне, когда «знак нам подаст судьба», как говорилось в последней строчке гимна? Они были подобны обессилевшим путникам, концентрирующим все свои усилия на каждом шаге, который они делают, не задумываясь над следующим, не говоря уже о дальнейшем. Каждый день предоставлял сражения, каждый вечер, который прошел — почти победу. «Другой день, которого уже может не быть!» — бывало, говорили заключенные, когда пересекали порог своих бараков после вечерней переклички. Врагами были болезни, избиения, голод и истощение. Для того чтобы бороться с ними, было два оружия: еда и отдых.

Спекуляция отчасти обеспечивала питание, уборная стала «домом отдыха». С согласия, а часто и с помощью капо, наиболее истощенные проскальзывали туда утром и не выходили до вечера. Некоторая молчаливая солидарность создала порядок очередности, который все уважали. Несмотря на то, что сарай был рассчитан на пятерых, в нем обычно находилось больше двадцати. Так продолжалось довольно долгое время, система была отработана, соблюдалась дисциплина, и целый день протекал спокойно. Сарай бывал полон с утра, и в течение дня никто не заходил туда по естественной надобности и не выходил оттуда. Кива долго не замечал эту стратегию. Затем однажды днем он приблизился, заинтригованный. Больные были тут же отправлены в «госпиталь».

Этот инцидент очень развеселил Ляльку, которому тут же пришла в голову мысль о создании должности «начальника дерьма». Эта идея послужила предметом вечернего разговора в немецкой столовой.

— Он будет одет как ребе, — сказал один.

— Он будет носить русскую пилотку, — сказал другой.

— Нет, цилиндр, — перебил третий.

— Да, да, шляпу, — закричали слушатели.

— И еще мы дадим ему кнут.

— Мы заставим его вырастить козлиную бородку.

— И мы повесим ему на шею будильник.

«Начальник дерьма» приступил к своим обязанностям на следующий день. Порывшись в кучах одежды, Лялька нашел для него одеяние кантора синагоги, которое он считал более подходящим, чем скромную одежду ребе.

— Кантор или ребе, все равно одно говно.

«Начальник дерьма» получил инструкцию впускать одновременно только пятерых заключенных и заставлять их уходить через три минуты. Чтобы заставить их повиноваться, он должен был применять кнут или записывать их номера. От него не требовалось никакой другой работы, и узники, которые входили в уборную, должны были приветствовать его. На каждой вечерней перекличке Лялька обычно спрашивал его:

— Ребе, как дерьмо?

— Очень хорошо, воняет, — должен был отвечать он, неизменно давая повод к общему веселью эсэсовцев.

Он был богатым купцом из Лодзи, человеком уже немолодым, полным достоинства. У него было круглое лицо и почти детские голубые глаза. Он был одним из тех людей, в которых с первого взгляда видна доброта. Он прибыл в Треблинку со своей семьей.

ГЛАВА XVII

После смерти Хоронжицкого и восьми голд-юден Галевский сильно изменился. Независимо от того, что говорили ему друзья, он чувствовал ответственность за эти смерти и за неудачу.

— И снова я не могу поверить, что у меня хватит смелости запретить побеги, — сказал он однажды Курлянду. — Я боюсь, что борьба выше моих сил.

Затем он добавил: «Примите командование. Вы можете стать тем лидером, который нам сейчас нужен».

Но Курлянд тоже не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы принять на себя такую ответственность.

Это было в середине января, во время последней и наиболее ужасной вспышки тифа. Стояли сильные холода, и покрывающая все белая пелена снега придавала еще большую нереальность этому миру, который все глубже и глубже погружался в безумие.

Комитет собрался, чтобы изучить положение. Сделанное сообщение свидетельствовало о беспомощности: три четверти людей Адольфа были больны, дисциплина в лагере поддерживалась еще строже, чем всегда, доносчики стали вездесущими, а проблема оружия была, судя по всему, нерешаемой.

В этот день Галевский пытался сложить с себя полномочия.

— Я боролся, пока у меня были силы. Я начинал в то время, когда лагерь был хаосом мертвых людей, бездной теней, когда каждый день убивали половину заключенных, когда по утрам мы говорили друг другу: «Может быть, увидимся вечером». Я отказался бежать. Я остался, потому что таинственная сила сказала мне: «Твой долг быть здесь», и я поверил, что могу что-то сделать.

Другие члены Комитета слушали его, не двигаясь. За этими словами они видели своего командира, покидающего поле битвы, той битвы, для которой он их сам собрал. В их позиции не было ни враждебности, ни согласия. Галевский почувствовал холодность.

— Это не вы выбрали меня командиром. Это я назначил вас своими помощниками. У вас нет прав надо мной. Без меня не

было бы Комитета.

Он повернулся к хоф-юден.

— Медали будет раздавать История, — вдруг сказал Монек. — Наша задача в том, чтобы выиграть сражение.

— Но тогда примите на себя командование, — возразил Галевский. Наступило долгое молчание.

Монек был честолюбивым молодым человеком, чьи привилегии в отношениях с Лялькой внушали многим подозрение. Не то, чтобы его подозревали в доносительстве, но боялись, что он может поставить свои личные интересы выше общественных. Например, он, не колеблясь, ударил заключенного, когда Лялька сказал: «Скажи-ка мне, маленький Монек, ты не думаешь, что вон тот лодырничает?» Потом Монек объяснил свои действия: «Если бы я не дал ему пару плетей, Лялька дал бы ему двадцать пять вечером после переклички». Объяснение было довольно логичным, половина была убеждена и ничего больше по этому поводу не говорила. Но все же доверять ему командование Комитетом было серьезным шагом и многие колебались. Но его присутствие в Комитете было необходимым, поскольку как капо хоф-юден он контролировал стратегические точки лагеря.

Зальцберг прервал молчание, до того, как Монек мог дать согласие.

— Мы знаем, сколь многим мы вам обязаны, но мы просим вас еще несколько дней подумать, прежде чем принять решение.

И снова Галевский отказался.

Заседание Комитета закончилось на компромиссе, который не затрагивал будущего, не решал ни одной проблемы. Было ясно, что восстание откладывается. Усталость, которую ощущал Галевский, чувство безнадежности, бесполезности любой попытки в той или иной степени ощущалось каждым членом Комитета. Это были усталые, потерпевшие поражение люди, которые слишком долго жили мыслью о смерти. Кроме смерти, все остальное казалось пустыми спорами. Эшелоны, которые становились все более редкими, приходили уже из отдаленных стран, из Чехословакии, Германии, Болгарии, Греции. Было похоже, что Исполнители, приближаясь к концу своей задачи, начинали скрести дно сосуда Европы. Что могла значить честь еврейского народа, когда скоро вообще не будет евреев, когда чудо выживания скоро закончится? Над лагерем и за ним день за днем шел снег, и вся округа исчезла под этим белым, девственным ковром, который, казалось, хотел спрятать последние следы ужасных злодеяний. Огромная, холодная, снежная ночь мира собиралась проглотить их всех. Снег никогда не растает, весна никогда не придет снова. Под этими сугробами будет погребен весь мир. Так зачем бороться? Почему не разрешить спокойно унести себя на это огромное кладбище, которое служит братской могилой всего еврейского народа?

Одно событие через несколько дней после собрания Комитета должно было усилить это впечатление.

Однажды утром, вскоре после начала работы, ко входу в лагерь подошла молодая пара. Просьба, с которой они обратились, показалась украинским часовым настолько странной, что вначале они не хотели их впускать. Молодой человек настаивал, чтобы им разрешили войти и обратиться к немцам. Думая, что перед ним сумасшедший или какой-нибудь смутьян, начальник караула, боясь наказания, не мог принять решения. В конце концов, когда молодая пара легла прямо в снег посередине дороги, после часа колебаний, он решил послать за Кивой. Кива был так же изумлен, как и украинцы, и, будучи в сильном затруднении, стал их упрашивать идти туда, откуда они пришли, уверяя, что невозможно выполнить их просьбу. Но решимость молодых людей оказалась сильнее Кивы. Тогда он впустил их и повел в «госпиталь». Но он не мог казнить их, не доложив вначале Ляльке, который был в это время по делам службы в Варшаве и собирался вернуться только к вечеру.

Свидетель, который сообщил нам об этом случае, не помнил имен молодых мужчины и женщины, но он знал, что они были женаты. Он вспоминал, что тогда рассказал мужчина. Они пришли из небольшого еврейского местечка в окрестностях Белостока. Из полутора тысяч жителей местечка больше тысячи были евреями. В начале немецкой оккупации никто не беспокоился, и если бы не обязанность носить желтую звезду на груди и на левом рукаве, то можно было бы считать, что все идет, как и раньше, с большой бедностью, с маленькими радостями и с торжественностью вечерних шабесов. Но мало-помалу начали распространяться тревожные слухи. Люди говорили, что евреев уничтожают, что Гитлер поклялся убить их всех и что он сдержит свое обещание.

Однажды ночью еврейские партизаны пришли к местному раввину и просили его бежать из местечка вместе со всем еврейским населением. Но ребе ответил, что их жизни в руках Б-га и что, если решено, что они должны умереть, то они все равно умрут в лесах так же, как и в своих домах. Партизаны собрали нескольких молодых людей и рассказали им о том, что случилось в Вильно и что случается в других местечках: однажды ночью эсэсовцы и украинцы окружат его, и на утро уже ни у кого не будет дороги в лес. Они также рассказали, что на полдороги до Варшавы, в место, называемое Треблинкой, привезли сотни тысяч евреев, от которых не осталось ничего, кроме одежды.

— Дайте нам оружие, и мы будем защищаться, — обратился один из молодых людей к человеку, который, видимо, был командиром партизан.

Но у партизан не хватало оружия даже для себя. Тогда молодые люди начали по ночам уходить вместе с партизанами. Вначале они сражались палками, но постепенно приобрели

винтовки и гранаты. Они договорились с партизанами, что будут защищаться в своем местечке и не уйдут из него, пока не подожгут дома и не заберут с собой всех, кто может уйти. Потом они пришли к ребе и сказали ему:

— Ребе, никто не знает Тору лучше, чем вы, но и никто не понимает войну хуже, чем вы. Никто не поет молитвы Б-гу лучше вас, но и никто не держит в руках винтовку хуже вас. Сегодня нужно не молиться, а сражаться, потому с сегодняшнего дня командовать будем мы.

Потом они объяснили ему свой план.

Ребе понравился стиль, которым они обратились к нему. Он улыбнулся и ничего не ответил. Но после этого он больше не возражал против того, чтобы они убеждали население местечка.

Ожидание продолжалось до конца лета, и молодежь выходила иногда по ночам заниматься военной подготовкой. Однажды вечером дозорные прибежали в местечко и помчались по улицам с криком: «Грузовики, грузовики!»

Был прекрасный осенний вечер, и пылающие краски заходящего солнца сливались с багровыми красками леса. Никто не спал в эту ночь. Пока евреи возносили молитвы у себя дома, эсэсовцы и украинцы распевали вокруг пьяные песни. Атака началась перед рассветом. Партизаны приказали открыть огонь, когда первая колонна достигнет центра местечка. Некоторые эсэсовцы упали, другие убежали.

— Мы ждали второго штурма со страстной радостью. Это было ужасно, мы даже не знали, как пользоваться оружием, доставшимся нам от первых мертвых. Когда местечко запылало, я схватил жену за руку, и мы побежали в лес. Люди бежали во все стороны, пули свистели, деревянные домики были охвачены пламенем. Время от времени глухие взрывы сотрясали воздух. Дым, который поднимался отовсюду, душил нас. Я не знаю, как мы добрались до леса, но помню, как вдруг увидел бородатого человека, который что-то кричал мне и дулом винтовки указывал, куда бежать. Пробежав несколько минут в этом направлении, мы встретили людей из нашего местечка. Потом пришли еще несколько человек и присоединились к нам. Потом появились партизаны. Я слышал, как они говорили, что все остальные погибли и что нужно уходить. Я оглянулся вокруг и не нашел никого из тех молодых людей, которые организовали сопротивление. Партизаны собрали нас в колонну и встали сами в голове и в хвосте ее. Мы шли до наступления ночи.

— Мы умирали от усталости, и я начинал засыпать на ходу, когда раздались крики и вслед за ними выстрелы. Мы снова побежали. Стрельба долго продолжалась позади нас. Ночью я узнал, что нас привели в семейный лагерь, о котором я никогда не слышал. Спрятанный в середине леса, это был лагерь, где жили еврейские семьи. Перед рассветом я снова услышал выстрелы,

теперь уже впереди, но было так темно, и я был таким усталым, что я так и не узнал, что там произошло. Когда солнце поднялось, мы остановились и нам предложили поесть. Я взглянул на группу партизан, стоявших в стороне, и заметил, что их было намного меньше, чем накануне вечером, и что у некоторых было по две винтовки. Они были очень худыми и все носили бороды. Было что-то устрашающее в их лицах, устрашающее и возвышенное одновременно. Я сразу понял, что это ради нас они совершили все это, что для того, чтобы спасти нас от смерти, пала половина их людей.

— Потом к нам подошел их командир. Он сказал, что если все будет хорошо, мы доберемся до лагеря этой ночью и сможем там отдохнуть. Мы побежали снова. Несколько раз мы останавливались, и нам приказывали лечь и не разговаривать. Пришла ночь. Я засыпал на ходу, спотыкался на каждом шагу, мне было уже все безразлично. Только спать. Я совсем падал, когда нам сказали, что мы уже почти на месте. Я немного воспрянул духом. Еще немного, и мы замедлили шаг. Я чувствовал, что мы подходим к месту назначения. Через несколько минут мы остановились. Нам приказали лечь на землю и не разговаривать. Я услышал свист в голове колонны, потом молчание, потом другой свист. И тут я испугался.

Я понял, что что-то не в порядке. Я пробрался к жене и взял ее за руку. Потом я услышал еще свист, отличающийся от двух первых, и сразу же группа партизан, которая шла сзади, прошла вперед мимо колонны. Мы опять оказались последними, и я испугался еще больше. Вдруг я услышал выстрел, и в то же мгновение лес словно взорвался. Ружейный огонь раздавался отовсюду. Мы попали в засаду. Должно быть, лагерь выследили, и они ждали нас. Вот почему часовые не отвечали на свист. Партизаны защищались отчаянно, и теперь вся стрельба сосредоточилась вокруг них. Вдруг сквозь шум я услышал крик на идиш: «Спасайте свои жизни!» Не сознавая, что делаю, я вскочил, схватил жену за руку и побежал.

— У меня такое впечатление, что с того момента мы бежим, не останавливаясь, голодные, не спавшие, обруганные, запуганные, преследуемые крестьянами, немцами, польскими партизанами, как будто целый мир охотится за нами. Настоящая агония началась зимой, когда в лесу не стало даже диких ягод, которыми мы питались. Мы понимали, что нам предстоит умереть, и считали эту долгую агонию бесполезной. Однажды крестьянин, перед тем как захлопнуть дверь перед нами, сказал: «Идите туда, куда вас всех гонят, в Треблинку!» Я запомнил это название, и мы решили прийти сюда и умереть вместе со всеми евреями.

Когда Лялька вернулся, он задал двум молодым людям несколько вопросов, а затем кивнул украинским охранникам.

Молодые люди спокойно сели на скамейку на краю рва, взялись за руки и ждали. На лицах двух украинцев была смесь непонимания и скептицизма, когда они приставили дула своих винтовок к их затылкам. Они, казалось, говорили: «Эти евреи, они не похожи на других людей».

Когда Курлянд вечером в бараке рассказал Комитету эту историю, все были потрясены этой печатью неумолимой судьбы. Для каждого из них восстание означало возможность свободы. Не всем удастся достигнуть леса, но каждый человек знал, что у него есть шанс. Теперь вдруг они узнали, что жизнь в лесу была еще более невыносима, чем в лагере, где принимая все во внимание, еще были какие-то шансы выжить, по крайней мере, до тех пор, пока эсэсовцы нуждались в евреях и пока человек подходил для тяжелой работы. Конечно, необходимо было уйти, чтобы потом выступить свидетелями против немцев, но если история молодых людей оказывалась верной, правда о Треблинке и так уже была известна за пределами лагеря. Однажды кто-нибудь расскажет о ней, и тогда можно будет начать раскопки.

Это был период, когда эпидемия стала спадать. До апреля было еще несколько случаев заболевания, но они были крайне редкими. Все это время Адольф был почти полностью занят борьбой против тифа. Он не знал, что происходит в Комитете, и думал, что Галевский не говорит ему ничего о восстании, потому что ожидает, чтобы немцы ослабили свою бдительность. Однажды он пришел рассказать ему о новом завербованном, который мог стать прекрасным военным советником. Его имя было Джело Блох и его только что привезли.

— Ты веришь, что восстание еще возможно? — спросил его Галевский. Адольф, который день ото дня жил борьбой заключенных против эпидемии, не был знаком с сомнениями, терзавшими членов Комитета после смерти доктора Хоронжицкого. Менее образованный, более простой и агрессивный, чем Галевский, он не задавал себе вопросов. Для него восстание было своего рода естественной необходимостью. Оно явилось ему однажды как открытие, и с тех пор он жил им, чтобы однажды умереть за него. Неудача в первой попытке не повлияла на него так, как на других членов Комитета. Когда членам Комитета с их вдохновенной склонностью к мечтаниям, пообещали оружие, им казалось, что они уже получили его, а мысленно обладая им, они видели себя уже применяющими его. Адольф же был не «мечтателем из гетто», он был человеком действия и, более того, военным человеком. Этот образ мышления, с одной стороны, лишал его абстрактных рассуждений, с другой, защищал его от внезапных разочарований, которыми страдали другие члены Комитета.

Когда разразилась эпидемия, он рассматривал ее как первое препятствие, которое нужно преодолеть перед подготовкой к новой попытке. Он из опыта знал, что в бою расчет нужно вести

на число людей, способных держать оружие на поле битвы, что едва выздоравливающие и слабые люди — это не бойцы. Больные люди, неспособные сражаться, в лесу стали бы легкой добычей тех, кто погнался бы за евреями. После того, как эпидемия прекратилась, Адольф снова посвятил себя восстанию.

Он был на платформе, когда прибыл эшелон, в котором привезли Джело. По озадаченным, испуганным взглядам депортированных, Адольф понял, что эшелон пришел из другой страны. Один человек сразу же привлек его внимание: высокий, очень худой, жилистый, с длинной шеей, тонкими губами и напряженными, твердыми, очень глубокими зелеными глазами.

Адольф подошел к нему и прошептал: «Скажите, что вы плотник». Он знал, что во время селекций немцы сейчас были особенно заинтересованы в усилении строительной команды, тогда как сапожники и портные, которых уже набрали, не имели больше шансов. Это была важная деталь его работы, которой он придавал особое значение, с тех пор как Галевский назначил его ответственным за отбор людей. Он старался делать так, чтобы немцы сами отбирали тех, кто нужен был ему для боевых групп.

Джело посмотрел на него, собираясь что-то сказать в ответ, но промолчал. Его взгляд, задержавшись на долю секунды на глазах Адольфа, переместился, прежде чем Адольф мог что-то добавить.

Испытания по выявлению способностей не применялись с тех пор, как «персонал» Треблинки стабилизировался. Эсэсовцы сами выбирали нескольких мастеровых и искусных рабочих из каждого эшелона. Когда немцы спросили его о профессии, Джело сказал, что он плотник.

Адольф увидел его снова после обеда. Джело, казалось, еще не понял, где он находится. Одна щека у него была порезана, но лицо сохраняло ту же бесстрастность, что и утром.

— Вы служили в армии? — спросил его Адольф.

— Я капитан регулярной армии, — ответил он несколько официально. И добавил, как бы представляясь:

— Капитан Блох из чехословацкой армии.

Адольф удивлялся, как могли эти приезжающие люди быть настолько невежественными, чтобы не знать, что такое Треблинка. Польские евреи уже знали, но те, кто прибывали из других стран, имели рассеянный вид, манеры и понятия цивилизованных людей из мирного времени.

— Капо Фридман из Треблинки, — ответил он. И через секунду: — Капо — это еврей, который бьет других евреев, а Треблинка — это лагерь, где евреев убивают.

Джело слегка побледнел.

У Адольфа было правило сразу открывать вновь прибывающим правду о Треблинке. Он делал это сухо и тут же начинал говорить о восстании. Он заметил, что, поступая таким образом, он давал

возможность своему собеседнику не доходить до дна пропасти, как пришлось дойти им самим. Он сразу же давал ему надежду, за которую можно было ухватиться, стимул, который не давал опускаться. Это было очень важно, потому что таким способом узнику не нужно было преодолевать комплекс неполноценности по отношению к немцам или комплекс вины по отношению к себе. И если даже привезенный сюда с семьей человек знал, что его выбрали для участия в восстании, и давал согласие, это значило, что он сделал это не для того, чтобы выжить самому, пожертвовав семьей, а для того, чтобы бороться. С самого начала немцы становились врагами, а не хозяевами. Узник сразу же принимал идею восстания как необходимость, и никакого поворота назад потом уже не должно было быть.

— Вы прибыли сюда вместе с семьей?

— Нет, я один.

— В таком случае проще объяснить. Вам говорили, что Треблинка — транзитный лагерь и вас забирают колонизировать Восток. Правда совсем другая. Видите те бетонные строения вон там? Это газовые камеры. Немцы загоняют в них евреев, закрывают двери и включают моторы. Через полчаса все умирают, отравленные окисью углерода. Не пытайтесь понять, это невозможно. Шестьсот тысяч евреев уже умерли так. Мы здесь для того, чтобы помогать немцам. Не пытайтесь понять и этого. Здесь нас около тысячи. Мы можем дать вам точные цифры, если вас это интересует.

Джело слушал ошеломленный. «Как это возможно?» — повторял он снова и снова, прерывая каждое утверждение Адольфа.

— Вот так же спросят потом и люди, если мы не сумеем выбраться отсюда.

— Я не представляю, как можно выбраться отсюда, если то, что вы рассказали — правда.

Адольф помедлил секунду и, внезапно изменив тон, твердо глядя на Джело, сказал:

— Это наше дело, и как раз поэтому я и выбрал вас.

После короткого колебания Джело, думая, что он понял, пробормотал:

— Побег?

— Нет.

— Русские?

— Ни то, ни другое. По нашей последней информации фронт более чем за тысячу километров от нас, а кое-где немцы еще вообще наступают.

Адольф помедлил, чтобы создать эффект.

— Восстание.

— Понял, — медленно сказал Джело, окидывая лагерь опытным взглядом. Адольф следил за его взглядом и отвечал на

вопросы Джело еще до того, как он успевал их сформулировать, с самого начала бессознательно принимая положение подчиненного, докладывающего своему командиру.

— Да, четыре ряда колючей проволоки плюс наблюдательные посты каждые двести метров, снабженные прожекторами и тяжелыми пулеметами, плюс один охранник на каждые пять узников. Первый настоящий лес, который может представить для нас хоть какую-то серьезную защиту от немцев, не менее восьми километров отсюда. Наконец, вся округа напичкана частями, которые вмешаются при малейшей тревоге.

— Это все? — спросил Джело с легкой иронической нотой в голосе.

— Нет, кроме того, — продолжал невозмутимо Адольф, — даже один узник из десяти не знает, как пользоваться винтовкой... Но это не имеет значения, — закончил он бесстрастным тоном, — поскольку винтовок у нас все равно нет.

Доклад понравился Джело, он показывал, что Адольф знал то, о чем он говорит и не строил свои планы на мечтах.

— А что же есть в нашу пользу?

— То, что немцы думают о нас. Они приняли предосторожности, как будто охраняют суперменов, но в их глазах мы не больше, чем толпа недочеловеков, неспособных на малейший смелый акт.

— Понял — это элемент внезапности.

— Точно, мой капитан, кучка евреев против завоевателей мира. Мы принимаем тактику, которую они используют против нас и которая так хорошо работает на них. Это кажется невероятным, но мы не хотели поверить в реальность уничтожения, пока не стало слишком поздно. Для них наше восстание будет такой же неожиданностью, как было для нас — наше уничтожение.

— Мы говорили: «Немцы? Цивилизованный народ? Приходите!» Они скажут: «Евреи? Эти недочеловеки? Да вы что?» Так они говорят всегда.

В эту ночь в бараке у них был долгий разговор о том, что можно было сделать. Потом у них выработалась привычка встречаться каждый вечер, и из этих встреч постепенно стали проступать очертания восстания. У Джело был настоящий военный талант. Адольф обеспечивал его всей необходимой информацией, привлекал его внимание к определенным точкам и придирчиво анализировал его проекты, поскольку он лучше знал реальные условия Треблинки.

Восстание нашло своего военного лидера. Адольф решил просить Галевского назначить его на должность капо для большей безопасности.

Ты веришь, что восстание еще возможно? — спросил Галевский.

— Почему я не должен верить в это? — спросил в свою очередь Адольф. Галевский не хотел открывать причины своих

сомнений.

— Как насчет оружия? — спросил он.

— Мы нашли способ достать кое-что.

Галевский так далеко ушел от идеи восстания, что Адольф с трудом заставил его выслушать свой план.

Это было дерзко, но все же давало какой-то шанс. Одежду и обувь для эсэсовцев делали хоф-юден. Сапожников и портных, у которых были здесь свои мастерские, держали только для этой работы. Это были превосходные мастера, и они добились некоторого доверия со стороны немцев; те обращались с ними довольно мягко, и иногда, когда они бывали особенно довольны их работой, приносили им сигареты и алкоголь. Некоторые эсэсовцы заказывали даже одежду и обувь для своих жен и детей. Это приводило к тому, что они болтали с мастерами о своих семьях, о войне, о своей стране, о городах, где они родились и о маленьких домиках, которые они мечтали купить, когда «все это» будет кончено. В портновских и сапожных мастерских Исполнители уничтожения превращались в милых клиентов. Время от времени они доходили даже до того, что жалели бедных евреев, и однажды один из них как-то вздохнул: «Что же делать? Это война». Мастерские стали нейтральной территорией, подобно раздевалке, где спортивные противники могут встретиться в середине матча и обменяться впечатлениями об игре. Тут даже Лялька снисходил до доверия. Однажды, например, он объяснил, что для него Гитлер — это все равно что бог, и если бы фюрер приказал ему убить своих родителей, он бы сделал это не задумываясь. Короче, в эти моменты эсэсовцы становились похожи на любого человека, беседующего со своим портным или парикмахером. Заставляя их снимать китель, сапоги или брюки, поднять руки, согнуть колени и поворачиваться лицом к зеркалу во весь рост, мастера приобрели даже некоторую власть над эсэсовцами и могли сами назначать им примерки.

Именно на этом пункте строился весь план Джело, который Адольф представлял Галевскому.

— В день восстания портные и сапожники назначат примерки немцам каждые пятнадцать минут, начав за час до момента восстания. Если восстание будет запланировано на три часа, начиная с двух, немцы будут приходить на примерки каждые пятнадцать минут по одному в каждую из двух мастерских. Два немца в два часа, плюс два в 2.15, плюс два в 2.30, плюс два в 2.45, плюс два в 3.00, другими словами — десять немцев.

Галевский, казалось не понимал.

— И что вы собираетесь делать с этими десятью немцами? Теперь была очередь Адольфа не понимать.

— Что мы будем делать с ними? — спросил он с досадой. — Что мы будем делать с ними? Ну, конечно, убьем их!

Лицо Галевского отразило целую гамму разных мыслей и чувств, пока он медленно осознал, что предлагал Адольф. Это было так невероятно, что он не мог не пошутить.

— Нам давно следовало пригласить их всех. За несколько лет мы могли бы скромненько, по очереди пригласить всю немецкую армию и выиграли бы войну. Маленький Давид, убивающий большого Голиафа.

Определенная печать юмора была одним из наиболее удивительных аспектов жизни в Треблинке. Знаменитый еврейский юмор, смесь возвышенной сказки и мягкой иронии над самим собой, он играл необходимую роль в облегчении жизни в этом мире смерти. Сегодня трудно понять это, но уцелевшие узники припоминают, что он существовал. В последние месяцы существования Треблинки много женщин было послано в Лагерь Номер Два на работу в прачечную, где стиралось белье заключенных. Одна из них, не имеющая музыкального слуха, очень любила петь, и весь день напевала песенки, в которых, если иногда и вспоминала слова, то мелодию — никогда. Эта раздражающая привычка сделала ее предметом шуток ее товарок. Уцелевшая рассказывала об одной, которую она придумала сама.

— Ривка, — сказала она ей однажды. — Я думала, я здесь уже ко всему привыкла, но одну вещь я все-таки никак не могу выдержать.

— Какую?

— Твой голос, Ривка, твой голос!

И раньше, в конце периода гетто, когда даже лучшие умы не могли ничего сделать, чтобы сохранить хоть малейшую надежду, некоторые евреи находили убежище в юморе. Вечным метафизическим вопросом стало: «Вы верите в жизнь после поезда?» Стандартным утешением опечаленным друзьям, которых вы должны были оставить, стало: «Не унывай, старина, мы встретимся еще раз в лучшем мире — в витрине магазина, в виде мыла». И если друг был понимающий, он отвечал: «Да, но из моего жира они сделают туалетное мыло, а ты будешь куском дешевого, для стирки».

Понять этот юмор — значит понять безграничную любовь евреев к жизни. Это значит понять и отречение от самого себя, и веру в чудо.

В тот день Адольф должен был вырвать у Галевского обещание назначить Джело капо. Когда они встретились вечером, Адольф был очень расстроен. Он сказал Джело, что Галевский сомневается, пойдут ли хоф-юден на такой риск.

— Возможно, он и прав относительно хоф-юден, но он не признался, что и сам-то сомневается, — добавил он затем.

— А не можем ли мы сделать что-нибудь без них? — спросил Джело.

— Даже вместе с хоф-юден это рискованно, потому что мы не можем предугадать реакцию Лагеря Номер Два. У нас с ними

нет контакта. Если же мы выступим сами по себе, это будет безумием.

— Мы могли бы заставить их, пригрозив, что в любом случае начнем действовать сами.

— Нет, что мы должны сделать, так это убедить их. Не забудь, что начал все дело Галевский. Это он настоящая душа восстания. Только у него достаточно влияния на людей, чтобы заставить их всех подняться в одно и то же время. Но сейчас он потерял стимул к борьбе, свою твердую уверенность. Мы должны понять его. Он знает, что не уйдет отсюда живым, что его жизнь остановилась, когда он вышел из поезда. Человек не может жить долго рядом со смертью, своей и чужой, без таких моментов слабости.

— Ну и что?

— То, что мы должны подождать. Я слышал, как Кива говорил, что еще будет много эшелонов. А пока эшелоны приходят, они будут нуждаться в нас и не станут нас ликвидировать.

— Но так не может продолжаться вечно. Что-то должно случиться перед этим.

На это я и надеюсь. Но какие будут новые события, которые опять приведут к идее восстания, я не знаю.

Люди были истощены, план перестал быть жизнеспособным, нацистская машина, казалось, пресекла попытку восстания еще до ее начала. Два человека хотели продолжать борьбу, но все остальные уже готовы были сдаться, отказаться от борьбы со смертью. Реальный мир стал затуманиваться в их сознании. Были ли они когда-то свободными? Были ли они когда-то счастливыми? Были ли они когда-то мужчинами? Все это было далеко и потерялось в смутных воспоминаниях о другой жизни.

Но диалектика смерти включает в себя жизнь. То новое событие, о котором говорил Адольф, произошло. Этим событием было появление человека. Человека, которого в ночь на двадцатое января 1943 года везли в Треблинку.

Он был ранен, он умирал, его имя было Шокен.

ГЛАВА XVIII

Тогда, несколько месяцев назад, как только поезд миновал ворота лагеря, Шокен вытащил из кармана огрызок карандаша и начал яростно писать на каждом предмете одежды: «Это принадлежало еврею, еврею, который погиб в Треблинке». Он не знал, куда приведет его судьба и хотел с первой же минуты свободы начать выполнять свою миссию свидетеля любым возможным способом. Когда карандаш кончился, он вытащил нож и стал вырезать на всем, что попадалось ему под руку, дыры в форме шестиконечной звезды. Он работал так весь день и часть ночи, неустанно, не останавливаясь ни на секунду, не думая о еде или сне. Это было как безумие, как потребность высказаться,

чтобы сбросить с себя невыносимый груз. Несмотря на свое кажущееся хладнокровие, Шокен был глубоко потрясен тем, что видел в Треблинке, и здесь, в этом вагоне, один, он взорвался от жгучего желания отомстить за смерть и молчание.

Когда он пришел в себя и увидел вагон, усыпанный разорванной одеждой, он понял, что надо выбираться отсюда как можно скорее. Первая же проверка могла оказаться гибельной. Он оторвал решетку, которая закрывала маленькое окно, и подождал. Начинался рассвет, когда поезд стал замедлять ход. Убедившись, что поблизости ничего нет, он выпрыгнул на насыпь и еще долго лежал после того, как последний вагон прошел мимо. Трава приятно пахла, ночь была мягкая. Удаляющиеся звуки поезда вернули тишину. Небо, слегка светившееся на востоке, было прекрасно. Вкус свободы был вкусом счастья. Все страшное исчезло. Последние осколки кошмаров удалялись вместе с красным огоньком на хвосте поезда, который становился все тусклее и тусклее. Шокен ощутил не просто радость или счастье, а непередаваемое чувство освобождения, возрождения. Человек по-настоящему ощущает радость, когда вновь обретает близкого друга, которого он считал потерянным. Этим человеком для Шокена оказался он сам, когда он дрожал от утренней свежести, когда его обоняние медленно восстанавливало забытые запахи, когда его глаза впитывали безграничность неба, и когда его тело легло на свободную и приветливую землю.

Пролежав долгое время неподвижно, Шокен поднялся и побрел по направлению к лесу, опушка которого казалась очень густой. Поднимался день, и так как у него не было арийских документов, он решил спрятаться. На краю леса нашелся маленький ручей. Он долго пил из него и потом вымылся. Вода была очень холодной, и Шокен чувствовал, как его руки и ноги восхитительно онемели. Он весь погрузился в поток голым телом. Ему казалось, что течение, которое в этом месте было довольно сильным, смывало с его тела вместе с запахом смерти, к которому оно уже привыкло, и последнюю память об аде. Теперь его тело снова пахло как человеческое. Он вытерся рубашкой и углубился в лес. Съел корку хлеба и кусок колбасы, которые взял с собой. Затем зарылся в листья и лег спать в середине чащобы.

Когда Шокен проснулся, была уже ночь. Он сразу встал. Его сознание было ясным, тело отдохнувшим. Он решил идти в деревню, которую видел утром недалеко от железной дороги.

Без труда добрался до первого дома и стал заглядывать в окна. В третьем доме он увидел женщину, возившуюся с ребенком. Постучал в дверь и резко открыл ее, услышав, как она отодвинула засов. Женщина казалась испуганной, но в Шокене было столько уверенности, что она не осмелилась сказать ни слова. Он спросил что-нибудь поесть и прошел за ней в другую комнату. В большой корзине, служившей колыбелью, захныкал ребенок. Шокен

подошел к нему.

— Он болен, — сказала женщина голосом, дрожащим от глухих рыданий.

Шокен только наклонился над колыбелью, как вдруг услышал вопли, выстрелы и крики, идущие из другого конца деревни. Он напрягся и слушал, пытаясь определить, что происходит. Шум удвоился и стал сильнее, как будто люди, которые его производили, приблизились к дому. Он подумал, не увидел ли его кто-нибудь и не его ли теперь ищут. Быстро обежал глазами комнату в поисках выхода. Но женщина, заметив его беспокойство, сказала ровным, без эмоций голосом:

— А, это они евреев забирают в Треблинку.

Это было событие, которое ее не беспокоило. Точно также она могла сказать: «Сейчас четверть одиннадцатого. Часы отстают».

Шокена парализовало. Чары лопнули. Снова он увидел себя, погруженным в самую глубину ада. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Когда он решил, что снова обрел контроль над своим голосом, он ответил:

— А, евреи. Ну, конечно.

Женщина изучала его. Голоса становились все ближе и ближе. Теперь он мог различить грубые крики немцев и плачущие голоса евреев, которые иногда сливались во что-то неразборчивое. Это был оркестр горя, песня человеческого несчастья.

Ослепленный ненавистью, отбросив все предосторожности, Шокен бормотал: «Негодяи, негодяи».

Женщина, которая не сводила с него глаз, сделала шаг к двери. Но Шокен бросился вперед и закрыл ее спиной, прежде чем она успела подойти. Женщина взглянула на него со злобой и сказала сквозь зубы:

— Еврей! Ты тоже еврей. Я поняла это сразу, как увидела тебя.

Ребенок продолжал плакать в колыбели.

Шокен вытащил горсть золота и, бросив его на пол перед собой, сказал со всем презрением, на которое был способен:

— Дай мне что-нибудь поесть.

В этот момент колонна депортируемых проходила мимо окна, и ответа женщины не было слышно из-за шума. Шокен увидел, как она опустилась на пол и стала собирать деньги. Шум проходящей колонны стих, но в комнате опять заплакал ребенок.

— Мой ребенок совсем пропадет, — пробормотала женщина сквозь зубы, как будто евреи были виноваты в том, что он должен был страдать. Она подошла к нему, погладила его лицо и направилась к большому буфету в глубине комнаты. Достав ломоть хлеба, несколько картофелин, кусок сала, она положила все на стол.

— Возьми и убирайся вон отсюда, — сказала она, не глядя на Шокена.

Недалеко от Треблинки был старинный еврейский городок Чегов. Мельники, слесари, мясники и каменщики там были евреями. Евреи построили дома своими руками. Они даже вымостили улицы. Население в основном было еврейским, и бедность там тоже передавалась из поколения в поколение. Шокен однажды был в Чегове и, хотя не помнил по какому случаю, но сохранил о нем добрую память.

Как только показались первые домики, он сразу же узнал этот городок на краю леса и на пороге большого, ровного, бесплодного болота, которое тянулось до другого конца горизонта.

Достав за золото арийские документы, Шокен путешествовал теперь днем. Он шел весь день и усталость стала одолевать его, ноги были уже не в силах тащиться по пыльной дороге. День угасал, и красное солнце искажало равнину, придавая лесу таинственный вид.

Городок казался нетронутым, и впервые с тех пор, как ночь снова погрузила его в кошмар, Шокен почувствовал покой. Чудом сохранившийся во время бури, маленький еврейский городок мирно следовал спокойному ритму веры и вечности.

Темнота усиливалась, проглатывая сотни маленьких домов, и когда Шокен приблизился, они, казалось, таяли в лесу. Дорога сделала крутой поворот, и весь городок словно исчез. Шокен почувствовал, как в нем поднимается беспокойство, смутный страх. Он остановился, прислушался. Затем снова бесшумно двинулся вперед вдоль кустарника, окаймлявшего дорогу.

Почва под его ногами становилась тверже, и он знал, что входит в городок. Еще несколько шагов — и перед ним первый дом. Продвигаясь вдоль стены, он добрался до окна, и тут его подозрения стали уверенностью: окна разбиты, мебель перевернута, одежда разбросана по полу. Это было болезненное открытие. Он пришел слишком поздно. Чегова больше не было. Он помчался по городку, отчаянно разыскивая хоть какие-нибудь признаки жизни. Главная улица была засыпана обломками, дверь маленькой синагоги была сорвана с петель. За ней открывалось разоренное святилище, в котором ковчег, где хранились свитки Торы, был осквернен. Пустота и молчание говорили о смерти. Не сознавая, что он делает, Шокен пересек городок и очнулся у входа на старое кладбище. Он сделал несколько шагов и почувствовал, что земля стала мягче у него под ногами. Он обнаружил, что кладбище тоже не пощадили. Медленно опустился он на землю и заплакал от бешенства, бессилия и ненависти.

Эту ночь он спал на одной из брошенных кроватей. К утру, он восстановил спокойствие и старательно прочесал городок, чтобы убедиться, что никого не осталось в живых. Он выбрал себе кое-какую теплую одежду для наступающей зимы и, не оглянувшись, ушел по той же дороге, по какой пришел. Он сделал свой выбор: теперь он будет убивать, и убивать, пока сам не умрет, убивая.

Только смерть может вылечить его от этой ненависти, только смерть удовлетворит его жажду мести

На следующий день после того как он пришел в Венгров, началась большая облава. Он позволил схватить себя и посадить в поезд, не оказывая ни малейшего сопротивления. Он хотел попытаться поднять евреев, чтобы они пошли до самого конца. Но этот вояж среди сломленных созданий, полный ужасного и опустошающего покоя, был хуже смерти. И все же он не мог решиться бросить их на этом пути. Он не мог отказаться от задуманного, потому что жил только для мести и не чувствовал ничего, кроме ненависти.

Поезд приближался к Треблинке, когда он решил выпрыгнуть. Пули посыпались дождем, когда он пытался подняться, но его встреча со смертью была назначена не на тот день.

В Новорадомски он прибыл утром. Он решил остановиться в этом городке по дороге в Варшаву, потому что здесь жил один из его двоюродных братьев. Городок жил в мирном отрешении. Кузен просил его никому не говорить о Треблинке.

— Но ты веришь мне, или нет? — спросил его Шокен.

— Конечно, я верю тебе, но какой смысл пугать остальных?

— Лучше позволить им умереть?

— Не умереть, надеяться. Надежда — это все, что у них осталось.

— А если умереть, как подобает мужчинам?

— Если тебе суждено умереть, какая разница, умрешь ты как мужчина, как еврей или как овца?

Беседа в таком духе продолжалась несколько часов. Потом Шокен вышел на улицу и начал собирать толпу. Через пятнадцать минут прибыла еврейская полиция и забрала его в тюрьму. Оттуда его привели в Еврейский Совет. Президент Совета обвинил его в преднамеренном распространении паники, чтобы скупить золото и драгоценности по низким ценам. Шокен улыбнулся и ничего не сказал. Когда его снова повели в тюрьму, он бежал.

Он добрался до Варшавы в самом начале января. Здесь его слушали иногда враждебно, иногда безразлично, но все же ему разрешали говорить.

Самый печальный случай произошел , когда он в очередной раз рассказывал о Треблинке. Один из слушателей внезапно вскочил и набросился на него с криком: «Свинья, ты смеешь утверждать, что моя жена, такая молодая и красивая, мертва. Ты лжец, ты пришел сюда, чтобы мучить нас». Жену этого человека забрали в Треблинку месяц назад. Он отказывался признать ее смерть и даже говорил людям, что она ему пишет.

Шокену было трудно успокоить его, и он ушел с чувством стыда. С этого дня в нем поселилось сомнение, которое привело его на грань отчаяния. И тогда он решил, что единственная возможная битва была та, о которой говорил Галевский

в Треблинке: битва после смерти. Он уже подумывал о новом аресте и отправке в Треблинку, чтобы снова увидеть Галевского, когда однажды вечером три молодых человека подошли к нему на улице и втолкнули его под виадук. Двое из них, кажется, были студентами, и у обоих были горящие глаза. Третий был гигант с беспокойным небритым лицом. Они долго расспрашивали его о Треблинке, и Шокен внезапно осознал, что они не только хорошо осведомлены о том, что там происходит, но что им также известно каждое слово, которое он произнес с момента своего прихода в город. Так он вошел в контакт с еврейской организацией Сопротивления в Варшаве, которая в течение некоторого времени контролировала гетто. Через несколько дней она повела его в бой, отчаянный и безнадежный.

Когда допрос был окончен, один из студентов, который был командиром, спросил Шокена, хочет ли тот сражаться вместе с ними. Шокен согласился, и они взяли его с собой.

В Варшаве из четырехсот тысяч евреев, собранных там к июлю 1942 года, осталось только 80 тысяч. Облавы почти прекратились. Организаторы Сопротивления понимали, что окончательная ликвидация гетто неизбежна, и сейчас оставалась одна проблема — узнать, когда она состоится. План был исключительно оборонительным. Было решено превратить каждый дом в крепость и заставить немцев заплатить высокую цену за каждого еврея, когда начнется последняя облава. Защитники не имели ни малейших шансов остаться в живых.

Для защитников Варшавы, также как и Белостока, победа была не более возможной, чем отступление. Хуже того, их борьба могла навеки остаться неизвестной и даже могла не служить чести еврейского народа. Существуют душераздирающие свидетельства того, как бойцы в гетто чувствовали себя перед последней битвой. Вот последнее письмо Мордехая Танненбаума, написанное сестре в страну Израиля в ночь накануне последней облавы. Это письмо, ушедшее из Белостока за несколько часов до начала восстания, чудом добралось до Палестины:

«Узнает ли кто-нибудь когда-нибудь историю нашей героической борьбы? Мы все исчезнем без следа. Нет больше Иссака, нет Зивы, нет Фромки, нет никого из наших старых товарищей... Люди смотрят на меня с мольбой и стыдом. Кажется, что они говорят: “Еще нет. Может быть, в следующий раз”. Как люди хотят жить!.. Но теперь это на самом деле конец. Завтра начинается большая облава. Если бы я считал это необходимым, мы бы могли увидеться опять. Цена этому — мое достоинство. Но я не хочу. Не нужно. И ты не будешь плакать, правда? Это ничему не поможет. Теперь я это знаю».

Они не скрывали от Шокена, что им предстоит умереть, так

как не было никакой альтернативы.

— Наша единственная свобода — это свобода выбора между двумя способами умирать, но и она, может быть ни к чему, — сказал ему один из лидеров Сопротивления. — Мы похожи на защитников Мосады, которые в этой крепости на краю света пожертвовали собой до конца, когда сопротивление Риму было уже потоплено в крови, когда Храм уже был в руинах, когда Иудея уже перестала существовать. Зачем бороться, когда все уже потеряно? За честь Израиля? Но уничтожение уже началось, и они не могли знать, что мы переживем изгнание. Для примера? Но это была битва без свидетелей, и история бы никогда не узнала об этом, если бы Иосиф Флавий не решил написать потом «Иудейскую войну». За веру? Возможно, но скорее из веры. Они не рассуждали, они не заботились о значении своей битвы. Они сражались и умирали, вот и все.

— Сколько было таких сражений, о которых мы не знаем, о которых никогда не узнаем? Может быть, потому что в течение всей нашей истории мы, евреи, вынуждены были бороться без надежды, даже без отчаяния, только с верой в Б-га и в Израиль, и наш народ выживал. Сегодня мы можем говорить, что наш народ умирает, и что поэтому наша борьба совершенно бесполезна и наша ненависть напрасна. Но кто знает, не поднимется ли из этого пепла наш народ еще более сильным, чем раньше?

Шокен, которого поместили в передовой дом, ждал дня битвы с особым напряжением. Гетто было окружено, больше никто из него не выходил. Молчание смерти висело над улицами, которые несколько месяцев назад были полны жизни. На рассвете и в сумерках проходили колонны рабочих, людей, уже приговоренных, живых теней. Целые здания стояли пустыми, но воспоминания, точные и холодные воспоминания, говорили живым о мертвых, врывались к ним в разгар их ежедневного существования. Накрытый стол говорил о том, что семью забрали как раз, когда она собиралась садиться есть, разорванная перегородка — о том, что потайное место было обнаружено, неубранная кровать — о том, что смерть пришла во время сна.

Первая атака началась перед рассветом. Это было девятнадцатого января. Охрана — украинцы, литовцы, латыши, белорусы шли впереди, потом польская полиция и, наконец, специальные отряды СС. Они продвигались без страха, занимая середину дороги. Еврейский командир разрешил им пройти линию защитников, не открывая огня. Ружейный огонь взорвался сразу же отовсюду, и те, кто были смертельно ранены, и те, кто были насмерть напуганы, падали одинаково. Из всех домов раздавался невероятный шум. Вторая атака началась сразу после полудня. Дом Шокена держался три часа. Потом оглушенные громовым огнем танков, полевой артиллерии и поспешно брошенных подкреплений, евреи были окружены огнеметчиками.

Когда борьба за каждый шаг, за каждый этаж подошла к концу, командир дал приказ отступать. У защитников не было альтернативы, только прыгать из окон. Раненый Шокен прыгнул первым с криком: «Живи Израиль!». Он был без оружия и не хотел попадать в руки немцев живым. Но когда он увидел, что земля приближается, последним рефлексом сдвинул ноги и закрыл руками лицо. Придя в себя, первое, что он увидел, было кольцо окруживших его автоматчиков. Не двигаясь, он взвесил свои шансы. Можно было перепрыгнуть несколько метров, отделявших его от ближайшего врага, схватить его оружие, стрелять и пытаться бежать. Шансы на успех были минимальными, все зависело от быстроты его прыжка.

Но когда Шокен встал на ноги, то понял, что проиграл, что он никогда больше не сможет прыгнуть, что ему суждено умереть. Его правая нога была сломана.

Потом из глубины охватившего его отчаяния возникла мысль: попасть в Треблинку, найти Галевского и сказать ему, что борьба все-таки возможна и что единственная победа может прийти только со дна пропасти.

С помощью других депортируемых, Шокену удалось попасть на Умшлагплац, где их ожидал эшелон в Треблинку. Всю ночь он боролся с бредом и смертью. Эшелон загружали очень быстро и, к счастью, вагон не был полон. Шокен мог лечь. Боль в ноге немного утихла, но пуля, которую он получил в грудь в ходе утреннего сражения, причиняла ему большие страдания. Он чувствовал близость своей смерти, и дорога казалась ему вечной. Холод и лихорадка трясли его долгим ознобом, который к утру перешел в постоянную дрожь. Он несколько раз терял сознание, но так сильно было его желание продержаться до Треблинки, что каждый раз он приходил в себя. Все его существо напряглось в одном стремлении: снова увидеть Галевского.

Эшелон останавливался несколько раз, пока не вошел в лагерь. Двери вагонов распахнулись и начали раздаваться приказы и крики. Те, кто мог ходить, вышли первыми, затем появились «голубые», чтобы забрать багаж и раненых.

— Полегче, друзья, я ранен, — сказал Шокен двум евреям, которые наклонились над ним. — Абсолютно необходимо, чтобы я увидел Галевского.

Они удивленно взглянули на него.

— Я был здесь раньше. Я бежал и теперь...

— В этом эшелоне было много раненых и «госпиталь» был переполнен. «Голубые» положили Шокена в стороне и попросили Курлянда попытаться взять его последним, чтобы у них было время найти Галевского.

Шокен закрыл глаза, чтобы сберечь оставшиеся силы. Галевский не узнал его сразу и, видя, что он не двигается, решил, что он мертв. Он уже собирался уйти, когда Шокен чувствуя чье-

то присутствие, открыл глаза:

— Галевский, — прошептал он, — это я, Шокен.

— Шокен? — протянул Галевский, не веря.

Не давая ему времени на сомнения, Шокен продолжал:

— Вы ничего не можете сделать для меня. Я умираю. Но это неважно, потому что я нашел вас.

— И он рассказал свою историю. Вот почему я хотел увидеть вас. Вы должны что-то сделать. Что-то такое, что будет как символ, который войдет в историю. Есть много героев, столько же, сколько трусов, но все они находят конец в Треблинке. Что нам нужно, это победа, победа мертвых.

Голос Шокена становился все слабее и слабее, и Галевский вынужден был наклониться, чтобы слышать, что он говорит.

— Из одной ненависти и жажды мщения еще ничего не получится. Не смерть в отчаянной битве нужна нам. Даже убить немцев не так важно. Что нам нужно, это победа и свидетели, чтобы рассказать о ней, свидетели, Шломо, свидетели победы евреев над СС. Прощай, Шломо, до встречи в земле Израиля.

Галевскому не нужно было наклоняться, чтобы увидеть, что Шокен мертв. И как эхо последних слов его друга, губы его сами начали читать кадиш: «Исгадал веискадаш...» — «Да возвеличится, да освятится...» Но это было больше чем молитва, это была клятва, которую давал Галевский, клятва бороться до победы, как Шокен боролся до смерти.

Вдруг он вздрогнул, услышав, как Лялька позвал его:

— Что у нас здесь, Галевский?

— Ничего, господин унтерштурмфюрер — мертвый еврей!

ГЛАВА XIX

В тот же вечер Галевский собрал Комитет. Один факт обеспокоил его. Узники, узнавшие, что произошло в Варшаве, взволновались и отказались тащить двух своих раненых товарищей в «госпиталь».

Галевский начал с того, что представил собравшимся Джело. Разительный контраст был между этим уверенным в себе человеком, находившимся в прекрасной физической форме, которого забота Адольфа избавила от стремительного падения на дно пропасти, и другими членами Комитета. Те выглядели истощенными, больными, с темной нечистой кожей — последствиями недолеченных болезней, глаза их разучились смотреть прямо. Они так привыкли видеть и других узников такими же, что им стало казаться, будто они были такими всегда, и что если не все люди, то уж, по крайней мере, все евреи, только так и выглядят. Джело, в его военной форме, армейских сапогах, загорелый и чисто выбритый, выглядел среди них как существо из другого мира. Когда узники увидели его, они поверили, что

восстание обязательно состоится.

Джело говорил:

— Я не знаю, много ли вам даст моя помощь, но я знаю одно — я обязан вам своей жизнью. Я также знаю, что вы спасли меня не без причины. Я надеюсь, что буду достоин доверия, которое вы мне оказали. Вот план, который я предлагаю. Единственное слабое место в нем — это проблема оружия. Реальным решением может быть попытка достать его из лагерного арсенала. Мы поговорим о возможности такого предприятия после того, как я представлю вам свой план.

Четкие фразы, ровный голос — это говорил командир. Все почувствовали это и были довольны.

— Операция будет происходить в три фазы: подготовка, выполнение и отход. Я лично придаю важнейшее значение первой фазе. Если у нас есть какие-то шансы на успех, они будут зависеть от того, что произойдет в этот период. Мы должны извлечь преимущество из фактора полной внезапности. Не должно быть никакой утечки информации. Мы должны сделать все, что можем, чтобы усыпить бдительность немцев. Наши встречи могут показаться подозрительными и привлечь внимание доносчиков. Первое, что мы должны решить, это что делать с доносчиками. Их нужно или подкупить или уничтожить. Я лично склоняюсь ко второму решению.

— Невозможно, — сказал Галевский. — Это только укрепило бы подозрительность немцев. Во время эпидемии тифа, когда врачи хотели, чтобы они умерли, Кива сделал врачей ответственными за их жизни.

— Но мы идем на большой риск, позволяя им остаться в живых.

Вопрос обсуждался еще некоторое время и все пришли к заключению, что убить их также невозможно, как и подкупить. Наконец, Курлянд нашел решение. Джело навел его на эту мысль, спросив, нельзя ли, по крайней мере, запугать их.

— Есть два вида доносчиков, — сказал он, — профессионалы и любители. — Как лагерный историк, Курлянд изучил все сложности системы. — Доносительство в Треблинке организовано очень хорошо, т.е. полностью по немецким правилам. Есть три профессионала: Хацкель, Влау и Куба Якубович. Первый — идиот, второй — чудовище, а третий — печальный случай. То, как он стал доносчиком, во многом показывает силу людей, подобных Киве.

До того как он заболел, Куба был выдающимся человеком. Бывший студент-медик, он проводил ночи, помогая и успокаивая других. Днем он работал, и его били, ночью он заботился о больных. Мне рассказал его историю доктор Рыбак. Она будет темой для размышления тем, кто думает, что имеет право судить других. Однажды Куба тоже заболел, и его взяли в лазарет.

Он оказался прикованным к койке, неспособным двигаться, полностью во власти своих убийц. Неизбежное произошло. Однажды утром Кива наклонился над ним с улыбкой и ласково спросил: «Ты, кажется, болен?». Вот тогда-то Куба и сломался — он расплакался. Но знаете, что сделал Кива? Он погладил его руку и сказал с притворством: «Ну, ну, не плачь. Мы о тебе позаботимся. Ты поправишься и скоро выйдешь отсюда». Потом он ушел. Бедный Куба сам не понимал, что с ним происходит. На следующий день Кива вернулся с пакетом апельсинов, еще через день с куском колбасы. Через неделю Куба был вылечен и начал свою карьеру доносчика.

Этих троих никто не может тронуть. Однако они так хорошо известны, что им никто не доверяет. Куда бы они ни подошли, разговоры прекращаются. Те, к кому они обращаются, отворачиваются. Так даже лучше. Их появление означает то же, что появление немца или украинца. И это не они собирают информацию, а маленькая кучка «любителей», которых купили за кусок хлеба и которые воображают, что имеют за свою шпионскую работу защиту Кивы. Но Кива их и не знает, поэтому именно от них нам следует избавиться.

— Существует опасность, что их непосредственный начальник что-нибудь заметит?

— Нет, если все будет сделано достаточно аккуратно. Они могут подумать, что это новая эпидемия самоубийств.

Комитет обсудил эту идею и одобрил предложение повесить определенное число доносчиков так, чтобы это выглядело как самоубийство. При этом было оговорено, что приговор может быть объявлен только после тщательного расследования. Адольфу было поручено выбрать из своих боевых групп людей для исполнения приговора.

Продолжая свой доклад, Джело предложил, во-вторых, чтобы они не открывали никому ничего из своих планов, даже тем, кто должен был принимать участие в операции. Все согласились, кроме Галевского.

— Случай, который произошел сегодня, доказывает, что люди начинают оказывать сопротивление. Впервые за время существования Треблинки заключенные сознательно отказались повиноваться. Такой факт имеет для нас и положительное и отрицательное значение. С одной стороны, это вызывает надежду, что все последуют за нами, с другой, если это будет повторяться, немцы усилят жестокость. Предоставленные самим себе, люди могут сделать все, что угодно. Но если мы посоветуем им быть терпеливыми, посоветуем им ждать кое-чего, мы значительно снизим риск отчаянных поступков. Что бы мы ни делали, давайте не забывать, что восстание будет делом не кучки людей, а большинства. Все, кто уйдут отсюда, унесут одну и ту же информацию, но шансы выжить в лесах настолько малы, что

это будет божьей милостью, если, в конце концов, хоть один останется в живых.

Джело не понимал этого коллективного масштаба движения. Он был евреем, но он был и солдатом. И возражения Галевского, представлявшего массу узников как неконтролируемую взрывную силу, заставило его заколебаться.

— Но введя многих в курс дела, мы значительно увеличим возможность неудач, подобных той, что произошла с доктором Хоронжицким. И если мы назначим дату восстания, мы потом не сможем отложить ее, потому что взрывная сила, о которой вы говорите, может обрушиться на нас.

— Возможно, — ответил Галевский, не совсем убежденный. Победила точка зрения Галевского.

Джело неоспоримо был военным руководителем восстания. Но такое восстание не могло быть делом одного человека или группы людей. Комитет организовывал его, направлял, разрабатывал детали. Но в жизнь его претворили заключенные. Восстание, также как и уничтожение, было коллективным действием. Поднимались все, потому что в этом был смысл выполнения великой задачи. Каждый в отдельности знал, что у него мало шансов выжить, но он также был уверен, что, по крайней мере, хоть один «избранный» останется в живых и расскажет обо всем.

Случай с Иосифом Раппопортом прекрасно иллюстрирует это состояние умов. Раппопорту, сильному, хорошо сложенному, с простодушным покрытым шрамами лицом, было двадцать лет, когда его привезли в Треблинку. Однажды он работал на сортировочной площадке, когда пришел немец и вызвал десять добровольцев для небольшой работы на час. Он вызвался и его забрали в Лагерь Номер Два. Больше уже в Лагерь Номер Один он не вернулся. Каждый день огромные двери бункеров газовых камер распахивались у него перед глазами, открывая груды мертвых тел, так плотно прижатых друг к другу, что казалось смерть, сплавила их вместе. Лагерь был окружен песчаной насыпью, которая заслоняла собой все вокруг. Его мир был ограничен трупами внизу и небом наверху. Трупы и небо, небо и трупы, и избиения, и бег с тяжелой страшной ношей, и голод, и смерть.

Однажды в зимний день, привлеченная запахом трупов, в середине двора опустился ворон. Все часовые одновременно открыли огонь, заставляя трупы подпрыгивать под градом пуль. Удивленная птица пыталась улететь прочь. Огонь усилился, пока пуля, наконец, не попала в нее. Для узников это происшествие имело символическое значение, они говорили друг другу: «Если даже птица не может улететь из лагеря, как это сможем мы?»

Странная интуиция всегда говорила Раппопорту, что он уйдет из Треблинки живым, но при виде этой птицы его надежда

угасла. В ту ночь он видел сон: он был во дворе среди трупов, когда мощный звук прорезал воздух, заставив всех замереть. Евреи и немцы остались на своих местах, неподвижные как статуи. Звук стал еще сильнее, и в небе появился огромный самолет, зависнув над самым двором. Дверь в его борту открылась и оттуда вывалилась веревочная лестница, конец которой упал на землю к ногам Раппопорта. Он начал карабкаться по ней наверх на глазах у пораженных зрителей. Самолет улетел, он был спасен.

День, в который прилетел ворон, был единственным, когда он сомневался, что ему удастся уйти из Треблинки. Он не знал, как он выберется. Способы, которые он рисовал в своих мечтах, были, в основном, фантастическими. Иногда он убегал, иногда он копал туннель, иногда отряд партизан нападал на лагерь и освобождал его, Раппопорта, его одного. Он был свидетелем. В будущем он видел себя мультимиллионером, путешествующим из страны в страну, везде окруженный толпами слушателей, пришедших послушать, что он рассказывает. Он говорил и говорил без конца. Он был свидетелем.

Сегодня он живет в Израиле, и когда он рассказывает о лагере, его лицо искажается болью. Мистик из ада, пророк из пропасти, он возвращается в это место, которое, он еще тогда знал, он покинет, но в памяти он навсегда останется там.

После того как главные стратегические вопросы были решены, Джело перешел к непосредственным приготовлениям к восстанию. Он быстро обрисовал предполагаемый метод добычи оружия. Даже если нам удастся заманить эсэсовцев к портным и убить их, мы не получим много автоматов. Хуже того, у нас не будет ни одной гранаты. А гранаты дали бы нам возможность с самого начала посеять панику среди немцев и украинцев. Но есть способ как заменить психологический эффект гранат. Он требует большой координации, но он осуществим. Адольф рассказал мне, что каждую неделю специальная команда моет все бараки в лагере особой дезинфицирующей жидкостью. Эта жидкость хранится в гараже вместе с бочками с керосином. Рудек, еврейский мастер гаража, один из наиболее надежных командиров групп. Мы не хотели спрашивать его согласия перед тем, как говорить с вами, но Адольф уверяет меня, что он будет согласен. Так что или нам придется посвятить в идею восстания людей, ответственных за дезинфекцию, или, — Джело повернулся к Галевскому, — поставить наших собственных людей на эту работу.

Галевский кивнул головой в знак того, что это возможно.

— В день «Д» эти люди наполнят свои ведра керосином вместо дезинфицирующей жидкости и вымоют им все бараки.

Это был яркий замысел и каждый смог представить себе картину лагеря, охваченного огнем.

— Дезинфекция проводится по утрам в понедельник, так что

день «Д» должен быть понедельником. В нашем распоряжении будет мало огнестрельного оружия, поэтому нам придется изготовить много подручных средств, таких как железные прутья, лопаты и т.д. Это будет делом слесарей и жестянщиков. В этой связи Адольф выдвинул идею об изготовлении купоросных пистолетов из резиновых груш. В лагере очень много купороса, это будет легко. Если их умело использовать, это эффективное оружие. Тем, у кого они будут, следует перед самым началом атаки подойти близко к немцу или украинцу и, облив его серной кислотой, немедленно разоружить.

— Давайте внимательно рассмотрим час «Ч».

— Час «Ч» минус 60 минут. Портные и сапожники убивают своих немцев, забирают их пистолеты и тщательно прячут.

— Час «Ч» минус 5 минут. Команда поджигателей занимает места около бараков из расчета два человека на барак.

— Каждый стрелок выбирает немца или украинца и обливает его серной кислотой. Эти люди должны быть очень меткими, так как их задачей потом будет нейтрализовать часовых на вышках.

— Команда, составленная из исключительно надежных людей, идет к дверям портновских и сапожных мастерских и готовится получить оружие. За эту команду будет персонально отвечать Адольф.

— Наконец, каждый, у кого будет какое-нибудь подручное средство или дубинка как бы ненароком выбирает себе немца или украинца.

— Час «Ч». Было бы неразумно выбрать сигналом к атаке выстрел, потому что выстрелы слышны в лагере каждый день. Если мы решим назначить час «Ч» на 16.00, сигналом будет гудок паровоза, который привозит заключенных из рабочего лагеря. Эта деталь будет разработана позже. Первые минуты будут наиболее критическими, потому что в это время мы будем под огнем сторожевых вышек и не сможем отвечать. Поэтому, как только вспыхнут бараки и охрана будет атакована, команда Адольфа, имеющая взятое у немцев оружие, помчится к арсеналу и возьмет его штурмом. Каждый человек захватит винтовку и возьмет на себя одну из сторожевых вышек. Тем временем, боевые группы будут стекаться к арсеналу, чтобы получить оружие и немедленно занять боевые позиции.

— Массовый отход придется осуществлять на юг, в направлении лесов. Поэтому две группы, которые в дальнейшем будут действовать как разведчики, двинутся в южную часть лагеря, тогда как другие направятся в западную, северную и восточную части, чтобы защитить других.

— К этому времени лагерь будет полностью захвачен и превращен в пепел. Голос Джело обладал зачаровывающей, воодушевляющей силой. Остальные члены Комитета смотрели на него как завороженные. Этот человек казался им посланцем

с небес, ангелом со сверкающим мечом, который пришел вести их к победе. Они больше не сомневались в этой победе. Она была здесь, перед их глазами, красная как горящий факел, непобедимая как меч архангела.

— И тогда начинается третья, возможно наиболее трудная часть — отход. В это время мы будем хозяевами лагеря, но немцы будут реагировать быстро. Мы можем ожидать их контратаки в две фазы. Нападение со стороны близлежащего гарнизона произойдет через полчаса. Для второй фазы будет мобилизовано значительно большее число боевых единиц и, вероятно, это будет настоящее прочесывание местности. Если все пойдет хорошо, первой контратаки нам нечего бояться. Вероятнее всего, вражеские подкрепления, не понимая ясно, что происходит, будут стекаться к лагерю разрозненно. Но поскольку на пути от лагеря до леса гарнизонов нет, то уходящие из лагеря не встретят сопротивления. Двух боевых групп будет достаточно, чтобы вести всю массу. Сила немецкой контратаки обрушится на наш тыл.

— Мы примем бой в самом лагере, чтобы дать возможность основной массе узников достичь леса. Потом мы сами сделаем попытку отходного маневра. Скажу вам откровенно, такое отступление в открытую местность противоречит всем предписаниям военных учебников, и шансы на успех исключительно малы. Мы, несомненно отобьем первую атаку, но что случится потом, только Б-г знает.

— Однако будем считать, что основная масса узников, руководимая двумя боевыми группами, тем временем достигнет леса. Начнет смеркаться, и сомнительно, чтобы тяжелые вражеские подкрепления, которые прибудут к этому времени, сразу же начнут операцию прочесывания. Как правило, никто не делает этого ночью, а особенно в лесу. Кроме того, немцы еще не оправятся от внезапности, и не будут иметь точного представления о размере наших сил. Поэтому мы можем допустить, что задержанные нашим сопротивлением, они предпочтут использовать ночь для того, чтобы подготовить широкую сеть поиска и не начнут прочесывания до утра.

— Поскольку немцам надо вновь захватить всех узников, они приложат максимум усилий, и, несомненно, вызовут танки и бронетранспортеры. Такая возможность означает, что мы будем не в состоянии сражаться на следующий день. Поэтому, как только достигнем леса, нам придется разбиться на много маленьких групп, каждая из которых будет пытаться добираться до чащи леса самостоятельно. Кого-то поймают, но другим удастся уйти.

Джело на секунду замолчал и закончил коротко, лишенным эмоций голосом:

— Что до нас самих, ну, так я не думаю, что наша цель — спасти свои жизни.

После долгого молчания дискуссия медленно возобновилась. Снова обсуждалась проблема оружия, и Джело признал, что его решение можно рассматривать только как крайний вариант. Комитет единодушно решил, что они должны будут изучить возможность украсть оружие из арсенала.

Затем Курлянд поднял вопрос о Лагере Номер Два.

— Это факт, что мы не знаем о том, что там происходит. Эти люди находятся на последней фазе круга смерти и их свидетельства были бы существенными для истории.

Было решено попытаться установить контакт с заключенными Лагеря Номер Два.

Час подъема приближался. Стояла глубокая ночь. В комнате установилось молчание. В дверном пролете через равные интервалы появлялся и исчезал силуэт часового. Джело, который на протяжении всего заседания стоял, сел на одну из деревянных коек, поддавшись очарованию надежды. Каждый из повстанцев хотел бы остановить это мгновение. Никто не осмелился уходить. Все понимали, что сегодня был сделан решающий шаг, и теперь нет возможности повернуть назад.

ГЛАВА XX

Когда Лялька услышал о случае неподчинения заключенных, которые отнесли своих товарищей в лазарет вместо «госпиталя», он немедленно отдал приказ присмотреть за ранеными. Таким образом, он санкционировал неповиновение евреев.

Но все же преступление, совершенное узниками, заслуживало немедленного наказания, и таким наказанием могла быть только полная ликвидация...

Необходимо понять Курта Франца.

Весна 1943 была мертвым сезоном для эшелонов в Треблинке. После огромного потока депортируемых летом, осенью и в начале зимы сейчас наступило затишье. Но этот спад не означал, что лагерь собирался закрыть ворота. Наоборот, Ляльку только что проинформировали, что новые эшелоны должны были прибыть из отдаленных точек Европы. Кроме того, эпидемия тифа, несмотря на сильную сопротивляемость евреев, наполовину урезала рабочую силу и значительно сократила выпуск. Соответственно и одежда депортируемых, собранная в кучи на сортировочной площади, была рассортирована не вся, часть ожидала своей очереди. Для этой работы Ляльке требовалась рабочая сила, но поскольку поток эшелонов снизился, он не был уверен, что сможет возместить эту нехватку не только по количеству, но и по качеству. В самом деле, его узники достигли высокой специализации. Это была первая причина, по которой он не мог позволить себе ликвидировать всех заключенных после этого серьезного акта неподчинения. Вторая причина была

в том, что Треблинка — эта отлично налаженная машина — была в состоянии принять огромную массу депортируемых через два часа после уведомления. Для того чтобы машина могла должным образом «обработать» их, все ее части должны были быть на своих местах, все колесики вращаться, а топки гореть, говоря языком промышленности.

В дополнение к техническим причинам у Ляльки были и другие мотивы временно сохранить лагерь. Курт Франц не был обычным тюремщиком или просто начальником концентрационного лагеря. Он был скорее кавалерийским офицером, тоскующим по своему эскадрону. Когда он прибыл в Треблинку, лагерь еще не был отлаженной машиной. Это был унылый пустырь, пересеченный березовыми рощицами. При нем устанавливались первые ряды колючей проволоки, рассчитывались размеры первой братской могилы. Он проводил первые ночи в палатке. Он вспоминал, какой хаос царил вначале кругом, и требовалось большое воображение, чтобы представить, каким будет здесь новый мир. Первые эшелоны, крики, паника, беспорядок — все это отложилось в памяти Франца. Это он приложил первые усилия для организации этого бедлама — назначение капо, специализация рабочих, разделение их на три социальные группы — и из хаоса возникла организация, началась жизнь. И вдруг «потоп», который угрожал всей структуре, этот идиот Макс Билас, который позволил убить себя. Будет ли лагерь разрушен? Пойдут ли его труды насмарку? Уже сентиментально привязанному к нему, ему удалось тогда спасти свое детище после ужасной ночи страстных дебатов. Это был Ноев ковчег. Жизнь началась снова, но на новых основаниях. Путем неустанных усилий Францу удалось превратить лагерь в исключительную машину, где каждая шестеренка, тщательно смазанная, вращалась ровно. Машину, которая с фантастической быстротой, без сучка и задоринки, обрабатывала эшелон за эшелоном.

Эта работа стала его жизнью. Он был привязан к ней, как капитан к своему кораблю, как индустриальный магнат к империи, созданной его руками. Так иногда бывает, что наши творения привязывают нас к себе настолько, что мы становимся их рабами. Лялька ощущал в себе эту высшую степень творческой страсти. Он знал, конечно, что когда-нибудь ему придется разрушить это все своими собственными руками, не оставив ни малейших следов, но этот день был еще далеко. А пока неизбежность исчезновения лагеря только увеличивала любовь к нему.

Так Треблинка была еще раз спасена, также как Б-г, несмотря на свой страшный гнев, каждый раз сохраняет мир, созданный им самим. В этом диалектика творения. Тем не менее акт неповиновения заключенных обнаружил недостаток, который было необходимо срочно исправить. Лялькина политика, как мы видели, основывалась на двойном принципе: впускать достаточно

кислорода, чтобы оставлять живым маленький огонек надежды, и в то же время принимать меры, направленные на то, чтобы убедить евреев в их неполноценности, постепенно унижая их.

Создание должности «начальника дерьма» было одной из таких мер. Тип, выбранный для этого был настолько смешон, с бородой, в костюме кантора с большим будильником и кнутом, что даже евреи не могли не смеяться над ним. Они смеялись над этим чучелом, когда с кнутом, свисающим с плеча, со слезами в голосе он упрашивал их выйти из уборной, после того как истекали три минуты. Он никогда не осмеливался ударить их, ни донести на них, но поскольку он знал, что несет личную ответственность за нарушение, ему оставалось только жалобно просить. Ситуация, в которой оказался этот старик, была настолько юмористической, что никто не мог остаться к ней равнодушным. Достоинство его костюма и торжественность его функций только подчеркивали их нелепость.

— Я прошу вас, — говорил он обычно, — сделайте это для меня. Я прошу вас, выйдите.

Но заключенные, сидя на корточках, смотрели на него, такого высокого и величественного, и не могли не смеяться. Тогда он сердился, изменившимся от волнения голосом угрожал ударить их и, поднимая свой огромный кнут, напрасно пытался хлопнуть им.

Заключенные смеялись, но смеялись они сами над собой, над своей религией, потому что «начальник дерьма» был одним из них, и его костюм был частью их религии.

На перекличке Лялька обычно спрашивал: «Как дерьмо, ребе?» И когда поддельный ребе, одетый как кантор, отвечал: «Очень хорошо», это означало, что в Треблинке ребе не годится ни на что, кроме как заниматься дерьмом. Смеясь сами над собой, заключенные унижали себя. Пережив свои семьи, помогая убивать своих братьев, они издевались над собой и над своей религией.

Этот принцип теперь следовало перенести в другие области.

Также как Б-г, после того как он завершил сотворение мира, создал седьмой день и сделал его днем отдыха, Курт Франц, Принц Ада, решил сделать воскресенье днем отдыха и утвердить это особым способом. Отдых был предназначен для того чтобы усилить приток кислорода и для того чтобы еще раз убедить евреев в их неполноценности. Утро должно было быть посвящено отдыху, а послеобеденное время большому дьявольскому представлению. Его организация давала Ляльке возможность проявить свои способности.

Он начал с отбора артистов. Делал он это с той тщательностью, которую мы часто встречали у него и его коллег.

— Прежде всего, музыка! — Лялька начал с оркестра.

Он приказал капо и мастерам «голубых» и «красных» команд

предупреждать его о наличии в приходящих эшелонах любых музыкантов. Удача сопутствовала ему. Через несколько дней ему сообщили, что в Треблинку привезли знаменитого варшавского виолончелиста и композитора Артура Гольда. Лялька никогда не слышал об Артуре Гольде, но его уверили, что это был один из наиболее выдающихся еврейских музыкантов в Варшаве. Не теряя времени, Лялька вернул его с дороги в газовую камеру, голого и замерзшего. Хорошо отлаженная система уже почти проглотила его. Вначале Лялька приказал принести ему теплую одежду и стакан чая. Затем, когда Гольд немного пришел в себя, Лялька объяснил ему, что он хотел: оркестр, достойный Треблинки. Раздираемый удивлением и освобождением , Артур Гольд не знал, что ответить.

— У вас будет все, что вы захотите в смысле людей и инструментов. Вам нужно будет только сказать мне, что вам нужно, и у вас все будет сразу же. Взамен я хочу оркестр. Если он будет хорошим, вы станете самым важным евреем в лагере, если он будет плохим, я верну вас назад в очередь.

И на следующий день Лялька поехал в Варшаву купить затребованные Гольдом инструменты, чтобы убедиться, что он действительно хороший музыкант.

Гольд сразу же приступил к работе. Вырванный у смерти на самом ее пороге, он всего за одну минуту понял, что такое Треблинка и примирился с этим. На следующее утро, когда прибыл первый эшелон, он стоял на платформе, готовый начать отбор музыкантов.

Свои первые дни в Треблинке он провел на платформе и сортировочной площади: утром на платформу за музыкантами, после полудня — на сортировочную площадь за инструментами. Вскоре у него было все, кроме барабана. Но за этим дело не стало. Курт Франц сам поехал за ним в Варшаву. Он был человек слова.

Репетиции начались тотчас же. Чтобы забрать с работ заключенных, выбранных для оркестра, нужна была лишь просьба Гольда.

Лялька часто приходил и сидел в бараках, где проходили репетиции. Он обычно тихо проскальзывал в угол и слушал, получая удовольствие от мысли, что обладает своим собственным оркестром. Когда он был доволен услышанным, он подходил к Гольду и поздравлял его, и в поздравлениях этих звучало нечто большее, чем похвала. Иногда он даже высказывал свое мнение, и так как не всегда оно оказывалось безосновательным, начинались дискуссии. Лялька критиковал, а Гольд объяснял, и все это почти в дружеских тонах, в атмосфере взаимопонимания. Лялька покорил Гольда. Гольд, в свою очередь, производил впечатление на Ляльку, который в его присутствии становился всего лишь еще одним любителем музыки, уважающим талант маэстро.

В каждом немце, кроме неуемной тяги к работе, таится любовь к музыке, и Лялька не был исключением. С той выдающейся способностью к отрешению, которой обладают некоторые немцы, этот дотошный Исполнитель становился чувствительным поклонником музыки, полным внимания и деликатности, стоило ему только переступить порог барака. Ничего больше не волновало его, кроме этой музыки, ничего не существовало — только этот барак, заполненный гармоничными аккордами. Бывший неудачливый музыкант, он вдруг стал обладателем своего собственного оркестра, как принц эпохи Ренессанса.

Лялька испытывал глубокую любовь к музыке, а Гольд был блестящим музыкантом. Оркестр скоро стал настоящим. Но хотя музыка была хороша, оркестранты представляли собой жалкое зрелище в своих выцветших, потертых костюмах. На репетициях это не имело значения, но было несовместимо с впечатлением, которое требовал от концертов Лялька. Он заказал портным униформу для музыкантов. Он выдумал ее сам: белый пиджак, отороченный голубым, с нотами на лацканах и белые брюки с голубым шелком по швам. Гольду предназначался белый сюртук и лакированные туфли. Затем притащили какие-то подставки для нот, покрытые лаком и с надписью «Золотая Капелла».

В то время как шла работа над созданием оркестра, Лялька занялся организацией остальной программы. Из последующих эшелонов он вытащил танцовщика Вориса Вайнберга, кантора синагоги с прекрасным голосом, который исполнял также оперные арии — Сальвера, сочинителя песен Яжика, двух актрис, чьи имена теперь забыты и драматурга Шенкера, много писавшего в свое время для молодежного театра в Варшаве.

Всем было предложено приготовить, каждому в своем жанре, номер для выступления в грандиозном пышном спектакле Треблинки.

Лялька предложил им сделку, подобную той, которую он заключил с Артуром Гольдом: или они будут работать с самоотдачей и у них не будет причин для жалоб, или они продемонстрируют свою некомпетентность и несостоятельность, и тогда их ждет дорога на «фабрику».

Все начали работу под непосредственным наблюдением Ляльки. Шенкер написал поучительную пьеску о хороших заключенных, которые заставляют работать увиливающего. В длинной убедительной тираде они объясняют, что в каждой работе есть священная добродетель, не зависящая ни от условий, ни от конечной цели. Яжик написал несколько юмористических зарисовок из лагерной жизни, в которых козлами отпущения были привилегированные евреи Треблинки — хоф-юден и капо. Темы поставлял Лялька собственной персоной. Актрисы репетировали монологи, танцовщик разминался, а певец пел гаммы. Треблинка внезапно превратилась в школу, готовящуюся к завтрашним

большим ежегодным торжествам.

Концерт был почти готов, когда прибыли боксеры. Они были из двух традиционных спортклубов, соперничество между которыми доставляло много удовольствия еврейскому населению довоенной Варшавы: «Маккаби» и «Атлетический союз». В период гетто они все работали на одной фабрике, и вот их согнали вместе. Один из капо, зная пристрастие Ляльки к боксу, сказал ему об их присутствии в конвое. Лялька ринулся спасать боксеров, угостил их традиционным чаем, за которым последовало традиционное условие: старание или «фабрика».

Боксеров заставили работать в командах, но их положение, как протеже Ляльки, избавило их от избиений и издевательств. Лялька не жалел никаких усилий, и для них изготовили боксерские перчатки. Организованные в клуб, боксеры начали тренировки. Так как днем они работали, приходилось ждать вечера, чтобы надеть перчатки и сражаться друг с другом по всем правилам этого благородного искусства. Это стало неожиданным развлечением для узников, которые каждый вечер после переклички заполняли двор гетто шумными группами и окружали боксеров, тренировавшихся парами перед великим спектаклем. Один из уцелевших узников рассказывает, что в это время Треблинка «сходила из-за бокса с ума... В свободные вечера можно было видеть группы людей, собравшихся во дворе вокруг двух идиотов с синяками под глазами и распухшими носами, тренирующихся не жалея сил».

Лялька поглядывал на это, и мысль о том, что только люди, потерявшие всякое самоуважение, могут себя так вести, доставляла ему удовольствие. Это было результатом того, как с ними обращались, начиная со времен гетто. Это было доказательством блистательности системы. Курт Франц уверовал, что опасность взрыва миновала.

Лялька решил пойти дальше. Плотники получили приказ соорудить разборный ринг, который будет служить сценой для эффектного зрелища. Именно в такой праздничной атмосфере однажды на перекличке Лялька объявил, что он сдержал обещание, которое он дал, когда стал начальником Треблинки.

— В следующее воскресенье, — сказал он, — вы не будете работать. День Господний будет посвящен отдыху и наслаждению. И так будет каждое воскресенье. Вы будете работать шесть дней, а на седьмой отдыхать.

Затем он дал знак оркестру, который по этому случаю впервые появился перед публикой. Гольд взмахнул дирижерской палочкой, и оркестр взял первые аккорды «Легкой кавалерии».

Лялька лично распланировал воскресные празднества, чтобы не было никаких случайностей. Это было зимнее воскресенье — серое и холодное. Небо, затянутое снежной пеленой, приглушало шум, поднятый собирающими ринг плотниками. Когда они

пришли, хмурые и молчаливые, неся с собой доски, все подумали, что они пришли сооружать виселицы. Целое утро слышались монотонные и приглушенные удары молотка, и вот неожиданно появился ринг, немного успокоивший заключенных. Они стали недоверчиво приближаться. Вскоре их отогнали, чтобы закончить работу, установив с одной стороны кресла, а с другой — скамейки. На завтрак, кроме своей ежедневной порции, узники получили по половине яйца.

В два часа звучит свисток как приказ к построению. Скамейки зарезервированы для хоф-юден и капо, «простые» заключенные должны сидеть на земле. Все догадываются, что кресла приготовлены для немцев. Узники садятся на землю вокруг все еще пустого ринга. Вначале стоит тишина, затем возникают разговоры и атмосфера оживляется. Внезапно кто-то кричит: «Начинайте!» Вот оно: Треблинка стала театром, ринг — сценой, заключенные — зрителями.

Еще несколько минут нетерпеливого ожидания — и появляется оркестр во всей своей красе. Музыканты садятся на ринге напротив все еще пустующих кресел. Вдруг раздается длинный и резкий свисток. Гольд замирает. Толпа моментально затихает. Галевский орет: «Встать!» Все встают. Тишина полнейшая. Украинские часовые у ворот гетто берут на караул. Появляются немцы, впереди, весело разговаривая, идут Лялька и начальник администрации лагеря. Когда они проходят через ворота, оркестр начинает играть гимн Треблинки, недавно сочиненный Гольдом. Лялька в хорошем расположении духа, улыбается. Почти незаметный кивок салютующему ему Галевскому, затем, сопровождаемый остальными немцами, он усаживается в кресло. По приказу Галевского заключенные снова садятся, «аристократия» на скамейки, остальные — на землю. Гимн закончен и оркестр замер в ожидании. Появляются маленькие дети, сыновья хоф-юден, несущие программы. Они раздают их немцам. Лялька погружается в изучение программы, как будто это ресторанное меню. Довольный, он поднимает глаза и кивает Артуру Гольду. Выходит и низко кланяется Сальвер — кантор. Вот-вот начнется спектакль.

Открывает концерт Сальвер. Он поет великую арию из «Лоэнгрина». Треблинка-Байрейт полна страданий бедного Лоэнгрина. Его прекрасный и сильный голос звучит то величественно, то угрожающе, но руки бедного Сальвера мерзнут, и когда он поднимает их чтобы выразить свою страсть, он пользуется возможностью и энергично потирает их. Лоэнгрин превращается в раба. Лялька первый начинает аплодировать. Очень элегантно он касается пальцами правой руки ладони левой. Вслед за ним не жалеют аплодисментов и заключенные. Так как с них ничего, кроме аплодисментов не требуют, они стремятся доказать свою лояльность. Да и согреться им тоже надо.

Часть вторая: смена декораций. Треблинка-Байрейт превращается в Треблинку-Пигаль. Дремучий лес становится ночным клубом. На ринг выпрыгивает Яжик. «Добрый день, дамы и господа, в этот раз мюзик-холл Треблинка счастлив показать вам несколько сцен из нашей будничной жизни. Они были написаны, чтобы развлечь вас, а ваш покорный слуга надеется, что вы не узрите в них ничего дурного». Музой Яжика был Лялька, и поэтому аристократия высмеивается беспощадно. Капо и хоф-юден стали козлами отпущения. Над одним смеются за его манию подражать Ляльке, над другими за слишком начищенные сапоги, над третьим за прусскую стрижку, еще над одним — за показную элегантность. Сделано это с большим юмором и стрелы попадают прямо в цель. Это пробуждает классовое сознание и люди начинают аплодировать, не дожидаясь сигнала.

Монек, старательно подражавший Курту Францу, изображен как червь, страстно влюбленный в звезду. Монек не пользуется популярностью и поэтому запоминается лишь первая часть сравнения. Даже осведомители получают свой куплет: «Три маленькие птички жили-были. По утрам и вечерам они долбили: Тук-тук. Тук-тук...»

Чернеет лицо Кивы, а Лялька расплывается в улыбке. Праздник, кажется, удался. Под аплодисменты Яжик покидает ринг, но потом возвращается и раскланивается. Гром аплодисментов.

Постановка не столь успешна. Пьеса кажется пародией на советский соцреализм. Но Лялька ждет. Двумя резкими хлопками он призывает всех к порядку. Заключенные поспешно подчиняются, тем более, что появляются боксеры, подпрыгивая, чтобы согреться. «Маккаби» против «Атлетического союза» в трех раундах. Зрители делают ставки. На «Маккаби» ставят пять килограммов апельсинов к одному. «Маккаби» легко выигрывают первые два раунда, но с еще большей легкостью проигрывают третий. Все это происходит быстро, даже слишком быстро. Вот-вот упадет занавес и сон кончится. Треблинка снова станет Треблинкой. Программа подходит к концу. Заключенных охватывает чувство уныния и безысходности. Пусть сон продолжается, позабыть хоть на некоторое время, кто они и где они, только бы не думать, что они обречены, выброшены из жизни, что скоро опять в холодные бараки, что терзающий голод еще долго не даст заснуть, что завтра перед рассветом их заставит вскочить гудок паровоза с первым эшелоном евреев, которых отправят в газовые камеры.

Но Лялька приготовил сюрприз, гвоздь всей программы. Он подзывает Монека и что-то ему говорит. Монек выслушивает его, удивленный, поворачивается и взбирается на ринг. Шоу продолжается. Любительские бои. Желающие приглашаются на ринг. Сам Курт Франц будет вручать призы победителям. Люди

застывают в нерешительности, пробуют мускулатуру. Один встает, потом другой, за ним третий и еще двое. Немного смущаясь, они выходят вперед. Им нужно надеть трусы боксеров, которые тем временем переоделись. Под подбадривающие крики толпы, предвкушающей развлечение, на ринг поднимается первая пара. Два «боксера-профессионала» поднимают руки в приветствии. То, что они больше занимались уличными драками, чем боксом, сразу же становится очевидным. Лялька встает. «Вы не женщины, и здесь не для того, чтобы гладить друг друга». И заканчивает: «Пусть победит сильнейший». Начинается бой. Захваченные игрой, два главных героя не жалеют сил. И вдруг это перестает быть игрой, один из соперников наносит запрещенный удар, другой, провоцируемый толпой, шумно выражающей свои симпатии, выставив кулаки, переходит в рукопашную. Соперник изувечен и падает, но, падая, наносит подлый удар ногой, и противник, взревев от боли и ярости, снова атакует.

В ту ночь в бараках заключенные смотрели друг на друга ошеломленно и пристыжено. Когда подошло время траурной молитвы, многие не могли сдержать слез, думая о своих семьях, уснувших неподалеку. Мало того, что они позволили другим себя унизить, они унизили сами себя, сыграв этот спектакль для своих убийц. Неумолимая логика системы привела их к последней степени разложения — разложения души. В тот день, казалось, они лишились остатков человечности.

Это окончательное падение, эта полная деградация и есть, вероятно, проявление самого трагичного, так как основная его причина заключается как раз в необыкновенной жизненной силе евреев. Несмотря на все унижения, несмотря на неизбежность смерти, несмотря на агонию своего народа и страшное преступление против него, — свидетелями и соучастниками чего они были, заключенные не отреклись от жизни. Как только тяжесть смерти начинала ослабевать, они неуклонно карабкались вверх со дна бездны. Также как пробка, которую держали под водой, сразу же выскакивает на поверхность, как только ее отпускают, как пружина распрямляется, когда ослабляют давление, как вода прорывает дамбу по первой же трещине, так и узники бросились в жизнь при первом же признаке весны. Эта кажущаяся смерть была только зимней спячкой.

Для евреев главным врагом были не Гитлер или Курт Франц, врагом была смерть и даже худшее , чем смерть — отчаяние. Гитлер, Курт Франц или Исполнители, эти Прометеи смерти, были только инструментами неизмеримо огромной системы. Эффективными инструментами, несомненно, как показали результаты, но все-таки инструментами. Войны ведут люди, но они объединяются во имя идей, и победитель — не тот, кто потерял меньше людей, а тот, чьи принципы выжили. Главной ставкой в войне нацистов с евреями была сама жизнь. Когда люди

говорят о войне 1939-1945 гг., они смешивают две совершенно разные войны: войну Германии со всем миром и войну нацистов против евреев, войну идеи смерти против идеи жизни. Евреи в своей войне были одиноки, да иначе и не могло быть. Один из лидеров восстания в Варшавском гетто отразил это одиночество в страстном послании: «Мир молчит. Мир знает, невозможно, чтобы он не знал, но мир молчит. Представитель Бога в Ватикане молчит, Лондон и Вашингтон молчат, американские евреи молчат. Это молчание удивительно и ужасно».

Но жить — это значит воспроизводить условия для жизни. Жизнь идет не в пустоте. Парадоксально, но первой победой евреев был случай, когда друг вышибал ящик из-под ног своего товарища, если тот хотел повеситься.

Потом была надежда, реальная или воображаемая, сначала — побега, потом — восстания. В конце концов, когда жизнь вернула себе свои права, появились развлечения: вечерний бокс во дворе гетто и только что закончившийся большой спектакль. Именно потому, что заключенные не потеряли любовь к жизни, именно потому, что они никогда ни на мгновение не усомнились в ней, они так искренно присоединились к игре Ляльки, который заманивал их, казалось, также просто, как Исполнители заманивали своих евреев.

В ту ночь в бараках еще громче слышались заупокойные молитвы. Главное чувство, которое испытывали узники, был стыд. Униженные, они смотрели друг на друга, как будто говоря: «Не хуже ли мы наших врагов, мы, сделавшие себя посмешищем? Не стали ли мы так испорчены, что они могут заставлять нас смеяться над собой на могилах наших братьев?»

Неужели ничего не осталось от великих моментов воодушевления, когда бараки, казалось, готовы были взорваться? Неужели ничего не осталось от яростного желания жить, выступить перед всем миром как свидетели, восставать? Куда делись вожди? Куда делись Честные Люди? Что они делали сейчас? Что сталось с Комитетом? Неужели он тоже погиб? Неужели он потерпел поражение еще до сражения? Заключенные не знали имен своих вождей, но верили, что они существуют, что они, невидимые, где-то среди них. И ропот их голосов рос, полный упрека и возмущения: «Почему вы покинули нас?»

Лежа рядом, неподвижно, Джело и Адольф слушали жалобы своих братьев. Они молчали. Хотя им очень хотелось бы встать и объявить великую весть: время восстания наконец пришло. Но Комитет решил ничего не раскрывать до последнего момента.

ГЛАВА XXI

Все началось в день, когда каменщикам дали задание соорудить бетонное здание между двумя немецкими бараками.

Когда Монек принес эту новость в Комитет, Галевский понял, что должно произойти что-то важное. Все здания в лагере, за исключением газовых камер, были деревянными. Что заставило немцев вдруг строить их из бетона, когда так трудно добывать цемент? Еще более удивительным был тот факт, что свободное место между двумя бараками было шириной всего в несколько метров. Следовательно, строение могло быть небольших размеров. Все это очень обеспокоило Монека, и поэтому он решил сообщить Комитету.

Все согласились, что такое сооружение было странным. Как и Монек, они были озадачены, почему это сооружение должно было быть таким прочным. Монеку поручили выяснить, что собой представляет новый проект. Он без труда раздобыл план работ и принес его на следующий день. Все жадно склонились над планом, чтобы раскрыть его секрет. Выяснилось три момента: помещение не будет сообщаться с немецкими бараками, окна будут очень узкими, а стены будут толщиной в полметра. Вывод был очевиден — это не жилое помещение. Тогда что же это? Склад оружия! С минуту все молчали. Это было слишком хорошо.

Совпадение?

— Дар божий, — пробормотал Курлянд, — манна небесная. Б-г услышал нас. Он за нас.

Галевский был спокоен.

— Не будем радоваться раньше времени. Мы не уверены, что это действительно склад оружия. И построить такой склад — это еще не значит иметь оружие. Нам еще нужно пойти и взять его: попасть на склад, вынести оружие и принести его сюда, ни на секунду не попав под подозрение. Потом мы должны будем спрятать оружие на какое-то время до восстания, а это значит, что мы будем в течение этого времени во власти каждого немца, который войдет в здание склада.

— Джело согласился с этим и предложил взять только гранаты. По его мнению, каждый автомат мог быть приписан к отдельному немцу. Владелец мог бы прийти за ним в любой момент. Гранаты же анонимны, и их будет достаточно, чтобы посеять панику. Но толщина стен исключала возможность штурма склада. Значит, нам нужно иметь ключ, — продолжал Галевский, поворачиваясь к Монеку. — Я рассчитываю на твоих слесарей. Дверь обязательно пройдет через их мастерскую.

Здание еще не начали строить, никто не знал, что немцы будут держать там, но все уже было спланировано. Плотники и слесари были предупреждены. У каждого появилось ощущение, что он стал кошкой после того, как очень долго был мышью.

В конце недели никакой двери плотникам еще не заказывали и члены Комитета недоумевали, что же происходит. Здание было готово к середине следующей недели, но про дверь все еще ничего не было известно. Еще не была закончена даже дверная рама, это

был все еще зияющий проем, гораздо более широкий, чем он должен был быть по плану. Один из каменщиков сказал Монеку:

— Похоже, что они собираются вставлять железные решетки.

Комитет оказался в тупике, пытаясь понять, что же придумали немцы. Монек все время ходил от столяров к слесарям и обратно. Начались музыкальные и театральные репетиции, в лагере воцарилась странная атмосфера. Комитет собрался снова, чтобы обсудить обстановку. Это было пленарное заседание. Джело и Адольф присутствовали на нем. Галевский был чрезвычайно пессимистичен.

— Я думаю, — начал он, — что мы приближаемся к концу. Быть может, он еще не рядом с нами, но он уже виден. Количество эшелонов сокращается. Все они опять прибывают из Варшавы. Треблинка была создана для уничтожения варшавских евреев, и по нашим подсчетам их прибыло уже полмиллиона. Мне кажется, что этот оркестр, эти готовящиеся спектакли предназначены, чтобы усыпить наши подозрения. Конец Треблинки близок, и мы не можем ждать бесконечно.

Он говорил нетвердым, взволнованным голосом. Дыхание было неровным. Он был болен, очень болен.

— Истощение, — сказал доктор Рыбак и прибавил по профессиональной привычке, — вам следовало бы больше заботиться о себе. Что вам нужно, по правде говоря, так это подольше отдохнуть, ни о чем не беспокоиться, хорошо выспаться и нормально питаться.

— Что вы скажете о лечении в Баден-Бадене? — серьезно спросил Галевский.

— Это как раз то, что нужно, — ответил доктор, поддерживая игру. Слушая их, Джело понял, что Галевский болен.

— Вам действительно нужно немного отдохнуть, — сказал он.

— В Баден-Бадене?

Все заулыбались. Джело продолжал обсуждение.

Я думаю, что вы правы, — сказал он, повернувшись к Галевскому. — С другой стороны, у нас нет причин для паники. У нас есть возможность узнать, когда лагерь будет ликвидирован. Пока не будут отправлены все вещи и одежда, мы будем нужны немцам, и они не ликвидируют нас. Значит, нам нужно только следить за запасами на складах. Исходя из скорости работы и размера запасов, можно предположить, что нам осталось более полутора месяцев. Полтора месяца — это масса времени.

— Вы правы, — пробормотал Галевский, — но временами мне не хватает сил. И потом... я так хочу увидеть это восстание.

Джело очень уважал Галевского. Адольф рассказал ему о его роли в рождении движения, и он знал, что из всех них этот больной и усталый человек сделал для восстания больше всего. Но он понимал, что настал момент взять на себя всю ответственность.

— Это восстание — ваша работа, а мы только продолжаем ее за вас. Но иногда, как вы сами говорите, силы изменяют вам, а это влияет на вашу оценку ситуации. В отличие от вас, я верю, что мы становимся настоящими хозяевами положения, что ситуацию контролируем мы. Немцы стараются усыпить нас, но это именно мы усыпим их. Я согласен с вашей оценкой причин внезапного всплеска активности. Я думаю, что они делают это, чтобы заставить нас поверить, что Треблинка будет существовать вечно.

Курлянд, не понимающий, куда гнет Джело, сказал:

— В таком случае, ситуация действительно очень серьезная. Они не доверяют нам — и правильно делают, — не мог не добавить он.

— Именно здесь мы и контратакуем. Мы должны поймать их в тот момент, когда они совершенно уверены, что им удалось нас обмануть.

Адольф понял, в чем дело.

— Немцы должны поверить, будто мы верим, что жизнь будет продолжаться. Поймаем их в их же ловушку, побьем их на их территории.

Остальные с восхищением смотрели на этих двух воинов.

— Всему свой черед, — сказал Курлянд. — Мы не знали их намерений — и таким способом они довели нас до теперешнего состояния.

— Точно, — сказал Джело. — Наша реакция будет для них барометром. Ну что же, мы будем смеяться над их фарсом, а пока они будут мирно спать, мы подожжем запал.

— Когда Монек спросил: — Как насчет оружия? Ведь у нас пока еще ничего нет, — члены Комитета от состояния воодушевления снова вернулись к своей главной заботе.

Но Джело оставался оптимистичным.

— Мы сейчас нетерпеливы, — ответил он, — но мы не должны забывать, что немцы не в нашем распоряжении.

Отвага членов Комитета была так велика, что они готовы были поверить, будто с оружием все уладится. С тех пор как они стали думать об оружии, они словно уже держали его в своих руках.

— Сети расставлены. Что бы они ни придумали, ключ у нас будет. Подождем и посмотрим, что произойдет.

Джело не мог понять, что чувствовали в глубине души другие члены Комитета. Он никогда не считал немцев высшими существами, совсем наоборот, ведь при первом же общении с ними именно он обманул их. Он не прошел стадии «чурбана на двух ногах», и в глубине его души не осталось того неясного чувства бессилия и страха, которое его товарищи не могли стряхнуть с себя. Для них восстание имело еще одну сторону: разрушение мифа, восстановление своего человеческого облика. Именно эта

сторона и придавала им силу, но она же и заставляла их временами сомневаться в себе. Их борьба имела психологический аспект, которого Джело до конца не в состоянии был понять.

Через несколько дней появился ключ. «На серебряной тарелочке», — добавил Монек с глубоким удовлетворением, передавая его Комитету.

Немцы принесли в слесарную мастерскую старую дверь, за которой они ездили в одну из соседних деревень. Довольно толстая, вырубленная из дерева тверже железа, она была еще усилена горизонтальными стальными полосами, которые наполовину закрывали ее поверхность. Чтобы принести ее, понадобилось шесть человек.

Слесари сразу же поняли задачу. Наготове был мягкий воск. Зильберштейн больше недели мял его у себя в кармане. Замок слегка заржавел и плохо работал. Ему нужно было разобрать и снова собрать его под самым носом у эсэсовца. Согласно плану, Зильберштейн приступил к работе и ждал, когда эсэсовец отвернется на минуту, чтобы сделать отпечаток. Но он неподвижно сидел перед Зильберштейном, вперив глаза в замок. Ему было велено ни на секунду не спускать глаз с еврея, и он выполнял приказ буквально, с каменным лицом и остановившимся взглядом. Другие евреи пытались отвлечь его, но он, казалось, не слышал. Зильберштейн тянул работу, стараясь придумать, как избавиться от взгляда немца. Он дважды заставил его переменить позицию, утверждая, что он загораживает ему свет, тот послушно двигался, не теряя замок из виду, Тогда рабочие попытались оглушить его: делая вид, что работают, все начали колотить, кто по чему, в унисон. Шум стал адским, но эсэсовец не пошевелился.

И тогда Зильберштейна осенила идея. На верстаке, как раз напротив охранника, лежал тяжелый молоток, который использовался для клепки. Передвигаясь туда-сюда, он смог постепенно подвинуть его к краю стола, прямо над ногой эсэсовца, который уже терял терпение. Зильберштейн делал вид, что пытается отвернуть заевший болт. Лицо его покраснело от натуги, казалось, он делает огромные усилия. Внезапно болт поддался, но Зильберштейн по инерции «случайно» столкнул молоток с верстака. Раздался вопль, и эсэсовец запрыгал на одной ноге. Пока рабочие кинулись к нему, Зильберштейн быстро вытащил из кармана воск, наложил его на ключ и моментально убрал. Операция заняла секунд пятнадцать, в течение которых вопящий эсэсовец раздавал удары направо и налево по услужливым евреям, пришедшим ему на помощь. Когда он вернулся на свой пост к замку, Зильберштейн смущенно взглянул на него, прося прощения, и снова углубился в работу. Спустя пять минут, сжимая в руке ключ, эсэсовец ушел, вслед за ним вынесли дверь. Переступая порог, он обернулся, чтобы бросить последний злобный взгляд на ленивых и ни на что не годных евреев, которые только делают вид, что работают.

Когда через несколько часов Монек зашел в слесарную для ежедневной проверки, ему был торжественно преподнесен новенький ключ. Вот оно, заключил он, — теперь наш ход.

Галевский с изумлением держал в руках ключ. Сон стал явью. Склад оружия еще не был даже достроен, а у Комитета уже имелся свой ключ. Даже Джело был очень возбужден.

— Теперь наш ход, — повторял он, как будто говорил сам с собой.

В одном из соседних бараков репетировал оркестр Артура Гольда. Во дворе тренировались боксеры, крики заключенных доносились сюда всплесками. Медленно опускалась ночь.

— Теперь наш ход, — отозвался Галевский.

Когда через несколько дней склад торжественно открыли, Маркус, семнадцатилетний юноша, работавший у немцев слугой, был послан на разведку. Каменщики начали сооружение водонапорной башни, и он воспользовался суматохой, чтобы пробраться на склад. Немцы были так уверены в себе, что даже не охраняли его. Это была пещера Али-Бабы: автоматы, пулеметы, ружья, блестя маслом, горами возвышались на полках. В одном углу Маркус приметил гранаты. Там было три ящика из некрашеного дерева, по пятнадцать гранат в каждом. Убедившись, что окна открываются, он ушел также незаметно, как и пришел. В тот же вечер Маркус докладывал Комитету, который теперь собирался каждый день, чтобы выработать окончательные детали. Маркус в каком-то экстазе рассказывал о том, что он видел. Было решено, что тридцати гранат достаточно для первой атаки и что нет необходимости брать все три ящика. Закончив, Маркус по-военному отдал честь, также как — он это видел — делают немцы, и гордо удалился.

Монеку было дано указание придумать, как достать ящики со склада и переправить в картофельный погреб, где было решено их спрятать.

Под влиянием нового лидера — Джело — в Комитете установилась атмосфера Генерального штаба. Монек заговорил решительно, слегка подражая Джело:

— Окно выходит на заднюю сторону бараков, место обычно пустынное, так что риск быть застигнутыми внезапно невелик. Тем не менее, мы поставим часовых на каждом углу здания. Нельзя брать гранаты одну за другой и носить их в карманах. Это займет слишком много времени и создаст движение, которое немцы могут заметить. Они, очевидно, ни о чем не догадываются, но очень осторожны. Случай с ключом продемонстрировал это. Подумав, я нашел то, что нам нужно: у каменщиков есть повозка с лошадью, обычное перевозочное средство. Ее используют для собирания материалов по всему лагерю, и немцы уже давно не обращают на нее никакого внимания. На ней также возят

мусор. Значит, проблемы нет, мы сможем легко провести ее к картофельному погребу.

Услышав упоминание о повозке, Зальцберг вздрогнул, и лицо его слегка побледнело.

Единственная проблема, — продолжал Монек, поворачиваясь к старику, — то, что возница — ваш сын, Генек.

Зальцберг сразу все понял и представил себе лицо сына, которому только что исполнилось тринадцать лет. Маленький, худой и слабый, он выглядел на восемь. У него было тонкое лицо и болезненно бледная кожа, еще сильнее подчеркивавшая блестящую черноту глаз.

Монек замолчал, и все посмотрели на старого Зальцберга.

— Мой сын выполнит свой долг не хуже всех нас. Мы можем рассчитывать на него.

— Можем ли мы быть уверены в его молчании? — спросил Джело.

— Да.

— Даже если его схватят?

— Я дам ему ампулу с ядом. Не бойтесь, он хороший еврей. Монек закончил свое сообщение:

— В дополнение к двум часовым нам понадобится третий человек, чтобы перенести два ящика, которые Маркус подаст из окна, в тележку Генека. Генек недостаточно силен, чтобы таскать их. Вся операция должна занять меньше минуты. Единственной трудной частью будет выход Маркуса, но если он сможет войти незамеченным, то сможет и выйти.

Осталось решить два вопроса: точную дату восстания и наиболее подходящий момент для оповещения заключенных.

Не было больше причин ждать, чем скорее восстание произойдет, тем лучше. День «Д» (день начала операции) был назначен на следующий понедельник.

— Так как у нас будут гранаты, сигналом будет взрыв гранаты, — добавил Джело.

Именно тогда Галевского охватило странное предчувствие. Он был не в состоянии объяснить источник своей внезапной уверенности, что восстание провалится, что их мучения еще не закончились, что они еще не донесли свой крест.

— Это было такое же чувство, как в день, когда Берлинер убил Макса Биласа, — сказал он позже Курлянду, — все было подготовлено до последней мелочи, и все же я знал, что что-то не так. Когда я думал о восстании, я не видел ничего, что могло бы его остановить, и, несмотря на это, я понимал, что мы еще не готовы. Было ли это потому, что я интуитивно чувствовал, что мы прошли еще не через весь земной ад, или это присутствие сотен тысяч тел смущало меня? Но я знал с абсолютной точностью, что час восстания еще не пробил.

Такого рода предчувствие невозможно объяснить. Когда

думаешь о нем после случившегося, оно приобретает загадочный оттенок. Возможно, это было просто совпадение. Возможно, что тяготившая его огромная усталость делала Галевского таким глубоко сомневающимся. Во всяком случае, его тон был так убедителен, что все согласились не предупреждать заключенных.

— Мы не должны говорить им, — повторял он, — я знаю, что мы не должны. Если все пойдет хорошо, у них еще будет время подготовиться, но мы не должны пока им ничего говорить, их отчаяние было бы слишком велико.

Адольф был первым, кто согласился с его мнением. Он вспоминал их первую встречу у двери вагона, в который только что сел Шокен, и ужасную ночь после убийства Биласа, которую они провели вместе, разговаривая и строя планы, несмотря на большую, чем когда-либо близость смерти. Казалось, что все погибло, в ту трагическую ночь убежденность Галевского приобрела пророческий характер. С тех пор, несмотря на нападавшие на Галевского приступы сомнения, или, возможно благодаря им, Адольф питал к нему доверие, скорее мистическое, чем рациональное, более интуитивное, чем осмысленное.

Он восхищался Джело как восхищаются хорошим вожаком. К Галевскому он испытывал нечто другое. Джело был, несомненно, лучшим организатором, лучшим вождем, но Галевский иногда казался наделенным потусторонним видением. Джело был ассимилированным евреем, и это было совершенно очевидно. Именно нацизм заставил его осознать свое еврейство. Точнее сказать, он мужественно принял его. Он и не пытался прятаться, хотя его арийская внешность могла позволить это. Но его иудаизм был только протестом, это было скорее отношением, чем его истинной сущностью. Он был евреем, потому что нравственный кодекс запрещал ему отказываться от своей принадлежности, и только со смертью последнего антисемита он перестал бы им быть. Прекрасное, полное благородства отношение, но такое нееврейское! Его иудаизм был не верой, это был трагический вызов, брошенный миру. Джело был больше похож на польского аристократа, чем на еврея из гетто. Он рассматривал восстание как военную акцию. Он не жил им, он организовывал его. Галевский был его антиподом. Не зная, как держать в руках ружье, и не имея представления о «стратегии», он жил восстанием. Рожденное им, оно давало жизнь и ему самому.

Именно эти соображения и заставили Адольфа присоединиться к Галевскому. За ним скоро последовали и другие, кроме Джело, который не скоро изменил свое мнение. В конце концов, он уступил большинству. Будут предупреждены только члены боевых групп. Группа в маскировочной команде, которая может не услышать взрыва гранаты в лесу, где она работает, должна будет атаковать свою охрану ровно в четыре часа и сразу же возвратиться в лагерь, чтобы занять пост у западных ворот. Гранаты будут

поручены специальной группе. Группа, в чью задачу входило захватить оружейный склад и затем атаковать сторожевую вышку, смешается с каменщиками после полуденного перерыва.

Инцидент был исчерпан, Джело восстановил свое лидерство.

— Лагерь Номер Два одновременно атакуют три группы. Мы не смогли наладить контакт с его заключенными. Атака может быть трудной, но у нас нет выбора.

— К моменту прибытия групп охрана Лагеря Номер Два уже придет в себя. Это будет настоящая бойня.

— Каковы шансы? — спросил Галевский.

— Малые.

Это была сложная проблема. Следует ли им ставить под угрозу срыва все восстание ради двухсот заключенных Лагеря Номер Два? Ответ дал Курлянд.

Двумястами больше или меньше — не так важно. Конечно, их свидетельство было бы очень полезно. Но я думаю, что не стоит рисковать потерей более половины наших сил ради спасения, в котором мы даже еще не уверены, наших товарищей из того ада. Наша миссия слишком серьезна, чтобы придавать столь важное и большое значение сентиментальным соображениям. Мы должны показать миру, что даже на дне пропасти человек не отрекается. Мы должны рассказать о нашем мученичестве. Поэтому необходимо, чтобы восстание состоялось, чтобы оно было успешным, и чтобы остался хотя бы один свидетель и наших мук и нашего восстания. Чего бы это нам не стоило, сейчас наш долг — пожертвовать товарищами.

Зальцберг все еще колебался.

— Но действительно ли мы сделали все, что могли для установления контакта с Лагерем Номер Два?

Единственным способом было бы кому-то попасть туда. Это — наихудшее несчастье, которое могло бы с кем-то случиться. Многие из тех, кого туда посылают, предпочли бы пулю в затылок.

Никто из Лагеря Номер Один не был в Лагере Номер Два, никто не знал, что там происходит, но это место всегда не упоминалось с ужасом.

Комитету пришлось согласиться с мнением Курлянда, но все испытывали угрызения совести от того, что нельзя было не назвать предательством. Они закончили последние приготовления и разошлись в мрачном расположении духа.

— Они ведут себя так, как будто им жалко уходить отсюда, — сказал Джело Адольфу в ту ночь, лежа на нарах.

— Им нужна великая победа, которая вдохновит весь мир, и они слишком боятся поражения. Им нужно чем-то сбалансировать уничтожение. Не знаю, заметил ли ты, но со временем они становятся более требовательными.

— А как насчет тебя?

— Я, вероятно, тоже.

— Но мы сделали все, что в наших силах.

— Не совсем.

— Что еще мы могли сделать?

— Сделать так, чтобы нас перевели в Лагерь Номер Два.

Джело долго молчал.

— Думаю, что я никогда не пойму тебя.

— Не поймут и немцы.

Джело приподнялся на локте и посмотрел на друга.

— Какая гордыня, Адольф! Какая гордыня!

— Вина, Джело! Ничего, кроме вины!

Неделя тянулась медленно. Занятые различными делами, члены Комитета уже не помнили о последнем собрании. Они всегда представляли, что оно будет каким-то особенным, замечательным, а оно закончилось просто мрачно. Оглушаемые криком и музыкой, они жили в нереальном мире. Случай распорядился, чтобы в эти последние дни не было эшелонов, и им нужно было усилие, чтобы вспомнить, что такое Треблинка и что тут происходит.

Потом наступило воскресенье, и Треблинка совсем сошла с ума под звуки праздничных фанфар. Последний день Треблинки: апокалипсис ада, конец кошмара. Мир безумия и смерти шел к гибели в лунатическом свете костров. Его смерть была под стать жизни: нереальной, искаженной, ужасной.

ГЛАВА XXII

В понедельник утром солнце, казалось, не хотело вставать. Небо было свинцовым, тяжелым от снега, хмурым, как утро после праздника.

Перед началом работы Адольф встретился с командирами групп. Длинная очередь заключенных ждала у кухонного окна своих кружек с теплой темной водой, которую им давали вместо кофе. Неподвижные и мрачные, они длинной лентой тянулись через двор. Люди Адольфа окружили его, лица их были тяжелые и непроницаемые. Они слушали и, время от времени , незаметно кивали головами. Даже в эти моменты их черты оставались абсолютно неподвижными. Пять фигур из бронзы или дерева, пришедшие из глубин времени, поднявшиеся со дна бездны, пятеро неизвестных, пятеро евреев, готовых умереть, хотевших умереть за идеалы, которым было три тысячи лет, пятеро мучеников за дело своего народа, пятеро братьев по крови и смерти, пятеро «справедливых» — пятеро евреев.

Адольф говорил глубоким хриплым голосом.

Это наша последняя встреча перед восстанием и, без сомнения, вообще самая последняя. Вы все знаете свою задачу, но я еще раз повторю ее.

— В три тридцать, за полчаса до восстания, каждая группа

пошлет одного человека в картофельный погреб, где ему дадут три гранаты. Он скажет: «Сегодня земля дрожит и сотрясается», а ответом будет: «Настал Судный День». Если на обратном пути что-нибудь случится, он должен, не вынимая гранаты из кармана, вытащить взрыватель и взорвать себя. Если это произойдет, остальные сразу же бегут к складу. В это же время все члены групп, где бы они не находились, тоже направятся к складу врассыпную. Там группы снова сформируются. Подчеркиваю этот момент: в случае преждевременного начала каждый должен постараться добраться до склада, любым способом, если необходимо, поодиночке. Поэтому убедитесь, что у каждого в руках есть какое-нибудь оружие. Когда первая граната взорвется, остановить восстание будет уже невозможно. По идее все должно идти, как запланировано. Немцы «усыплены», вчерашнее представление подтвердило это. Повторю весь план операции. Люди соединяются в известные им группы. В десять минут четвертого вы осторожно соберете свою группу. В четыре часа взрывом гранаты будет дан сигнал. Вы тотчас бросаете свои гранаты, стараясь, если возможно, убить охранника, затем устремляетесь к оружейному складу. Когда вы до него доберетесь, там уже кто-то будет. Двое из каждой группы войдут в склад и получат винтовки и пулеметы для остальных. Затем каждая группа направится к своей боевой позиции, убивая по пути всех встречных немцев и украинцев. Когда вы доберетесь до колючей проволоки, лагерь будет уже подожжен. К этому времени я буду заниматься сторожевыми вышками, вы поможете мне закончить дело. Мы быстро справимся с этим. Пока автоматчик будет у нас на прицеле, двое пойдут и подожгут вышку. Не забудьте бутылку с горючим. Затем группы Меира и Моше, которые должны расчистить путь в лес, поднимут колючую проволоку. Если это не удастся, они накинут на нее часть своей одежды. Тогда они крикнут: «В лес!» — это будет сигналом к бегству из лагеря. Задачей других групп, включая группу Хаима, которая к этому времени возвратится в лагерь, будет повести людей на юг. Не будем предаваться иллюзиям: к этому времени, если мы и будем еще живы, мы уже не сможем контролировать ситуацию. Ну, это все. Есть какие-нибудь вопросы?

Был один вопрос, но никто не задал его. Они понимали, что Лагерь Номер Два будет принесен в жертву. Адольф посмотрел на всех по очереди. Затем он продолжал голосом, полным чувства, которое охватило всех:

— Сейчас мы принесем клятву чести еврейского народа бороться до смерти во славу Израиля.

Когда клятва была произнесена, Адольф начал читать «Шма, Исраэль» — «Слушай, Израиль, Господь наш Б-г, Господь един...». Пятеро командиров присоединились к нему, медленно выделяя слога приглушенными и сдержанными голосами, как

будто придавая больше веса каждому слову: «Исраэль, Адонай, Элохейну, Адонай Эхад».

Это было больше чем молитва, это был сильный и страстный акт веры. Они ни о чем не просили, они выражали свою любовь — мучительную, бескомпромиссную и неповторимую — к Б-гу и своему народу.

Старый Зальцберг разбудил своего сына задолго до того, как со своим обычным шумом появились украинцы. Как всегда утром он заставил сына произнести молитвы. Потом, перед тем как дать ему последний урок иудаизма, он долго смотрел на него.

— Скоро мы разлучимся. Через несколько часов меня уже не будет рядом, чтобы помочь тебе. Ты будешь жить, мой маленький Генек, я знаю, я уверен в этом, но сумеешь ли ты остаться настоящим евреем? Не захочешь ли ты, после всех несчастий, быть как все люди? Слушай меня, Генек: не забывай, что ты еврей. Если бы тебе пришлось об этом забыть, это было бы страшнее смерти. Расскажи миру о том, что мы видели, расскажи, как мы умерли и поднялись снова. И никогда не забывай, что не как людей хотели немцы уничтожить нас, а как народ, что не евреев они хотели стереть с лица земли, а Еврейский Народ.

Когда отец закончил, Генек наклонил голову, чтобы получить благословение. Это был его единственный ответ, но он был крепче любой клятвы.

Как только Курлянд пришел к себе в «госпиталь», он достал свои записи, составлявшие архив Треблинки. Это была смесь цифр, анекдотов, личных заметок, включающих все — от анализа лагерной рабочей силы до философских и пророческих отрывков, в которых он пытался найти в происходящем какой-то мистический смысл. Некоторые заметки его специальных помощников не были даже переписаны. Те, что были, например, от банкира Александера, были так заполнены колонками мелких цифр, что казались черными. Курлянд для истории уже перевел смерть в статистику. Каждый день начинался так: «9 декабря, 4 эшелона, 24 тысячи убитых; 2 января, один эшелон, 2 тысячи убитых». Иногда были суммы по месяцам и странам. Отправка вещей убитых евреев обратно в Германию была зарегистрирована таким же образом: «25 вагонов волос, 248 — одежды, 100 — обуви, 22 — тканей, 40 — лекарств и медицинских инструментов, 10 — белья, 200 — различных ковров, 260 — одеял и 400 вагонов различных вещей — ручек, расчесок, тарелок, сумок, кошельков, тростей, зонтиков» и т.д. Александер любил точные записи и дошел до того, что оценил количество отправленных бриллиантов в каратах: 14 тысяч.

Курлянд много раз спрашивал себя, попадут ли когда-нибудь эти страницы к потомкам и сможет ли мир когда-нибудь узнать, что сотни тысяч евреев были здесь уничтожены, а горстка их уцелела для великого стыда одних и высшей славы других. Потом

он вынул другие бумаги, свое собрание сочинений. Здесь были пьесы, действие которых происходило в «госпитале». Иногда ночью в бараках он читал отрывки из них для хоф-юден. Вот такими были эти евреи, которые с дамокловым мечом над головой не теряли надежды. Такими были эти люди, которые умирали, но не отрекались от жизни. Их убивали, а они писали пьесы, без всякой цели, для себя, чтобы чувствовать, что они живут. Потому что жизнь, какой бы она ни была, должна быть прожита и потому, что жить — это не только существовать, это — смеяться, думать, писать.

Как обычно утром Джело ухитрился побриться и нашел время сделать несколько гимнастических упражнений. С водой было плохо, до единственного колодца в гетто было добраться тяжело, потому что он обслуживал нужды тысячи узников. Не все они мылись, конечно, вода употреблялась главным образам для питья. Для бритья Джело использовал часть своего кофе. Для него это было вопросом дисциплины. Он чувствовал, что более важно бриться, чем пить кофе. И поступая так, несмотря на условия жизни в лагере, он, таким образом, утверждал свое человеческое достоинство.

Упражнения, которые он заставлял себя делать, преследовали те же цели. «Человек, который распускает себя — это человек, который готовится умереть», — говорил он людям, с удивлением глядящим на то что он тратит свою энергию на такие вещи, и добавлял: «Первым пропадает не сила, а желание жить».

Затем он мысленно проанализировал все детали предстоящей операции, чтобы удостовериться, что ничто, находящееся в его силах, не оставлено на волю случая. Он старался представить себе, как будет развиваться восстание. У него был слишком большой военный опыт, и он прекрасно знал: то, что в действительности произойдет, будет мало напоминать то, что планировалось. Кроме того, он знал, что начиная с определенного момента, из-за отсутствия надежной связи, он не будет в состоянии управлять ходом событий. С какой-то минуты восстание начнет развиваться под влиянием своей собственной, внутренней инерции, и никто — ни немцы, ни украинцы, ни евреи — не смогут контролировать ситуацию. Успех восстания будет зависеть от напора людской реки, формируемой массой узников, и как она себя поведет, никто не может знать.

Джело заставил себя больше не думать об этом. Жребий брошен. Его роль была почти окончена, она придет к завершению где-то днем, когда вместе с другими членами Комитета, он будет драться до смерти, сдерживая немецкие подкрепления до последней возможности.

Когда Галевский утром был разбужен приходом украинцев, ему показалось, что он не в состоянии подняться. Его дело было сделано, у него не было больше цели, чтобы жить. Он хотел бы

ждать смерти, лежа неподвижно на деревянных нарах, отдыхая напоследок, лежать неподвижно, без необходимости думать, страшиться, драться или надеяться. Он уже перешагнул все пределы человеческой сопротивляемости, и ему давно следовало бы умереть. Только эта задача, которая была возложена на него, поддерживала в нем силы, как бы возвращая обратно ту жизнь, которую он в нее вдохнул. Сейчас все было кончено. Берлинер мертв, Шокен мертв, Хоронжицкий мертв — и ему тоже надо готовиться умереть. Б-г более щедр к нему, чем к Моисею, который умер прежде, чем смог вступить на Землю Обетованную, и ему не суждено было увидеть осуществление своей миссии. Моисей был мертв, но сыны Израиля вышли из Египта. Галевский готовился умереть, но узники вырвутся из этого ада, и еврейский народ будет жить, являя собой неприступную крепость веры и духа, которые вновь восторжествуют над смертью.

Собрав оставшиеся силы, Галевский поднялся навстречу своему последнему тяжелому испытанию, навстречу последнему вызову. Как только он показался, Лялька немедленно увидел его слабость. Он подошел с холодной улыбкой смерти на лице и посмотрел на него.

— Так, Галевский, ты нездоров? *Bist du nicht gesund*, как говорит наш друг Кюттнер?

Галевский застыл в оцепенении перед этим пронизывающим взглядом. Для него Лялька был больше чем человек. Он был всесильным ангелом зла, духом смерти. Галевский решил, что он знает все и только ожидает последнего момента, чтобы уничтожить всех евреев наверняка, убить в них последний проблеск жизни, сломить их последнее сопротивление как живых существ. Лагерь замер.

После длинной паузы, которая показалась бесконечной тем, кто знал тайну восстания, Галевский сумел сказать:

— Я чувствую себя отлично, благодарю вас, герр унтерштурмфюрер.

Голос его был тверд и Галевский сам не понимал, где он нашел силы произнести эти слова.

Лялька продолжал смотреть на него, как если бы он не слышал ответа. Затем он повернулся и отошел без единого слова.

Потрясенный, Галевский смотрел, как он уходит. Он был уверен, что Лялька знал. Он старался убедить себя все утро, доказать себе, что у него расшатались нервы, что он выдумывает, но он не смог успокоить то пульсирующее чувство страха, которое заставляло его вскакивать при виде каждого немца.

Точно в одиннадцать Генек остановил свою повозку около окна оружейной. Он быстро окинул взглядом оба угла здания, где часовые добросовестно разравнивали граблями дорожки из гравия. Они делали вид, что работают очень старательно и время от времени наклонялись, чтобы подобрать невидимые кусочки

бумаги. В этот момент узник, который должен был погрузить ящики с гранатами в повозку, миновал угол здания. Когда он был в пяти метрах от него, Генек просвистел начальные такты «Хатиквы». Площадка была безлюдна, и тихая мелодия прозвучала в холодном воздухе с необыкновенной ясностью, вначале нерешительно, затем более уверенно.

Голова Маркуса появилась в оконном проеме в тот самый момент, когда узник подошел к окну. Генек еще раз взглянул на часовых, они спокойно разравнивали гравий, дорожка была пуста. Он кивнул и окно открылось. Узник схватил ящик и согнулся, спрятав его между сдвинутыми коленями и наклоненным туловищем. Сверкнув глазами в обе стороны, он сделал стремительный бросок. Ящик исчез под грудой мусора на дне повозки. Узника опять не было видно. Генек взглянул на часовых, вновь кивнул и маневр повторился, такой же быстрый, точный и молчаливый. Окно захлопнулось, узник начал удаляться и Генек поднял свой кнут. В это время часовой на углу пригнулся и остался сидеть на корточках. Это был сигнал о приближении немца.

Генек замер с поднятым кнутом. Согнутая спина часового загипнотизировала его. Неожиданно затуманенными глазами он увидел, что часовой встал и через пару секунд снова мирно равнял гравий. Казалось, что прошла вечность, но когда он повернулся к другому часовому, то увидел, что узник, грузивший ящики, уже минует угол здания. Фильм, прерванный на мгновение, возобновился снова, кнут развернулся и щелкнул. Генек почувствовал толчок, лошадь тронулась.

Работа только что возобновилась после короткого дневного перерыва, когда Лялька послал за Галевским. Это уже не имело значения: гранаты были у них, ничто не могло остановить восстание. Было решено начать атаку, что бы ни случилось. Зальцберг, который должен был дать сигнал, получал информацию об изменениях в обстановке от связных, которые наблюдали за каждым движением Ляльки и Кивы.

У Ляльки было то добродушное выражение лица, которое он напускал на себя, когда хотел казаться приятным.

— Ты устал, — сказал он Галевскому. — Я ценю чувство долга, которое удерживает тебя от признания этого факта. Однако, как в интересах твоего здоровья, так и для надлежащего функционирования лагеря, ты должен уйти в отставку со своего поста.

Ничего не имело сейчас значения для Галевского, и он сделал только слабую попытку защититься.

— Естественно, ты сохранишь все преимущества, которые давало тебе твое положение: ты останешься в бараке хоф-юден, и тебя не заставят делать тяжелую работу. Мы знаем как благодарить тех, кто верно служит нам.

Галевскому показалось, не грезит ли он. Он склонил голову и сказал: «Благодарю вас» и уверил Ляльку, что всегда будет готов сделать для господ все, что они пожелают.

Отпуская его, Лялька добавил: «Твоим преемником будет капо Раковский. Он приступит к своим обязанностям завтра».

Согласно новым распоряжениям, которые были сделаны утром после успешной кражи гранат, люди из боевых групп держались около своих командиров.

Адольф и Джело, которые работали вместе в погрузочной команде, избегали смотреть друг другу в глаза. Слишком многое было между ними, и они хотели избежать риска случайно показать это и возбудить подозрение какого-нибудь немца. Все хоф-юден знали о восстании. Напряжение, царившее в бараках, достигло кульминации и почти вызывало боль. Никто не осмеливался говорить из страха, что голос превратится в пронзительный крик. Одни были неподвижны и погружены в себя, другие молились, и можно было видеть, как их губы почти неприметно шевелились. В растущем напряжении, молчаливом и драматическом, можно было услышать малейший звук.

Вдруг дверь обувной мастерской резко распахнулась и ударилась о стену. Все сапожники вскочили и взглянули туда, дрожа от страха и нетерпения, их нервы были натянуты как струны.

— Кто-нибудь разбирается в оружии? — спросил узник, стоящий в дверях.

— Да, я понимаю в этом. Что случилось? — почти вскрикнул Симек Гольдберг, вскочив на ноги.

— Быстро, ты нужен Галевскому, — ответил тот дрожащим от волнения голосом.

Гольдберг заторопился. Они не осмеливались бежать из страха быть замеченными.

— Гранаты, — пояснил связной. — Там что-то такое, они не могут понять. Гольдберг успокоился. Эти идиоты ничего не понимают в оружии.

— Как немцы? — спросил он.

— Спят, — ответил связной, не в состоянии восстановить нормальное дыхание.

— Все будет в порядке, — сказал Гольдберг чтобы успокоить его.

Затем он заметил высокую фигуру Галевского и узников, стоящих настороже вокруг подвала.

Галевский с трудом слышал свой голос, настолько он был слаб. Открытый ящик стоял у его ног. Гольдберг бросился к нему. Он уже начал склоняться над ним, но неожиданно остановился. Едва Галевский успел раскрыть рот, чтобы спросить что случилось, как Гольдберг нетерпеливо распрямился.

— Другой ящик, где другой ящик?

Галевский указал на место, где он лежал, наполовину засыпанный картошкой. Гольдберг рванулся туда, наклонился, лихорадочно открыл его, заглянул внутрь и опустил руки. Его тело как будто обвисло.

— Что случилось? В чем дело? — спросил Галевский, приближаясь.

Не двигаясь, не отрывая глаз от ящика, Гольдгерг ответил почти безразличным тоном:

— Взрыватели... Там нет взрывателей.

ГЛАВА XXIII

В одну ночь погода изменилась, стало теплее, мягче, и на следующий день последний снег исчез. Пришла весна. Затем было солнце, бледное и вначале похожее на украшение, затем более и более бодрящее. Издалека, со стороны деревни, узники слышали возгласы крестьян, возвращающихся к своим полям после долгой зимы. И были птицы. Их песни, их полет — и сердца людей начали вновь биться, вопреки всему.

Неудачная попытка восстания была только вызывающим боль воспоминанием, которое уже тускнело, когда неожиданно пришел поезд...

Раньше обычного, в полдень, прибыл эшелон из Германии. Пассажирские вагоны, багажные вагоны, порядок и дисциплина. Немецким евреям, потерявшим трудоспособность ветеранам, кавалерам Железного Креста была оказана честь ехать первым классом. Они умирали как бедняки, но приезжали как представители среднего класса. Этот позорный поезд смерти пересек Германию так же невинно, как ее пересекали тысячи других поездов. Ничего бы не случилось, если бы красный свет не остановил этот поезд на несколько секунд на одной из станций Рейха. Молодая женщина, жена одного из высокопоставленных офицеров вермахта, стояла на платформе с двумя детьми. Она подумала, что это ее поезд. Ошибка была вполне понятна, так как поезд шел без охраны.

Итак, молодая женщина села. Она не заподозрила ничего. Без сомнения, она поняла по желтым звездам, что ее попутчики были евреи, и, возможно, она поняла, что села не в тот поезд, но ничего не сделала. Они сказали ей то, что сказали им перед отправкой — они направляются для освоения восточных провинций.

Никого не осталось из этого эшелона и мы не знаем, что происходило во время этой поездки, что она говорила и делала.

Поезд пересек Германию, затем Польшу. Сменив одну колею на другую, он прибыл на изогнутую линию карьера и оттуда медленно втягивался в Треблинку, где станция была заново окрещена ничего не значащим именем «Обермайдан». Молодая женщина, должно быть, посмотрела на часы, которые

все еще указывали три. Она видела указатели, знаки, билетное окошко, фальшивые двери и клумбы, и возможно не заметила, что слегка поблескивающие рельсы колеи, которые, с тех пор как они покинули Германию, образовывали две непрерывные линии, неожиданно закончились в сорной весенней траве. Возможно, она не поняла, что путешествие окончено и что поезд завез ее куда-то не туда, потому что вначале она ничего не говорила. Она не кричала, не старалась убежать, когда ее высадили на платформу.

Должно быть, когда она вошла в барак, служивший для раздевания и как парикмахерская, она неожиданно осознала, что «Обермайдан» не был обычной станцией. Уцелевшие вспоминают, что она была очень красива. Она кричала, что она не еврейка и что она жена немецкого офицера. Ее бумаги подтверждали это. Затем она показала, что ее сыновьям не делалось обрезание. Лялька растерялся. Он немного посовещался с Кивой, затем ушел. Женщина уже узнала страшную тайну, и все узники остановились, чтобы увидеть, что произойдет. Кива заставил ее раздеться на середине двора и приказал ей раздеть детей. Они плакали, и она старалась утешить их сквозь собственные рыдания: «Это ничего, мои дорогие. Это все скоро кончится, не плачьте, мы собираемся в замечательную страну, где нас ждет наш папа». Но дети по-прежнему плакали. Узники видели, как она исчезла в потоке приговоренных.

Галевский, который был свидетелем этой сцены, вечером доложил о ней Комитету.

— Это напомнило мне то, что обычно говорил Хоронжицкий. Не будет ни одного свидетеля. Все следы будут уничтожены, и никто из тех, кто видел эту бойню, не останется в живых. Сейчас мы знаем, где мы находимся. Наше восстание приобретает универсальное значение. Мы должны достичь успеха не только во имя нашего народа, но и для всего мира, который не знает об этом, и, может быть, никогда не узнает. Мы должны назначить сегодня новую дату восстания.

Джело взглянул на Адольфа и сказал:

— Начать снова? Да! Но на этот раз Лагерь Номер Два должен быть включен. Пусть неудачная попытка послужит хотя бы этой цели.

Все посмотрели на него.

— Как? — спросил Галевский.

— Есть способ, — ответил Джело. — Мы уже обсудили это с Адольфом. Мы думали об этом долгое время.

— Но каким образом?

— Пробраться туда.

Все члены Комитета, который состоял теперь из девяти членов, посмотрели на него с недоверием.

Это безумие, — начал Галевский. Затем, после молчания, в течение которого он, казалось, обдумывал все это: — Но как

мы проникнем туда?

— Это наше дело, мы скажем вам об этом, когда план будет готов.

— Невозможно, — сказал Курлянд.

Джело взглянул на него и медленно произнес:

— Нет, возможно. Нужно, чтобы переместили нас самих.

Эта мысль пришла Адольфу в вечер первой неудачной попытки, когда он встретил Джело в бараке.

Как только Галевский понял от Гольдберга, что гранаты использовать нельзя, он справился со своей усталостью и вновь моментально принял на себя обязанности лидера. Был только один путь избежать катастрофы: вернуть ящики с гранатами обратно в оружейную и предупредить об этом всех командиров подразделений, особенно Клейнмана, который находился где-то в близлежащем лесу с маскировочной командой, готовясь атаковать своих охранников.

Галевский больше не чувствовал усталости: казалось, что он никогда не был больным. Он был одним из тех людей, кого проявления благосклонности больше беспокоят, чем успокаивают, и который забывает все страхи, когда опасность грозит перейти в катастрофу. Пессимист, когда все шло хорошо, он становился оптимистом, когда уже не могло быть хуже.

Джело и Адольф работали на другом конце лагеря, и, хотя они были капо, им не разрешалось покидать свои места до окончания работы. Эта привилегия была оставлена только для хоф-юден. Так что Галевский был вынужден не только решать, но и выполнять все в одиночку.

Первое, что необходимо было сделать — это послать связного, чтобы информировать Джело, Адольфа и других командиров групп и команду, ответственную за поджог бараков. Галевский немедленно послал за Генохсбергом, узником, работающим в картофельном подвале. Ему было дано указание передать Джело, что операция отменена и чтобы он, Джело, предупредил командиров групп, прежде чем они начнут посылать людей за гранатами. Любое подозрение может привлечь внимание немцев и перекрыть путь для возвращения гранат на место. Затем Генохсберг предупредит «поджигателей». Тот не задавал вопросов, он уже понял.

— Потом, — закончил Галевский, — ты вернешься и продолжишь работу, как в любой другой день.

Как только Генохсберг вышел, Галевский отправился на поиски Зальцберга и Монека в гетто. Им уже сказали. Они были мертвенно бледны и молчали.

Галевский понял, что они знают, как только увидел их. Нужно было поддержать их морально. Он сразу перешел к делу.

— Я уже послал к Джело, Адольфу, другим командирам и к «поджигателям». Осталась проблема гранат и Клейнмана. Мы

можем вернуть ящики в оружейную, это будет не труднее, чем взять их оттуда.

Обернувшись к Зальцбергу, он добавил:

Мы должны поставить каждого на свой пост снова: Маркуса, твоего сына, часовых. Точно так же, как все было раньше. Немцы, ничего не подозревают, я уверен в этом сейчас...

Затем, чтобы показать, что это только задержка, что ничего не потеряно, что сражение будет продолжено:

— Через несколько дней мы пришлем специалиста-оружейника посмотреть, что произошло.

Зальцберг смотрел на него пораженный, без единого слова, узнавая вновь того, старого Галевского. Заметив, что он все еще колеблется, Галевский добавил:

— Если мы добьемся успеха, это будет великолепным доказательством нашего превосходства. Это будет знак, что нас не разгромили, что мы сильнее, чем когда-либо.

— Ты прав, — сказал Зальцберг и вышел.

Тогда Галевский обратился к Монеку, который еще не произнес ни одного слова.

— О Клейнмане. У меня есть идея. Ее успех зависит от тебя. Это очень трудно, буду с тобой честным, потребует смелости и нервов. И это опасно.

— Рассчитывай на меня, — был ответ Монека. Он уже ожил.

— Слушай. Ты единственный, кто имеет шанс выбраться из лагеря. Лялька, кажется, уважает тебя больше, чем других капо, и украинцы знают об этом. Ты прибежишь к караульному помещению и скажешь дежурному, что Лялька приказал тебе передать сообщение эсэсовскому офицеру, который находится с маскировочной командой. У него нет телефона, и он не будет в состоянии проверить. Ему придется принять решение самому. Все это настолько невероятно, а эти простаки так наивны, что у тебя есть шанс на успех. Все будет зависеть от твоей уверенности в себе.

Монек был меньше убежден в возможности успеха, чем Галевский.

— Будем надеяться, что они такие идиоты, как ты говоришь.

— Даже большие. Это единственное оправдание тому, что их ставят на эту работу.

— Итак, я подхожу и говорю ему: «Я должен передать сообщение офицеру СС от Ляльки?»

Нет. Во-первых, ты побежишь, чтобы показать, что это срочно. Так у него не будет времени долго раздумывать. И ты не будешь просить разрешения покинуть лагерь, иначе он, скорее всего, откажет. Ты начнешь с вопроса, где сегодня маскировочная команда. Это не секрет и он тебе ответит. Затем ты скажешь, что Лялька приказывает ему дать тебе вооруженных сопровождающих. Он спросит тебя, зачем, и ты ответишь

беззаботно, что у тебя важное донесение к офицеру, который руководит маскировочной командой. Он будет в смятении, не будет знать, что делать. С одной стороны страшно выпустить тебя из лагеря без письменного разрешения, с другой — задержать передачу важного донесения. От тебя будет полностью зависеть, как склонить чашу весов в твою пользу. Ты должен давить на него, путать его. Дави сильнее, если увидишь, что он колеблется, но быстро отступай, если сопротивляется. Пусть он поймет, что тебе все равно, но Лялька будет недоволен. Это увеличит твои шансы. Когда он увидит, что ты не настаиваешь на том, чтобы покинуть лагерь, у него будет меньше подозрений, и он будет больше думать о своей ответственности. А если ты увидишь, что он не попадается на эту удочку, скажи, что ты доложишь о нем Ляльке.

— И что тогда? Когда я вернусь, ты думаешь, он не проверит?

— Есть шанс, они страшно боятся Ляльки.

— А предположим, что он проверит в любом случае, или предположим, что он выпустит меня и проверит потом?

— Тебе решать, будешь ли ты в состоянии выдержать пытки. В противном случае...

Монек поднял голову. Его глаза светились. На его лице было странное выражение, подобие отдаленной улыбки, это поразило и тронуло Галевского.

— Как ты думаешь, есть шансы на успех?

— Один из четырех, что ты сумеешь предупредить Клейнмана и один из десяти, что они ничего не заподозрят потом.

— Для меня достаточно, — ответил Монек.

— Он уже был готов повернуться и уйти, когда Галевский задержал его.

— Повтори все сначала, — сказал он.

Монек помедлил. Он чуть не сказал, что помнит все наизусть, но все-таки повторил:

— Я подбегаю...

Маркус, у которого хранился ключ от арсенала, расположился неподалеку от него и ждал сигнала взрыва гранаты, чтобы рвануться к двери и открыть ее. Он был ответственен за распределение оружия. Ему было семнадцать лет и со времени прибытия в Треблинку у него не осталось ни отца, ни матери, ни единого родственника. Он был один, последняя ветвь своей семьи. Он уже видел в Треблинке столько трагедий, что это притупило боль его собственной. Его несчастье стало несчастьем всего еврейского народа как единого целого. И так как невозможно с этим жить каждый день, он похоронил его глубоко в своем сердце вместе со всеми другими древними несчастьями, сопровождающими его народ на протяжении всей истории. Эти трагедии ожесточили его сердце и сделали его сильным. В этом теле ребенка, за этим трогательным лицом, жил дикий зверь.

Маркус вскочил, когда Зальцберг похлопал его по плечу.

— Гранаты не годятся, нам нужно вернуть их в оружейную.

Глаза юноши наполнились горем. На мгновение Зальцберг сжал его руку — жест, выражающий одновременно и уважение и любовь.

— Я понимаю, что ты чувствуешь. Мы победим в следующий раз. Ничто не остановит нас, я обещаю тебе.

Все часовые были на своих местах. Генек ожидал у картофельного подвала. Ящики уже были погружены в повозку.

Монек подумал про себя, что все, что ему необходимо было бы сделать — это убить охранника, и он стал бы свободен. Он взглянул на него украдкой. Тот шел рядом с ним — безразличный, ничего не подозревающий. Мысль о том, что он почти свободен, ничего не давала Монеку. Он жаждал не побега, он хотел восстания.

Как только показалась маскировочная команда, он ускорил шаги, чтобы выдвинуться впереди украинца. Зная, что он не может убежать, тот не возражал. Монек рассчитал свой курс так, чтобы пройти мимо Клейнмана. Поравнявшись с ним, он прошептал: «Операция отменяется, ничего не делайте». Клейнман незаметно кивнул головой в знак того, что он слышал. Монек прошел мимо, делая вид, что не замечает его, и снова ускорил свой шаг так, чтобы украинец не слышал, что он скажет эсэсовцу, который наблюдал за его приближением, не выказывая ни малейшего удивления.

— Верник просит, чтобы вы принесли в лагерь несколько бревен. Меня послали сказать вам, чтобы вы не теряли время.

Подошел охранник. Монек обернулся к нему и сказал, что он уже передал донесение и должен вернуться обратно. Украинец согласился и они ушли.

— Успех, — подумал про себя Монек. — Если все пройдет также успешно с гранатами, тогда мне безразлично, пусть даже и схватят, я готов умереть.

Плотники смазали замок отлично. Он открылся бесшумно. Маркус развернулся и прижался к стене рядом с дверью. Группа рабочих, несущих корзины, лопаты и доски, приближалась. «Давай!» — прошептал невидимый голос. Распахнуть дверь и захлопнуть ее за собой заняло не больше времени, чем вспышка молнии.

Стоящие у каждого угла здания узники безмолвно разгребали гравий. В нескольких метрах позади повозки медленно шел человек. Неожиданно повозка остановилась, после короткого молчания Маркус услышал тихий свист: «Хатиква». Он подбежал к окну и открыл его.

Монек первым достиг гетто. Он вошел в барак, где его ожидал Галевский. Без слов бросился на нары. Его руки дрожали. Чувствуя его состояние, Галевский не задавал вопросов. После

длительного молчания, Монек поднял голову. Он сделал усилие справиться с голосом.

— Все в порядке, — прошептал он. — Они знают.

Галевский наклонился вперед, взял его руку и сильно сжал, как будто хотел остановить ее дрожь. Эти двое, которые спасли восстание, понимали, чего это стоило и не ждали восторженных похвал за то, что им удалось сделать. Монек спросил:

— Как с гранатами?

— Я жду. Они должны вернуться и доложить мне, как только все будет сделано.

Снова упала тишина.

Галевский увидел неторопливо подходящего Маркуса. Он вошел, засунул руку в карман и медленно вытащил ключ.

Вот! — сказал он. — В следующий раз я надеюсь проделать это путешествие только в одном направлении.

Слухи уже просочились и в бараках царила странная атмосфера. Голоса звучали тише, чем обычно. Люди что-то серьезно обсуждали. Группа религиозных евреев только что закончила молитву, в бараке стояла гулкая тишина.

— Это было необыкновенно, — прошептал Джело. Адольф отозвался не сразу.

— Галевский, — вот кто удивил меня больше всего. Решительно, я понимаю его все меньше и меньше. Положение было безнадежно.

— Не существует ничего, полностью безнадежного, — ответил Адольф, продолжая смотреть в пространство.

Джело сменил тему.

— Почему ты не хотел, чтобы назначили новую дату?

— Потому, что у меня есть идея. Я вынашивал ее долгое время. Я хотел, чтобы мы обсудили ее, прежде чем все будет решено. Я думаю, я уже говорил тебе об этом — ты помнишь? — Он сделал паузу.

Джело задумался и в нерешительности остановился, прежде чем шепотом задать вопрос:

— Лагерь Номер Два?

— Да, Лагерь Номер Два. Мы должны проникнуть туда. Мы должны готовить не восстание, которое спасет несколько жизней, а великое дело, о котором будут говорить тысячу лет спустя.

У Джело отсутствовало типичное еврейское качество — всегда искать самый трудный путь, всегда хотеть сделать лучше, никогда не удовлетворяться возможным, преодолевать любое препятствие, даже если это кажется невозможным с точки зрения логики. У него не было этого качества, но не было и недостатка смелости и решимости. Мысль о переходе в Лагерь Номер Два никогда не приходила ему в голову. Шансы на успех были слишком малы, а Джело, как хороший солдат, принимал во внимание только рассчитанный риск. Предприятие с шансами

на успех, меньшими, чем пятьдесят на пятьдесят, он не считал жизнеспособным. С его точки зрения, идея такого рода больше напоминала поэзию, чем искусство войны. И действительно, поверить, что такое предприятие удастся, было таким же безумием, как отказаться поверить в реальность уничтожения евреев, что и делало большинство в гетто. Для еврея, однако, логика, разум и расчет не мешают надеяться. В гетто все доказывало, что их уничтожают, и все равно, они продолжали безумно верить. В Треблинке все доказывало, что у них нет шансов на успех, и, тем не менее, они осмеливались бороться. Это был тот же импульс: они были теми же людьми, только ситуация изменилась. Адольф — величайший герой. Таковы же и Шокен, и Галевский, таковы и все члены Комитета, все командиры подразделений, таков и Маркус и все те, кто принимал участие в восстании. Все они величайшие герои, которых обстоятельства вырвали из безвестности, но нет существенной разницы между ними и основной массой узников. Как и остальные, они позволили вести себя на убой, как и остальные они стали соучастниками уничтожения. Их добродетели и недостатки — это еврейские добродетели и недостатки. Безумная идея Адольфа зародилась в еврейском мозгу. Джело никогда не додумался бы до такого. Это показалось ему сумасшествием, и он не смог удержать себя от вопроса:

— Как ты предполагаешь проникнуть туда? Я сомневаюсь, что немцы удовлетворят нашу просьбу без достаточных оснований.

— Когда узник совершает проступок — есть три вида наказания: избиение, Лагерь Номер Два и «госпиталь». Для капо альтернативы немного отличаются: смещение, перевод в Лагерь Номер Два, казнь. Все, что нам необходимо сделать — это совершить проступок, достаточно серьезный, чтобы заслужить наказание, большее, чем смещение, но не настолько серьезное, чтобы заслужить смерть.

— Великолепно, — отвечал Джело.

— Конечно, необходимо рассчитать наш ход более тщательно.

— Безусловно. — Затем, после некоторого обдумывания, он сказал: — Я верю, что это возможно или, по крайней мере, не невозможно. Они никогда не заподозрят, что мы идем туда по доброй воле.

Это был очень напряженный день. Они заснули быстро.

На следующий день Треблинка проснулась, как обычно. Этот день ничем не отличался от других дней. На вечерней поверке капо Раковский официально принял командование лагерем.

Двухметрового роста, широкоплечий, с огромной шапкой курчавых черных волос и грубыми чертами лица — таков был Раковский. Получеловек-полузверь, он обладал силой Геркулеса и ненасытным аппетитом. Во время великой эры спекуляции узники прозвали его «Король», а немцы, которым было доложено

о его удали — оберспекулянт.

Киве он не нравился, но Лялька, который был очарован его силой и свирепостью, покровительствовал ему. Он был сельским крестьянином, и все его еврейство выражалось в происхождении и механическом соблюдении Субботы. Он мог выпить литр водки прямо из горлышка без признаков опьянения.

Назначение комендантом было для него одним из значительнейших дней в жизни. Он обещал делать все, что от него хотят. Он был заинтересован только в одном — хорошо жить.

Позже, когда Лялька решил держать в лагере немного женщин и девушек для внутрилагерной поденной работы и внесения смятения в души одиноких узников, первым жену получил Раковский: *Quia nominor Leo*[1]. Немцы организовали для него «религиозное» венчание, и ему была пожалована маленькая отдельная комната для любовного гнездышка. Он тоже внес свою лепту в сопротивление, но вне Комитета, который не очень доверял ему, сформировав группу, с которой планировал бежать. Но так как его рекруты оказались слишком слабыми, он задался идеей восстановить их физическую форму и заставлял их принимать участие в спортивных состязаниях. Лялька, которому он подал свою идею под другим соусом, согласился, думая, что это один из путей отвлечь внимание узников от их неотвратимой ликвидации.

Озадаченный, Комитет оставил Раковского в покое. Его члены думали об организации плана по его смещению, но судьба пришла им на помощь.

У Раковского было два смертельных врага в Треблинке: Кива, над которым он смеялся, уверенный в поддержке Ляльки, и Хацкель — доносчик, которого он открыто задирал, и которому Кива тайно обещал пост еврейского коменданта лагеря. С этими двумя нужно было считаться. Но Раковский был не в состоянии бояться кого-либо или чего-либо, за исключением, возможно, голода. Когда он был в хорошем расположении духа, он развлекал себя, препираясь с Хацкелем, а когда был голоден, закрывался в комнате с женой, выбранной по своему образу и подобию, и ел часами, беспрерывно, к громадному удовольствию Ляльки. Обычно он ел пять раз в день, и каждая еда сопровождалась винными и водочными возлияниями. Полностью игнорируя опасность, он покупал все открыто у четырех украинцев одновременно, не давая себе труда даже прятать купленное. Это был его собственный способ реагировать на все происходящее вокруг.

Великолепная жизнь продолжалась недолго. Немцам, чьи начальники, должно быть, решили немного снять напряжение, было дано право недельного отсутствия через каждые три недели, а это означало, что они проводили одну треть своего времени вне лагеря. Кива терпеливо ждал момента, когда он останется в лагере

1 Потому что я называюсь львом (лат.)

в то время, как Лялька будет отсутствовать. На следующий день после отъезда Ляльки Кива вошел в комнату Раковского утром, когда тот поглощал свой второй завтрак. Стол был уставлен едой и выпивкой.

— Ого, Раковский! Ты спекулируешь больше, чем когда-либо.

Раковский отвечал с улыбкой, что это все подношения. Его сожительница, лежащая на кровати наполовину раздетая, смотрела на Киву в ужасе. Кива заставил ее одеться и вывел их обоих из комнаты. Сам факт принятия подарков еще не был достаточно криминальным, но Кива тщательно все спланировал. Как только они вышли, в комнату проник Хацкель и спрятал под кроватью Раковского сумку с золотом. Затем Кива послал двух эсэсовцев обыскать помещение. Они легко нашли сумку.

Когда она была показана Раковскому, он понял, что его песенка спета. Он не сделал попытки защитить себя. Он жил как барин и хотел умереть достойно.

— Браво! — сказал он Киве. — Приступай!

Но Кива, в присутствии этого гиганта, не мог избавиться от чувства страха. Он послал за четырьмя охранниками и двумя офицерами для того, чтобы отвести Раковского в «госпиталь». Он даже приказал связать ему руки за спиной. Только тогда процессия отбыла. Безмятежный колосс возвышался над шестью окружавшими его людьми. Малорослый, тщедушный Кива следовал в нескольких шагах позади. Все произошло быстро, но когда узники увидели кортеж — они поняли. Раковский всегда бил их, не задумываясь, и узники не слишком его любили, но они не могли не почувствовать гордости при виде их брата, шагающего к своей собственной смерти с такой уверенностью и презрением. В первый раз, наверное, в Треблинке убийцы показали свое истинное лицо: потребовалось семь человек, чтобы убить одного, безоружного и связанного.

Группа миновала бывший аппельплац, где депортируемые из эшелонов раздевались, и затем начинали длинное путешествие через необъятную сортировочную площадь к «госпиталю». Все — немцы, украинцы, евреи — бросили свою работу и следили, как медленно проходит похоронная процессия. Кива нервничал. Раковский был невероятно силен, и Кива боялся, что в последний момент он порвет путы и побежит, убьет кого-нибудь, или вообще наделает бог знает что. Это был глупый страх, но он мог ожидать от этого гигантского еврея чего угодно.

Когда они дошли до середины сортировочной площади, Кива медленно вытащил пистолет, подождал немного, тщательно прицелился и выстрелил. Раковский вздрогнул и остановился. Шесть стражей, которые были заранее предупреждены, рассыпались в стороны и все разом выстрелили. Раковский издал что-то вроде рева, с усилием рванул свои путы и подался вперед.

Но на середине этого движения он скатился на землю, дернулся и затих. Лицо его было измазано кровью и пылью. Охваченные паникой, охранники стреляли еще в течение нескольких секунд, прежде чем остановились.

Раковского волочили ко рву «госпиталя» как побежденного быка.

Лялька не хотел слышать о доносчике в качестве еврейского коменданта лагеря. Как только вернулся, он вновь назначил Галевского.

Царствование Раковского вписало значительную страницу в жизнь этого мира смерти. Марионетка, не понимающая, что ее дергают за веревку, он изумлял как Ляльку, так и Комитет, но к концу своего «правления» поставил план восстания под удар.

Благодаря странному предчувствию Галевского, Комитету удалось спасти идею восстания от неминуемого краха. Если бы узники были заранее посвящены в планы восстания, было бы трудно предотвратить взрыв энергии, накопившейся в них. Но для того, чтобы начать снова, необходимо было поддерживать убежденность немцев в том, будто евреи верят, что лагерь не будет ликвидирован. Первой мерой Комитета в этом направлении было распустить некоторые слухи о том, что что-то предпринимается. Эта миссия была поручена Адольфу. Первый спектакль состоялся в канун большого религиозного праздника, и узники ощущали глубокий стыд. Поэтому была опасность, что терзаемые угрызениями совести, они могут бойкотировать празднества. Необходимо было представить участие в торжестве как акт сопротивления.

Тем временем Лялька методически продолжал свою политику успокоения. Чтобы отвлечь внимание узников во время ожидания эшелонов, он положил начало программе большого строительства. Это был старый принцип Исполнителей — заставить евреев поверить, что работа приравнивается к жизни. Это был один из главных аргументов во времена гетто, и эта логика длительное время вводила евреев в заблуждение. Исполнители говорили: «Работай — и твоя жизнь будет оставлена тебе». Евреи рассуждали: «Им нужен наш труд, следовательно, они позволят нам жить». Это была, конечно, ошибка, и Исполнители достигали успеха в двух направлениях: во-первых, евреи работали на них, во-вторых, эта работа, рассматриваемая как гарантия жизни, разоружала их психологически и нравственно. Так как спасение было в работе, они не искали другой дороги. Верный старой уловке, Лялька начал строить. Треблинка неожиданно превратилась в огромную строительную площадку. Главная улица была проложена с запада на восток под наблюдением офицера СС Курта Зайделя, который дал ей свое имя. Начиналась она около больших западных ворот и продолжалась до станции. Ворота были сделаны из дерева, двойные в стиле средневекового города. С обеих сторон стояли

башни, соединенные укрепленным пешеходным мостиком. Южная башня была превращена в сторожевой пост и также украшена в средневековом стиле. Треблинка становилась крепостью тевтонских рыцарей.

Вдоль главной улицы старые бараки были реставрированы в стиле тех самых средних веков, по которым, казалось, так скучали Исполнители. Под руководством Судовича, специалиста по сельскому хозяйству, который был командиром группы у Адольфа и вместе с несколькими другими должен был стать членом Комитета, были спроектированы сады. Было приготовлено поле для занятий спортом. Бараки украинцев были названы «Квартал им. Макса Биласа». Дополнительные бараки, напоминающие средневековые дома, были построены на левой стороне улицы. Первым был устроен цех для голд-юден. Во втором бараке помещались немецкие дантисты, в третьем парикмахеры. Была там немецкая прачечная, где работали молодые еврейки. Остальные бараки были использованы под продовольственный склад. За ними простиралось гетто. На половине пути вверх по главной улице ответвлялась в сторону другая улица поменьше, которая вначале поднималась на север, затем отклонялась на восток и заканчивалась в Лагере Номер Два. Она получила название «*Aussiedler Strasse*» — «улицы Переселенцев». Позже, весной, было построено ответвление от этой дороги на запад, которое вело к располагавшемуся там зоопарку. Это был парк с лужайками, покрытыми мелким белым гравием. На лужайках Абрам Зильбер, у которого было определенное художественное чутье, выложил из маленьких разноцветных камней лозунги и немецкие эмблемы. В тенистом уголке парка вырыли декоративное озеро, в центре которого возвышалась скульптура лягушки, высеченной из камня узниками. Из открытого рта лягушки била струя воды. Вокруг озера установили грубые скамьи для отдыха владельцев поместья. В центре парка стояло здание шестиугольной формы, покрытое березовыми стволами. С каждой стороны здания находились клетки: была клетка для птиц, для белок и т.д.

Рабочая сила была в избытке, а энтузиазм архитекторов неистощимым. На правой стороне *Aussiedler Strasse* построили скотный двор, конюшни и свинарник. За зоопарком лагерный огород простирался до колючей проволоки. Треблинка уже превратилась в полностью самообеспечивающий себя мир. Правая сторона главной улицы была предназначена исключительно для немцев. За караульным помещением тянулось вымощенное пространство, где содержались броневики. Вдали, к югу разбили немецкие садики со столиками, креслами и даже зонтиками. По другую сторону вымощенного пространства возвышалось строение, где жили немцы. К нему примыкала высокая башня для хранения воды, наверху которой установили гигантский флаг со свастикой. К этому строению добавили крыло, а весь интерьер

оборудовали с необычной роскошью: комнаты для гостей, бары, ванные. Все работы были выполнены узниками, а все предметы роскоши от бутылок в барах до матрацев на постелях — поставлены эшелонами.

В одном из последних январских эшелонов Лялька нашел талантливого резчика по дереву. Он заставил его сделать серию разноцветных панелей с барельефами. Под указателем с надписью «*Zum Bahnhof*» в конце главной улицы была вывешена панель с изображением группы бородатых евреев в очках, несущими багаж к станции. Напротив *Aussiedler Strasse*, ведущей к скотному двору, конюшне, свинарнику, зоопарку и Лагерю Номер Два, другая панель изображала домашних животных, за которыми присматривал юный пастух. Вход на эту улицу был украшен портиком. Над ним возвышался глобус с буквами, обозначающими стороны света. Увенчивая таким образом Улицу депортируемя т363м63л -25кр356бр0ти.350ва1имен0ржпд1р0дв(которей)0370.491 (р356Ь0ж□3)1(бы3)1(бат (депобрти.350вим ам щел егх п603

результатами.

В этот вечер в офицерской столовой царило молчание. Но необязательно иметь большие надежды и успех, чтобы проявлять настойчивость. Плодотворный мозг Ляльки изобрел другой метод. Явившись утром во двор, он приказал открыть широкий, но неглубокий ров, в который узники поместили сто тел, образовав кучу, высота которой равнялась ее ширине. Бензин был вылит, напутствие сказано и куча подожжена. Пламя, дым, туман, предвкушение, надежда. Огонь утих, дым растворился, а тела все еще оставались на месте. Они были чуть больше обуглены, чем днем раньше, но неудача была очевидной, и Лялька признался в этом самому себе.

В последующие дни опыты повторялись: варьировалась форма куч, количество бензина, направление огня, но результат все так же разочаровывал. К концу недели несколько сотен тел можно было считать полностью сожженными, но даже этот результат потребовал большого количества бензина. Быстро проделав расчеты, Лялька определил время, необходимое для окончания всей работы: сто сорок лет. Это было слишком много даже для тысячелетнего Рейха.

Тогда один эсэсовец вспомнил, что слышал от коллеги из маленького местного лагеря, что необходимо чередовать слой трупов со слоем поленьев. Идея казалась неплохой. Дрова были заказаны, и все начали снова. Вначале бензин расходовали очень экономно и бревна не успевали загореться. Затем их пропитали какой-то другой горючей жидкостью. Напряженный момент: спичка вспыхнула, пламя рванулось, дым поднялся, опустился и рассеялся. Все ринулись вперед и — о, чудо! — огонь продолжал гудеть. Наступила глубокая тишина — предвестник сладкого звука победы. Когда ничего больше не осталось, кроме маленькой кучки пепла, грянула овация. Счастливые лица, поздравления, пожелания долгой жизни обожаемому фюреру и бессмертия вечному Рейху.

Пепел остыл, поздравления закончились и, усталые, они снова занялись подсчетами. Цена оказалась непомерной: кроме бензина, необходимо было столько же бревен, сколько тел. Все предприятие представлялось невозможным: если они еще могли думать о вырубке всех лесов Польши, то с бензином дело обстояло плохо. Немецкая армия была разбита под Сталинградом, а богатые нефтяные месторождения Кавказа остались миражом.

Следующие несколько дней были посвящены новым экспериментам, в которых варьировались количества бензина и дерева, диаметр бревен. Перед ними стояла двойная проблема: как уменьшить количество дерева и заменить бензин какой-нибудь растопкой. Люди были истощены, а трупы сожжены, но, несмотря на достигнутые несомненные успехи, стало очевидно, что в целом предприятие закончилось неудачно и Треблинка

не в состоянии разрешить проблему в одиночку. Полная безнадежность. После ночи мучений Лялька решил доложить о своем поражении наверх и попросить помощи.

Он появился у ворот царства смерти однажды ясным утром, застенчивый, белокурый и хрупкий, с нежными чертами лица, с маленьким чемоданчиком в руках. Его звали Герберт Флосс, он был специалист по кремации тел. Самоучка, он усовершенствовал свое мастерство в маленьких местных лагерях, куда забрасывала его судьба. Он никогда не был в Треблинке, но лагерь был уже известен и имел некоторую «славу». В то время Биркенау, лагерь уничтожения в Освенциме, еще не захватил главенствующей роли, и Треблинка по-прежнему оставалась духовным центром и притягательным местом для Исполнителей. Флосс сознавал, чем было для него это назначение — это было продвижение, даже признание его заслуг. Он уже знал, что здесь было несколько сотен тысяч тел. Он немедленно представился администратору лагеря, который, пожелав ему удачи, направил к Ляльке. В своем кабинете Лялька объяснил ему ситуацию. Специалист по кремации внимательно выслушал и сразу же попросил проводить его на место.

Там, на месте, он затребовал информацию о расположении рвов и их приблизительной емкости. Он, по-видимому, уделял большое внимание возрасту трупов. Каждую деталь он сопровождал короткой улыбкой и возгласом: «Безупречно!» Вечером он представил свой план.

Ночью бригада узников из Лагеря Номер Один под усиленной охраной была послана разобрать рельсы с близлежащей железнодорожной ветки. На следующее утро каменщики получили приказ построить недалеко от рвов четыре бетонные опоры почти в метр высотой, образующие прямоугольник двадцать метров в длину и один метр в ширину. Флосс руководил работой. Он много кричал, но был неуклюж и, казалось, не мог ударить узника. Бегая по площадке взад и вперед, крича, жестикулируя, объясняя, он несколько раз падал. Узники не осмеливались смеяться, но из-за своей неуклюжести он получил два прозвища: «Артист» и «Левша».

Когда бетон застыл, Флосс велел положить на опоры рельсы, сопровождая это криками и беготней.

Первый костер был приготовлен на следующий день. Тогда Флосс раскрыл свой секрет: не все тела горят одинаково. Есть тела «хорошие» и «плохие», сопротивляющиеся огню и не горящие вообще. Искусство состоит в использовании «хороших» тел для сжигания «плохих». Согласно его исследованиям и исходя из обширного опыта, накопленного им в других лагерях, старые тела горят лучше молодых, толстые лучше худых, женщины лучше мужчин, дети не так хорошо, как женщины, но лучше мужчин. Очевидно, что идеальным телом является тело старой толстой

женщины. Флосс велел откладывать их в сторону. Затем он велел отделить мужчин и детей. Когда тысяча тел была выкопана и отсортирована таким образом, он приступил к укладке: много горючего материала внизу, мало наверху. Бензин был отвергнут и заменен деревом. Дрова были сложены под погребальной пирамидой маленькими кучками, как походные костры. Демонстрация должна была быть великолепной. Настал его час. Он торжественно вынул коробку спичек, встал на колени, зажег первый костер, потом другие и когда огонь охватил дерево, отступил своей странной походкой к группе офицеров, стоящих поодаль. Разгорающееся пламя сначала слегка лизало тела, затем превратилось в огромный факел. Все затаили дыхание, немцы с надеждой и нетерпением, узники в ужасе. Только Флосс отдыхал, он был уверен в себе, бормоча время от времени: «Безупречно, безупречно...» Тела начали загораться. Неожиданно огонь уменьшился, появился дым, и вместе с ним возник глубокий мощный рев, лица трупов корчились как от боли, мясо издавало треск. Эсэсовцы на несколько мгновений замерли в восторге, созерцая это дьявольское зрелище. Флосс сиял. Это был звездный час его жизни.

Когда успех эксперимента стал очевиден, началось ликование. Флосс сделался героем. Такое событие должно было быть соответственно отмечено. Напротив погребальной пирамиды установили столы с дюжинами бутылок вина, водки и пива. Угасающий день отражался в пламени погребального костра, заходящее солнце пылало у горизонта.

По знаку Ляльки, бутылки откупорили. Началась невероятная пирушка. Первый тост был за фюрера. Машинисты экскаваторов вернулись к своим машинам. Как только эсэсовцы подняли свои бокалы, механические руки экскаваторов ожили и вдруг выкинулись все вместе вверх, скрежеща в нацистском приветствии. Это было как сигнал: десять раз офицеры выбрасывали руки с криком «Хайль Гитлер». Человекоподобные механизмы повторяли движения машиноподобных людей, и воздух был наполнен криками восхвалений фюреру. Вечеринка продолжалась до тех пор, пока горел погребальный костер. После тостов перешли к песням, диким и жестоким, песням ненависти и ярости, прославляющим вечную Германию. Треблинка превратилась в место страшного языческого ритуала. Исполнители казались варварами, восставшими из мифов, жаждущими крови полубогами.

На следующий день эсэсовцы снова превратились в знающих, дотошных и деловых Исполнителей. Решающий эксперимент был проведен. Теперь нужно было перевести дело из опытной стадии в промышленную. Герберт Флосс засучил рукава. Организованный человек, он выделил две стадии процесса: стадия собственно горения и подготовка горючего «материала». Последняя тоже была

разбита на три части: извлечение, переноска и укладка. Первая стадия ограничивалась только числом костров, но их при желании можно было увеличить. Производительность, следовательно, полностью зависела от темпа извлечения, переноски и укладки. Решение этих вопросов требовало определенного времени.

Вначале экскаваторы извлекали трупы и сбрасывали их в кучу около рва, где узники разбирали их и переносили к кострам из расчета два человека на труп. Но это было только начало. Затем Флосс заметил, что нет смысла трем экскаваторам наваливать одну кучу, тогда как узникам не хватает места для работы. Он сформировал три бригады, по одной на экскаватор: прогресс. Но теперь образовалось узкое место у костров. Их число было увеличено до трех: прогресс. Новая проблема: на определенном уровне извлечения трупы, как правило, оказывались отделенными от своих конечностей, и узники вынуждены были переносить их по частям: ногу в одной руке, туловище в другой. Производительность падала. Герберт использовал носилки, служившие для переноски тел из газовых камер ко рвам: прогресс. Получалось так, что части падали на землю во время транспортировки, которая осуществлялась бегом. Носилки были улучшены. Натянутый на раму брезент был заменен корзиной: прогресс. Затем было замечено, что рельсы прогибаются под действием жары. Были сделаны новые опоры: прогресс.

Выход достиг двух тысяч тел в день. В один из вечеров на перекличке узников Флосс произнес речь.

— Сегодня мы сожгли две тысячи тел. Это хорошо, но мы не должны останавливаться на этом. Мы должны поставить перед собой цель и направить все наши усилия для ее достижения. Завтра мы дойдем до трех тысяч, послезавтра до четырех тысяч, затем до пяти тысяч и так до десяти тысяч. Каждый день мы будем напрягать все силы, чтобы увеличить выход на тысячу единиц. Я рассчитываю на вашу помощь.

Маленький добродушный человек, неспособный обидеть муху, обращался к узникам, как обычный директор фабрики обращается к своим рабочим. Затем Флосс приказал выдавать каждому дополнительную порцию хлеба.

Улучшения продолжались. Мания разделения труда и специализации не была особенностью одного Ляльки. Ввиду того, что узники теряли время на погрузку и разгрузку носилок, бригады вновь были разделены на три части: одна бригада погрузчиков, другая носильщиков, и третья — сжигающих, получившая название пожарной команды: прогресс. Но цифра в десять тысяч тел в день не была достигнута. Пирамиды складывали днем и сжигали вечером. Костры вытянулись уже на пятьдесят метров. Можно было растянуть их и еще дальше, но здесь возникло новое ограничение: не успевали подносить «материал». Флосс открыл новые возможности. Когда носильщики подходили

к кучам, они останавливались и отдыхали, ожидая погрузки. Это давало колоссальные потери времени. Чтобы избежать этого, машинистам экскаваторов было приказано не наваливать тела кучей, а укладывать их в форме полукруга. Грузчики были расставлены по дуге в линию, и носильщики двигались вдоль нее. Герберт Флосс заново открыл принцип конвейера. Теперь грузчики отвечали не за конкретные носилки, а бросали куски тел в любые, проходящие мимо. Тут узники отреагировали. Трое были ответственны за счет тел. Их товарищи, находясь уже в полном изнеможении, умолили их порадовать «Артиста» и дать ему желанные десять тысяч. На следующий день Флосс получил известие, что цель достигнута. Он настоял, чтобы узники получили благодарность за рвение, проявленное в работе.

Как-то раз один из экскаваторщиков остановился из-за отсутствия бензина. Водитель бросился за канистрой, а узники остановились перевести дыхание. И тут появился Флосс. Он никогда не бил их, и они не слишком испугались, объяснив, что произошла небольшая заминка.

— Когда экскаватор начнет работать? — спросил Флосс.

— Через три-четыре минуты, — охотно ответили они.

— Четыре минуты? У вас вполне достаточно времени, чтобы сделать ходку до другого экскаватора.

— На эту ходку, — возразили они, — мы потратим больше времени, чем будет стоять экскаватор.

— Это дело принципа, вы должны доказать себе, что вы чего-то стоите. Мы назовем это «Носилки Чести».

Герберт Флосс был безумен.

ГЛАВА XXV

Первое донесение от Адольфа и Джело пришло через месяц. Оно было лаконичным. «Благополучно прибыли в ад, начали работу», — передал капо подметальщиков.

Увлекаемый инерцией, Лагерь Номер Один скатывался на грань умопомешательства. Как разбитый механизм, как взбесившаяся лошадь, несущаяся к пропасти, лагерь рванулся к своему концу с какой-то дьявольской веселостью. Единственной реальностью оставался приближающийся конец Треблинки. Каждый знал это — немцы, Комитет, узники; но все притворялись, что не знают: немцы, чтобы успокоить узников, Комитет и те, кто был посвящен в план восстания, чтобы успокоить немцев, и, наконец, узники, которые не знали ни о чем, чтобы успокоить себя. Все еще приходили многочисленные эшелоны, но все происходило как во сне.

Однажды к воротам лагеря прибыл табор цыган с повозками и вещами. Они были счастливы, окончив длинный путь, немцы были счастливы тоже. Все было кончено через час. На

другой день прибыли балканские евреи. Было воскресенье, и день отдыха во дворе гетто был в разгаре. Как только свист паровоза прорезал воздух, Лялька вывел оркестр маршировать на платформу. Выгрузка происходила под музыку. Когда все было закончено, Кива сказал группе узников, возвращающихся в гетто, похлопывая одного из них по плечу: «Не беспокойтесь, еще много будет таких, как этот».

Несмотря на то, что смятение неумолимо нарастало, несмотря на то, что рвы опустошались, а тела превращались в дым, оптимизм стал обязательной чертой в Треблинке, и каждый старался сохранить бодрость духа в надежде обмануть себя и окружающих.

Со своим языком, своими новыми постройками и своими воскресными увеселениями Треблинке в этот момент недоставало только одного, чтобы завершить фарс — женщин. Следующий же эшелон исправил этот недостаток. Он был из Гродно и доставил последних евреев города. Когда они разделись, Лялька построил их и произвел инспекцию. Ему нужны были молодые, свежие и красивые. Было отобрано двадцать девушек и молодых женщин, получивших его одобрение. Им было приказано одеться и отправиться в гетто. Половина осталась в Лагере Номер Один, вторая была направлена в Лагерь Номер Два. Их поселили в специально выделенной для них комнате в бараке хоф-юден. В течение дня они работали в немецкой прачечной, а вечером им было разрешено оставаться вместе с узниками гетто. Их прибытие преобразило лагерь. Вокруг этих испуганных и беспомощных женщин, которые все еще не понимали, что с ними случилось, то и дело вспыхивали побоища. Все, чем капо и привилегированные могли похвастать, надевалось, мылось и чистилось до блеска.

Когда Лялька почувствовал, что приманка подействовала, он объявил, что заслуживающие того капо и хоф-юден могут жениться. Будет введен гражданский и церковный брак. Молодым будут выделены отдельные комнаты. Кандидаты должны обращаться к нему.

Все это происходило во время правления Раковского. Он был первым, кто женился. Гражданская церемония была короткой. Когда новоиспеченная пара была представлена Ляльке, он сказал женщине, указывая на мужчину: «*Das ist dein Mann*» (Это твой муж). Этим еще раз подтверждалось, что он один имел право распоряжаться любовью, также как жизнью и смертью. Следующей была религиозная церемония. Капо Меир, который был главой религиозно настроенных узников, изображал раввина. Традиция соблюдалась во всех деталях. Немцы даже достали и принесли свадебный балдахин из одного еврейского местечка, недалеко от Треблинки. Церемония происходила вечером после работы. Присутствующие офицеры СС по этому случаю надели белые офицерские кители. После благословления Лялька

произнес маленькую речь, в которой пожелал молодым долгой жизни и большого счастья. Оркестр Гольда в полной униформе сыграл свадебный марш.

После Раковского подобным образом женились несколько других капо. Это была игра. Хацкель, который был честолюбив, женился на Переле, капо женщин. Она прибыла другим эшелоном и своим назначением на эту должность была обязана той враждебности, которую сразу возбудил ее скверный характер. Это была довольно хрупкая и непривлекательная женщина. Хацкель выбрал ее сам по прибытии эшелона. Поскольку кандидатов в мужья было значительно больше чем женщин, Лялька разрешил уже одобренным кандидатам самим выбирать себе подруг по прибытии эшелона.

Свадьба Хацкеля предоставила Ляльке возможность разыграть одну из своих унизительных шуток, на которые он был мастер. Церемония должна была состояться под вечер. Во время переклички Лялька вызвал Хацкеля из рядов. Он объявил, что в благодарность за хорошую службу он и все узники приготовили ему подарок. Немного в стороне невозмутимо стоял Раковский, держа на вытянутых руках красивый и довольно объемистый сверток, перевязанный белой лентой. Хацкель покраснел от смущения и удовольствия и, заикаясь, произнес слова благодарности. Лялька, поглядывая на него с доброй улыбкой, добавил, что он человек благородный и знает, как вознаградить за лояльность, и что никогда еще не было никого, кто бы так заслужил этот подарок. Затем он передал сверток Хацкелю. Заикаясь все больше и больше, тот пытался вернуться в строй, но Лялька настоял, чтобы он открыл пакет.

Напряжение тем временем нарастало, и все ждали в нетерпении. Хацкель развязал ленту и развернул бумагу. Еще одна бумажная обертка, затем третья, четвертая, пятая, под которой была маленькая картонная коробка. По запаху Хацкель понял, что в ней находится и остановился, красный от стыда. Но было слишком поздно, вокруг грянул взрыв смеха.

— Они смеются, они умрут, — подумал Лялька.

Самая богатая свадьба была сыграна, когда доктор Рыбак женился на женщине-враче по имени Ирена. Случай с доктором Рыбаком проливает свет на атмосферу, которая царила в лагере в то время. Она показывает, чем стал этот мир иллюзий и смерти, оказавшийся ареной действий немцев и Комитета. Доктор Рыбак прибыл в Треблинку с женой и двумя детьми. Он пережил их, потому что жизнь — это долг. Работая днем, помогая больным ночью, он принял на себя задачу облегчать боль и страдания своих братьев. Уцелевшие вспоминают ночь, когда он оперировал одного узника с ужасным абсцессом, в то время как товарищи больного, сгрудившись вокруг, пели чтобы заглушить его крики. С кустарными приспособлениями, без медикаментов, он проводил

ночи, ведя отчаянную борьбу со смертью. Ночью он, благодаря своей смелости и упорству, мог спасти десять узников, но на следующий день двадцать могли быть направлены в «госпиталь». И все же он никогда не прекращал своей работы. В другой раз он провел всю ночь, делая переливание крови узнику, который умирал от истощения. На следующий день узник умер во время «забега смерти». Этим же вечером доктор Рыбак снова начал оперировать, утешать, ободрять. Он знал, что его сражение со смертью безнадежно, но не хотел думать об этом. Увлекаемый безотчетным чувством долга, каждую ночь он старался снова связать те нити жизни, которые немцы рвали в течение дня. Он заменил доктора Хоронжицкого после его смерти. Рыбак рассматривал свою позицию только как средство доставать медикаменты для узников. Он приносил их после работы, пряча под белым халатом, и передавал Кубе Якубовичу, дневальному, который распределял их в бараках. Это было во время эпидемии тифа. Когда прибыли женщины, доктор стал одеваться более элегантно. Узники замечали его вечером во дворе гетто, беседующим с доктором Иреной, молодой вдовой тридцати лет, которая прибыла в Треблинку с двумя детьми. Через некоторое время доктор Рыбак официально объявил о своем намерении.

Лялька много сделал для этой пары, которая решилась продолжить игру жизни. После религиозной церемонии было разрешено посетить портновскую мастерскую. Немцы организовали буфет, и Лялька открыл бал танцем с невестой. Вечеринка затянулась далеко за полночь, с криками, взрывами смеха и волнами вальса, уходящими в небо, которое пылало от костров Лагеря Номер Два.

Галевский, присутствовавший на вечеринке, на минуту ужаснулся той роли, которую он играл. Он лично одобрял торжества с самого начала. Вместо того, чтобы оказывать в этом вопросе сопротивление немцам, Комитет поощрял их усилия и старался увеличить размах торжеств. Галевский подумал о других узниках, запертых без воздуха, скученных в своих бараках на деревянных нарах так, что когда один хотел повернуться, все должны были переворачиваться вместе с ним; и он представил себе, что думают они о таких демонстрациях. Он подумал также о трупах, сжигаемых в другом лагере, вспомнил ранние дни Треблинки: самоубийства, Шокена, Берлинера, Хоронжицкого. Было что-то непонятное, невообразимое в том, что происходило сейчас. И он сам — что он делает здесь? Он пьет и слушает музыку? Что ужаснуло его больше всего — это то, что он может пить и его не тошнит, он может слушать музыку и забыть своих братьев. Конечно, это была стратегия, но не все можно было объяснить стратегией. Когда он вернулся в свой барак, он поделился этими мыслями с Зальцбергом и Курляндом.

— Я знаю, — начал он, — немцы стараются обмануть нас,

а мы стараемся обмануть их. Но это не объясняет, почему Рыбак любит эту женщину, почему она любит его и почему я получал удовольствие от выпивки и присутствия на этом безумном торжестве.

— Мне самому это нравится, — ответил Курлянд. — А ведь я ближе к еврейской трагедии здесь, чем ты.

— Неужели мы действительно стали рабами? Неужели мы перестали быть людьми?

— Мы не люди и не рабы. Мы обитатели Треблинки.

Тогда заговорил Зальцберг. Заключение в лагере нисколько не затронуло его нравственность и, хотя он не критиковал эти празднества, тем не менее избегал их.

— В каком отношении обитатели Треблинки не люди? Кто скажет, что, очутившись в такой же ситуации, он не будет вести себя так же?

— Люди, которые не любят жизнь, — ответил Курлянд.

— В таком случае, любить жизнь — это кощунство? — тихо спросил Галевский. Вопрос повис в воздухе. Эхо вечеринки докатывалось к ним через дверь, которая вопреки инструкции была оставлена открытой. Ночь была мягкая, полная музыки, печали и надежды. Курлянд нарушил наступившую тишину.

— Нам следует представить случай с доктором Рыбаком нашим раввинам. Грех ли это — жениться при таких обстоятельствах? Или это акт веры в жизнь?

— Но человек может жить не заходя так далеко, — сказал Галевский.

— Нет, невозможно жить в воздухе. Жить — значит есть, надеяться, любить. Жить — значит действовать. Мы любим жизнь, как любим женщину — душой и телом.

И после небольшого молчания, как бы обдумывая свои слова, Курлянд добавил задумчиво:

— Да, жизнь похожа на женщину, может быть, если мы не хотим страдать, не следует любить ее так горячо...

Затем, помолчав еще, сказал:

— Но я жалею людей, которые никогда не любили.

Если любовная история доктора Рыбака окончилась браком, то были и другие, которые и зародились и окончились несчастливо. Треблинка превратилась в сложное общество, где наряду со священными узами брака существовала вечная трагедия любви.

Яжик, сочинитель сатирических куплетов, молодой человек двадцати одного года, пережил вместе с семнадцатилетней девушкой историю Ромео и Джульетты. Он умел смеяться и знал, как заставить смеяться людей. В Треблинке он потерял всю семью, но каким-то чудом сохранил в себе юношескую душу. Ей было семнадцать, у нее были две длинные косы и лицо, похожее на цветок. Она тоже была сирота, беспомощная, обезумевшая от горя. Увидев ее в первый раз, Яжик забыл про Треблинку.

Она была такая хрупкая, чистая и прекрасная. Она была как чудо, как мечта в этом мире безумия, смерти и ненависти. Он принес ей апельсин, и она ему улыбнулась. Начиная с этого дня, он перестал думать о чем-либо, кроме нее. Днем он говорил о ней, ночью он грезил ею. В короткие минуты свободы после окончания рабочего дня и до того момента, когда гасли огни, они сидели в одном из уголков двора гетто, и он брал ее руку в свою, чтобы забыть, чтобы заставить ее забыть. Без слов, застенчиво глядя друг на друга, улыбаясь иногда, они молчаливо переживали свою трогательную любовь, оберегая каждый момент, который мог оказаться последним. Ему был двадцать один год, ей было семнадцать лет.

Июнь удлинил вечера до бесконечности, смешал свет дня с жаром неба, озаряемого заходящим солнцем. С каждым днем они все более неохотно расставались, услышав сигнал, предупреждающий о тушении огней. Однажды ночью Яжик пытался проникнуть к ней в барак. Скрываясь в углу двора, он ждал, когда двери бараков захлопнутся за узниками, но был замечен при последнем осмотре. Его положение официального комика спасло ему жизнь, но на следующее утро, на перекличке, он был приговорен к двадцати пяти ударам плетью. Он считал их, плача от боли, унижения и любви.

В Треблинке Ромео и Джульетта не имели права умереть в объятиях друг друга.

Его имя было Шломо. Все знали, что ее звали Малка. Он был капо «красной» команды, она только что окончила школу. Он был красив дикарской красотой, черный и очень крепкий. Она была белокурой и стройной, с глазами цвета голубого фарфора. Когда они встретились в первый раз, он носил сапоги и кавалерийские штаны, а в правой руке у него был огромный бич. Она могла бы убежать из гетто, в котором жила, немецкий офицер, очарованный ее красотой, предложил ей свою помощь. Она оказалась не в состоянии покинуть свою семью и предпочла умереть вместе с ней. Стоя в строю, голая, она ожидала смерти, которая освободит ее от унижения. Отказ прикрыть свою наготу был ее последним жестом гордости и неповиновения по отношению к убийцам. С высокомерием и презрением она разрешала им любоваться собой и хотела умереть.

Шломо пришел позабавить себя. Он был одним из тех, кого Треблинка развратила. Когда он увидел ее, прекрасную и презрительную, покинутую и недоступную, что-то перевернулось у него внутри. Гражданский брак совершился на месте. «*Das ist dein Mann*», — сказал ей Лялька. Ей удалось сдержать слезы до вечера, но рыдания, которые душили ее весь день, прорвались, когда она вошла в барак. Религиозный обряд был совершен через несколько дней.

Тем временем Шломо, этот дикарь, одаренный какой-то

звериной красотой, преобразился. Капо-садист превратился в краснеющего школьника. Каждую ночь Малка рыдала и призывала смерть. Склонившись над ней, покорный, разделяющий ее отчаяние, он беседовал с ней часами, пока, ослабевшая, она не засыпала. Тогда, не двигаясь, он сидел около спящей, глядя на ее прекрасное лицо.

Эти несколько часов, высвеченных пламенем погребальных костров, превратились для Шломо в моменты невыразимого счастья. Он говорил спящей какие-то бессмысленные дикие фразы или просто бесконечно повторял ее имя: «Малка, моя маленькая Малка, моя королева, моя любовь! Малка, я люблю тебя! Неужели это моя вина, что мы встретились в этом аду? Малка, я люблю тебя! Я люблю тебя! Мы скоро умрем, и я не увижу твоей улыбки. Раз мы должны умереть, прости меня, что я спас тебе жизнь».

Иногда он начинал говорить в исступлении: «Я спасу тебя, Малка, мы убежим, мы действительно поженимся. Мы забудем, мы поселимся в Израиле, нашей стране, Малка, и у нас будут дети, они будут такие же белокурые как ты, сильные и счастливые. Я защищу тебя, Малка, и никто не обидит тебя. О, Малка, маленькая Малка! Как я люблю тебя!»

Мало-помалу у Малки вошло в привычку притворяться спящей и прислушиваться к безумным речам ее «мужа». И незаметно, под влиянием его слов, что-то шевельнулось в ней, слабый пульс жизни, у которой была сладость любви и горечь смерти. Как-то ночью, опять притворяясь спящей, тронутая длинной страстной речью своего мучителя, она вдруг бросилась в его объятия, рыдая от горя и надежды. За день до этого она узнала о Комитете. Этим утром она первый раз мирно заснула.

В последующие дни она старалась собрать больше информации о том, что готовилось. После того как ее заставили поклясться, что она ни слова не скажет Шломо, она была посвящена в подготовку к восстанию. Ее просили притворяться, что она счастлива здесь, притворяться, что она забыла, что такое Треблинка. И она начала жить, чтобы забыть, обмануть себя, обрести смелость. Покоренная любовью Шломо, она полюбила его. По-своему она прошла весь тот путь, который до нее прошли другие узники, и сейчас она хотела жить, она хотела верить, что жизнь все еще существует, что когда-нибудь этот кошмар кончится и будет страна, освещенная солнцем, омываемая морем, страна евреев. Она хотела жить, быть счастливой, иметь детей. Она любила. Она начала тоже нетерпеливо ждать вечера, когда снова увидит своего Шломо, который, чувствуя как она возвращается к жизни, любил ее все больше и больше.

Как-то ночью у нее не было больше сил удержать внутри себя секрет о готовящемся восстании, и она рассказала ему то, что знала. Этой ночью Треблинка полностью исчезла для них.

Позабыв о реальности, они начали строить планы. Они скроются отсюда вместе, спрячутся в лесу и дождутся конца войны. Потом они уедут в Землю Израильскую. Они поженятся и будут жить в кибуце. Солнце будет всегда. Будет голубая вода и такое же небо. У них будут дети, красивые как лето, счастливые как солнце, и когда-нибудь они расскажут им то, что вспомнят.

Они забыли Трблинку. Но Треблинка не забыла их. Катастрофа произошла через несколько дней. Переле, которая завидовала Малке, донесла однажды Киве, что Малка была пьяна. В Треблинке пьянство каралось смертью. Вне себя от отчаяния, Малка оскорбила Киву, когда ее привели к нему. Это произошло днем, когда Шломо не было. Ему сообщил об этом узник, видевший, как Кива уводит Малку. Шломо бросился к нему и умолял спасти свою жену. Увидев возможность завербовать еще одного доносчика, Кива согласился не убивать ее.

— Она будет переведена в Лагерь Номер Два, — объявил он.

Шломо знал, что это значит, и начал умолять Киву снова, но у того был свой план.

— Она вернется, если я буду доволен тобой.

Шломо сразу же подумал о восстании. Все трое — Малка, Кива и Шломо — стояли по ту сторону сортировочной площади, около «госпиталя». Малка пристально смотрела на Шломо. Она чувствовала, что он колеблется и уже готов выдать тайну. Он, казалось, не видел ее, стоя с опущенной головой, погруженный в свою боль, не в состоянии решиться.

Неожиданно он поднял глаза, и она поняла, что он выбрал предательство. Он уже собирался начать, но тут вступила она.

— До свидания, Шломо. Встретимся, когда все это кончится.

Шломо не понял, что она имеет в виду, но прочитал в ее глазах такую мольбу, что остановился. Они смотрели друг на друга в течение нескольких секунд. Затем Малка добавила: «Не нужно ничего говорить, дорогой, ты испортишь все».

Шломо понял.

— До свидания, Малка. Скоро мы будем вместе навсегда!

Улыбнувшись ему, она повернулась и пошла. Когда он увидел ее удаляющуюся фигуру, Шломо понял, что он не может жить без нее и что даже свобода не имеет для него смысл без Малки. Какое ему дело до восстания, какое ему дело до мести, что ему свобода? Все, что он хотел — это быть с Малкой, жить с ней, не имеет значения где, не имеет значения как. Ослепленный любовью, он больше не думал ни о чем, кроме нее, и был готов сделать все, что угодно, чтобы увидеть ее вновь. Он провел последующие дни в раздирающих душу сомнениях. Десять раз он был готов пойти и донести о восстании, и десять раз он видел лицо Малки: напряженное, повелевающее и умоляющее. Он не мог ослушаться ее. Он знал, если он это сделает, она никогда не простит его.

Мысль пришла к нему однажды вечером, когда он сидел в углу двора гетто, глядя на дым, поднимающийся из-за высокой песчаной насыпи. Каждый день он наблюдал за этим дымом, который уже превратился в символ лагеря. Этим вечером он понял, что без Малки для него нет жизни. И он решил проникнуть к ней. Лялька отсутствовал. «Как только он вернется, я попрошу его перевести меня в Лагерь Номер Два. Конечно, я умру там, но, по крайней мере, сначала увижу ее», — решил Шломо.

Лялька громко рассмеялся, когда услышал его просьбу. Он нашел случай забавным, но согласился удовлетворить просьбу, предупредив, что «там» он уже не будет капо, а будет весь день таскать трупы. Шломо это было безразлично, он был готов на все, только бы снова увидеть свою Малку.

Он был в Лагере Номер Два на следующий день.

Влекомая своим внутренним течением, «светская» жизнь лагеря продолжала развиваться. Вначале осторожно, а затем все более и более открыто в гетто появилось что-то вроде кабаре. Идея пришла после свадьбы доктора Рыбака. Началось с того, что у Гольда появилась привычка приходить каждый вечер в портновскую мастерскую музицировать, и привилегированные, пользуясь некоторой свободой, тоже стали приходить туда. Однажды кто-то привел свою жену, затем явились все жены. Музыка, женщины и мужчины — узники начали танцевать. Наступило лето, танцы вызывали жажду, и люди приносили выпивку.

Когда об этом прослышал Лялька, он не только не запретил сборища, но начал сам снабжать приходящих спиртным и приветствовал желание эсэсовцев приходить в «кабаре». Первый раз атмосфера была напряженной, но эсэсовцы знали, как заставить людей забыть, кем они были. Вскоре заключенные перестали замечать их присутствие. В дополнение к танцам появились другие развлечения ночного клуба. Между евреями и эсэсовцами появились какие-то отношения. Все это не мешало эсэсовцам убивать евреев в течение дня, но перспектива скорого расставания немного смягчала их. Они были вместе так долго, у них были общие воспоминания, и, наконец, этот лагерь был чем-то вроде совместного предприятия. Начало было трудное, Всевышний знает, но они прожили эти трудности вместе, страдали вместе, каждый по-своему, конечно, а теперь собирались расставаться. Здешние евреи уйдут к своему народу, а эсэсовцев переведут в другой лагерь, к другим узникам, которых они не будут знать. Как тяжела жизнь!

Были эсэсовцы, которые предпочитали приходить в барак послушать, как евреи в долгие вечерние часы поют свои прекрасные печальные песни. Офицеры сидели под окнами, опершись спинами о стены бараков, в ностальгических грезах, они слушали, глубоко тронутые, песни смерти и надежды, которые струились в светящуюся ночь. Была одна песня, которую они особенно любили. Это была похоронная песня, которую капо Меир вел как бесконечное рыдание. Вся печаль земли прорывалась в этих чуждых звуках, которые поднимались до мучительного крика и падали вновь, медленно и торжественно, как величественная траурная церемония. Далеко за полночь звучали из бараков еврейские песни, и ностальгические офицеры СС с чувством внимали им. Наиболее известная рассказывала о еврейской маме, такой любящей и хорошей, заботящейся о каждом в своей бедной семье. Другая говорила, что пусть еврей беден и нуждается, но он все равно богат, так как у него есть Б-г. Иногда голос поющего сливался с рыданиями одного из узников, и офицеры были тронуты, почти сочувствовали, но на следующий день руки с хлыстами были тверды. Эти взрывы сентиментальности никогда не переживали ночи. У человека мог быть прекрасный голос, но это не могло помешать ему стать превосходным трупом.

Кульминацией этих развлечений стал, без сомнения, день рождения Артура Гольда. Сами офицеры накрыли и сервировали огромный стол в портновской. Приглашения, написанные от руки, были вручены каждому члену лагерной аристократии. Событие обещало быть гвоздем сезона, и каждому хотелось одеться как можно лучше. Запас одежды был по такому случаю разграблен, даже появилось несколько смокингов — то, что осталось от одного из эшелонов, который, должно быть, уже обратился в пыль, пройдя сначала стадию падали, а затем пепла. Галевский, который снова исполнял свои обязанности, тоже присутствовал. Очень бледный, с лицом, истощенным болезнью, он пытался улыбаться. Женщины помогли друг другу сделать прически и надели лучшие платья: девушки попроще, женщины — длинные, с декольте. Кива снова надел свой белый китель. Лялька был в хорошей форме и охотно болтал о том, что станет с Треблинкой после войны. Послушать его, это будет просто чудо.

— Рай, да и только — сказал Гольд.

Наступило неловкое молчание, которое Галевский и Лялька поспешили прервать. Это был единственный деликатный момент в течение того запомнившегося вечера.

— На земле, — добавил Галевский.

Лялька рассмеялся, и хорошее настроение было восстановлено.

Артур Гольд исправил свою осечку в тостах, за которыми должны были последовать торжества. Он настаивал на выражении благодарности немцам за то, как они обращались с евреями.

— Некоторые немного жалуются, — сказал он, — но они забывают, что каждый народ должен думать в первую очередь о своем собственном благе. Немцы действуют в интересах Германии. Кто может сказать, что другие, даже мы сами, не сделали бы то

же самое, находясь в подобных условиях?

Тем временем даже украинцы начали принимать участие в развлечениях. Им не разрешалось находиться в гетто вечером, но они приходили к ограде и глазели на вечеринки. Вначале они приходили одни, потом начали приводить молодых украинок, работающих вместе с ними в лагере. Как-то вечером один из них принес аккордеон, и все начали танцевать. Это привлекло внимание нескольких евреев, которым с захода солнца надоело сидеть в «кабаре». Ночи были мягкие и звездные, и если бы не неизменные костры, выбрасывающие в небо длинные языки пламени, можно было бы подумать, что все это происходит в обыкновенной украинской деревне, вечером, в середине лета. Здесь было все: костер, танцы, цветастые юбки и свежесть ночи. Рождались дружеские связи. Только из-за того, что люди собирались убить друг друга завтра, не стоило дуться сегодня. Наоборот, нужно было пользоваться преимуществами ночного перемирия. Евреи, которые не хотели, чтобы их превзошли, приводили свой оркестр. Он играл, украинцы танцевали. За две тысячи лет, которые украинцы и евреи прожили вместе, впервые они собрались рядом у бивуачного костра. Подумать только, сколько нужно было ждать, чтобы обнаружить, что все они люди и что еврейские музыканты способны играть для украинских танцоров! К несчастью, они вскоре должны будут расстаться, вот почему необходимо использовать представившуюся возможность. Между тем они обменивались бутылками, предлагали друг другу сигареты через ограду и беседовали о тех местах, которые им пришлось покинуть.

Был июль. Треблинке исполнился один год. Рожденная в хаосе, она погружалась в безумие. Восемьсот тысяч мужчин, женщин, детей и стариков, в здравом рассудке и сошедших с ума, красивых и безобразных, низких и высоких, были уничтожены. Почти все трупы уже были сожжены. Занавес готов был упасть перед последним актом этой драмы. Как в древних мифах, противники братались перед схваткой.

Гетто и раньше знало эти взрывы веселья, эту жажду наслаждений, отчаянную необходимость забыться перед концом. В то время как в Варшаве люди, не имеющие сил двигаться, медленно умирали от голода, городские кабаре гремели музыкой и бешеным смехом.

В Лагере Номер Два тоже была организована «светская» жизнь. В то время как Джело полностью посвятил себя подготовке военных аспектов восстания, под влиянием Адольфа расцвели настроения пикника. Весь день люди выкапывали, переносили, сжигали трупы, но когда работа заканчивалась, они пели, танцевали и играли под одобрительные взгляды немцев. Из-за жары работать во рвах днем было невозможно, поэтому узники начинали в четыре часа утра и заканчивали в час дня. После

обеда их запирали за колючей проволокой, окружающей гетто, и им было позволено делать все, что они хотят.

Несмотря на страшные горы трупов, процесс, начавшийся в Лагере Номер Один, перекинулся на Лагерь Номер Два. Когда сюда прибыли Адольф и Джело, немцы уже в течение некоторого времени старались «развеселить» евреев. Но веселье было горьким, и большинство узников бойкотировали увеселительные зрелища к большому смущению Кароля Петцингера, который был их движущей силой.

Прибытие Адольфа изменило все. Но, в отличие от Лагеря Номер Один, где, кроме воскресений, развлечения были привилегией только меньшинства, в Лагере Номер Два в них принимал участие каждый. Если в Лагере Номер Один содержалось восемь сотен узников, то в Лагере Номер Два их было только две сотни. И все они, за исключением женщин, спали в одном бараке. Не такие многочисленные, они были ближе друг к другу. Более того, они непосредственно наблюдали кремацию трупов и лагерную агонию, продолжавшуюся день за днем. Каждое тело, которое они переносили и сжигали, приближало их конец, и они знали об этом. Увеселения давали им возможность успокаивать сознание немцев, но служили также и выходом для их эмоций. Организованные Адольфом вечеринки следовали в Лагере Номер Два непрерывной чередой. Песни, танцы, игры сменяли друг друга до вечера. Женщины, затронутые безумием, творившимся вокруг них, бросились в эту бешеную жизнь, и вскоре их кварталу недоставало только красного фонаря над дверью.

Неожиданно обострились любовные чувства, несмотря на присутствие трупов или благодаря их присутствию, несмотря на близость смерти или благодаря ей, несмотря на нетерпение, которое охватывало их все больше каждый день, или благодаря ему. Адольф и Джело приветствовали эти начинания. Джело не только поддерживал, но и участвовал в них.

Ее имя было Маша, у нее была угловатая мальчишеская фигура и огненный темперамент. Она прибыла в конце апреля с эшелоном участников Варшавского восстания. Ее рассказы о горящем городе, о смерти с оружием в руках играли огромную роль в нравственном пробуждении узников. Как член одной из молодежных сионистских организаций, она лично принимала участие в восстании. Для этих рабов из Лагеря Номер Два она была живым символом борьбы.

Джело, который до сих пор чувствовал себя одиноким, нашел в ней прекрасного союзника. Оказавшись в Лагере Номер Два, он испытал то падение в пропасть, которое Адольф помог ему избежать по прибытии в Треблинку. Перед лицом скептицизма других узников он ощущал бесполезность и тщетность своей жертвенности. Прибытие Маши изменило все.

В первый раз, когда он заговорил с ней о восстании, она,

рыдая, бросилась в его объятия. Она стала для него музой войны, а некоторое время спустя его подругой. Как-то вечером он неохотно рассказал о ней Адольфу. Адольф развеял его сомнения.

— Ты не должен прятаться от самого себя. Прежде всего, потому что ты любишь ее, и это невероятная вещь — быть в состоянии любить здесь, а во-вторых, потому что это помогает нашим планам.

Джело возразил, вспомнив, что он офицер:

— Что скажут люди?

— Что ты счастливчик, — ответил Адольф улыбаясь. И Джело направился к домику женщин.

Лето сменило весну. В этом наваждении рвы неумолимо опустошались под фанфары оркестров. Треблинка встречала свой первый день рождения, но каждый чувствовал, что ее дни сочтены. Нетерпение узников достигло высочайшего напряжения. Казалось, немцы сейчас выиграют соревнование со временем и смертью, вступив в финальную фазу уничтожения.

И тогда прозвучал вопль, обращенный к Лагерю Номер Один. В пятницу, 20 июля 1943 года Лагерь Номер Два поставил ультиматум:

«Мы начинаем последний ров. Через две недели лагерь будет ликвидирован. Если вы не назначите последнюю и окончательную дату в течение 48 часов, мы начинаем восстание сами».

ГЛАВА XXVI

Пока увеселения набирали темп, в Лагере Номер Два машина восстания была запущена. Как только Джело и Адольф пришли в себя, они начали организационную работу. Первые шаги были трудными и неудачными. Узники столкнулись с теми же препятствиями, которые встретил Галевский, когда он начинал готовить восстание в Лагере Номер Один — тот же эгоизм и, что хуже всего, тот же скептицизм. Доктор Циммерман был мертв, и у Лагеря Номер Два не было нравственного лидера. Побег, группами или в одиночку, казался всем единственным шансом. Джело и Адольф были чужаками, они не знали начала этого лагеря, они не прошли путь страдания с другими. Конечно, им помогли сжиться с новой обстановкой, но они остались чужими. Страдали они в новых условиях ужасно и никак не могли привыкнуть к близости трупов, которых многие узники, находясь в Лагере Номер Два так долго, уже не замечали. Одна вещь особенно потрясла их: определенный, «профессиональный» жаргон в среде узников. Каждый живой рассматривался как будущий труп, который необходимо будет переносить. Когда узник ел слишком много, его товарищи говорили ему: «Эй, Моше! Не ешь так много, располнеешь. Подумай о нас, ведь нам придется тебя нести!» Хорошим эшелоном считался эшелон, состоящий из истощенных, давно не евших людей, исхудалых, а, следовательно, легких. Слабые узники считались «специалистами по детям». Прибытие эшелона смуглых и хорошо сложенных балканских евреев было событием. В бараке в эту ночь можно было услышать: «Какие они красивые, но как тяжелы!»

Дежло и Адольфу удалось сплотить несколько человек, но большинство не последовало за ними. Одним из первых, кто примкнул к ним, был, Шломо Финкельштейн, бригадир команды подметальщиков «дороги на небеса». Так они смогли переслать первое сообщение Комитету. Потом были Герцлик и плотник Верник. Но контакта с массой не получалось, и два спелеолога ада начали приходить в отчаяние. Рвы пустели. Но когда в одном из первых эшелонов из восставшей польской столицы приехала Маша, ее рассказ о варшавском восстании сыграл ту же роль для Лагеря Номер Два, какую предсмертная мольба Ланглера сыграла для Лагеря Номер Один.

Всколыхнулась надежда. Ночью в бараке говорили только о великом сражении евреев. Историю пересказывали бесконечно, были добавлены тысячи новых деталей. Джело, почувствовав живую атмосферу страстного желания и надежды, неожиданно выпалил в темноту барака: «А мы?» Этот голос, возникший из мрака, поразил узников. Всевышний не сказал бы иначе. Разговор прекратился, но в головах началась работа.

После этого, пока Адольф занимался организацией развлечений, Джело начал готовить план. Ввиду того, что Лагерю Номер Два не предназначалась главная роль в восстании, стратегия была проста. Самое главное, чтобы каждый участник был готов преодолеть насыпь, как только развернется восстание. Джело, Адольф и несколько специально отобранных людей возьмут на себя задачу уничтожения слабого гарнизона. Немцы и украинцы, которые будут во дворе, не представляли проблемы. Их никогда не бывало больше дюжины, и можно было быстро справиться с ними, тщательно отработав взаимодействие, напав быстро и согласованно. Труднее было со сторожевыми вышками. Их было четыре, по одной на каждый угол лагеря, и пулеметы, установленные на них, перекрывали неумолимо весь двор, как показала история ворона, совершившего набег на трупы однажды зимой.

— Их нужно уничтожить, во что бы то ни стало, — сказал Джело, — или это будет мясорубка. Мы не можем ничего сделать, пока эти птички будут сидеть в своих гнездах. Вышки должны стать первой целью.

Вначале было решено их сжечь, но Джело указал, что они прикрывали друг друга, и каждый, подошедший к вышке, будет в зоне досягаемости трех остальных. «Не говоря уже о том, — добавил он, — что сжечь вышки не так легко, как зажечь спичку».

Проблема казалась неразрешимой, но, в конце концов,

у Верника появилась идея. Его талант плотника получил надлежащую оценку немцев, и за это украинцы уважали его. У него была возможность изучить их, и он обнаружил невероятную, магическую власть, которую имело над ними золото. Он провел опыт: вид желтого металла вводил украинцев буквально в транс.

— Их любовь к золоту так же сильна, как страх перед немцами, — объяснил он. Совещание проводилось на его нарах в дальнем углу барака в багряном мраке ночной Треблинки. Подождав немного, чтобы дать возможность остальным осознать сказанное, он развил свою мысль.

— Я уверен, что украинец спустится со своей вышки, чтобы получить золотую монету. Он, возможно, будет колебаться вначале, но воспротивиться искушению не сможет. Нам необходимо приучить их спускаться за золотом, необходимо несколько раз создать прецеденты, и тогда в день восстания мы сможем заставить их всех спуститься на землю одновременно.

— Ворона и Лисица, — прокомментировал Адольф, но никто не знал басню Лафонтена. Он пояснил. Прецедент из литературы выглядел убедительно, и они решили попробовать. Результат был стопроцентно удовлетворительным.

Рвы пустели.

Было 15 мая, обратный отсчет времени приближался к нулю. Джело потребовал от Комитета решительных действий.

Обстановка в Лагере Номер Один не обещала ничего хорошего. У власти был Раковский, и его активность мешала Комитету. Галевский ответил, что они должны ждать.

Через некоторое время Раковский был казнен. Хацкель, который хвастал, что он станет новым еврейским комендантом лагеря, вызывал у Комитета страх. Галевский прилагал все усилия, чтобы казаться здоровым. Сапожники сделали ему специальную обувь, был найден корсет, чтобы он мог держаться прямо, и он хлестал себя по щекам каждое утро, чтобы придать им цвет.

По возвращении из командировки , Лялька попал в ловушку и вновь назначил его еврейским комендантом лагеря.

«Дорога на небеса» передала очередное донесение:

«Будьте готовы, назначим дату через несколько дней.

Рвы пустели, и празднества были в разгаре, когда большая неудача настигла Лагерь Номер Два. Из-за жары рабочие часы были смещены, в час дня всех узников запирали за оградой, окружавшей бараки, и, следовательно, они не могли ничего сделать. Решение должно было быть найдено, но сейчас они были загнаны в тупик.

Новое сообщение: «Задержка, отмените операцию до следующего извещения».

В Лагере Номер Один немцы в качестве меры предосторожности усилили надзор. Члены комитета старались казаться бодрыми, чтобы успокоить нетерпение узников. Они

даже ввели некоторые изменения в первоначальный план: Рудек захватит бронемашину, а Яцек, его ассистент в гараже, взорвет запасы бензина.

В Лагере Номер Два решение было найдено после нескольких дней раздумий. Начались свадьбы, и Джело с Адольфом решили в день восстания организовать церемонию. В этом случае все немцы, регулярно посещающие свадьбы, будут под их контролем. Они подыскивали кандидатов, которых было мало. Согласился Шломек, который смазывал мотор, подающий газ в камеры. Он был слабый человек, и эта работа слегка помутила его рассудок. Маша взяла на себя поиски «невесты». Это была низенькая и полная женщина, ее звали Эстер. Вначале она отказалась, но Маша внушила ей, что это важно. Джело сообщил в Лагерь Номер Один, что они готовы.

Ответ Комитета был: «Установленная дата — последний понедельник мая». Лагерь Номер Два принял сообщение и подтвердил, что все готово, и они с нетерпением ждут.

Рвы пустели.

Воскресенье прошло в вихре веселья. Никто не спал в эту ночь. В понедельник утром, когда узники направлялись на работу, послышался скорбный свист паровоза. Галевский был на платформе, когда депортируемых снимали с поезда. Многие были ранены, некоторые обожжены. Немцы и украинцы обращались с ними с ужасной жестокостью, добивая раненых прикладами ружей и увеча тех, кто мог передвигаться. Это были остатки повстанцев из варшавского гетто. Немцы настолько боялись их, что состав сопровождала вооруженная охрана из ста человек. Галевский решил отложить восстание. Силы были слишком неравными. Информация была была немедленно передана в Лагерь Номер Два.

В этот день варварство эсэсовцев и украинцев не знало пределов. По «дороге на небеса» Иван, гигантское животное двадцати лет, вспарывал животы женщин огромным ножом. Другие женщины были брошены в огонь живыми. Вначале туда бросили их детей, потом им было предложено присоединиться к ним. Одни сделали это добровольно, другие не могли решиться. Тем, кто колебался, сказали, что у них нет материнского чувства и швырнули их следом. Напряжение достигло предела среди узников обоих лагерей, и подпольной организации стоило больших трудов успокоить их. Адольфу пришлось сбить с ног одного заключенного, который пытался напасть на Ивана. Этот зверь, заставлял узников у дверей газовых камер поднимать мертвых изуродованных женщин и изображать акт любви.

На следующее утро Джело послал срочное донесение:

«Торопитесь, мы не можем сдержать людей».

Комитет отвечал, что необходимо успокоить и немцев, чтобы они забыли, что евреи могут восстать, и заключенных,

находившихся на последней стадии ненависти, чтобы они не расстроили все в последний момент.

Тогда Джело понял, что затея со свадьбой больше не нужна. Необходимо придумать что-то другое. Снова, после нескольких дней размышлений, пришло решение. Во-первых, кухонная команда попросит разрешения набрать воды из колодца, лежащего за оградой. В этот день Адольф выйдет с этой группой, состоящей из надежных людей. Во-вторых, они проследят за тем, чтобы утром не была выполнена норма по трупам, даже ценой жестоких избиений. После обеда Джело вызовется добровольцем закончить укладку костров вместе с группой специально отобранных людей. Таким путем проход, через который сможет ринуться масса узников, будет открыт.

Рвы пустели.

Жизнь возобновилась — вначале медленно, затем набирая все более бешеный темп. Боль и страдание уничтожали память в Треблинке.

Было новое отчаянное послание из Лагеря Номер Два и новый успокаивающий ответ Комитета: «Две недели максимум».

Лихорадка нарастала. Агония усиливалась. Рвы все пустели.

Время истекало, когда произошел обеспокоивший всех инцидент. В течение нескольких дней в подготовке к последнему акту, к окончательному уничтожению, эсэсовцы стали устанавливать противотанковые заграждения. Бетонные столбы и пирамиды укрепляли исключительно плотные ряды колючей проволоки вокруг всего лагеря и выносились на 50 метров от ограды. Комитет наблюдал за темпами этой работы с болью. Это казалось непреодолимым препятствием, опутывающим лагерь. Случай произошел во время этой работы, которая велась маскировочной командой. Только чудом Клейнман, командир боевого отряда этой команды, сумел избежать провала. Для установки противотанковых заграждений необходимо было очистить маленький лесок. Во время работы один из узников нашел под деревом пистолет. Клейнман успел заметить синеватый блеск стали, когда тот сунул его в карман. Он подошел и потребовал отдать пистолет. Узник вначале отказался, потом отдал. Клейнман взял оружие и, прежде чем спрятать за пояс, осмотрел его. Он был почти новый, и сталь не потускнела. Клейнман задумался и вдруг понял: это была ловушка, проверка. Он возвратил пистолет тому, кто нашел его, приказал положить его на прежнее место, подождать немного, притвориться, что нашел, и отдать его эсэсовцу. Когда узник передавал оружие офицеру, Клейнман наблюдал за его лицом со стороны. Теперь он был уверен — это была проверка.

Комитет собрался ночью. Галевский рассказал о случае с пистолетом. Вывод был очевиден: немцы не знают ничего, но они настороже. Если бы они знали наверняка, они бы уничтожили

Лагерь Номер Один, который вряд ли был им теперь нужен; но они что-то подозревают, это доказал инцидент с пистолетом. Лидеры Комитета разошлись во мнениях окончательно. Рудек хотел рискнуть всем немедленно, Галевский предлагал подождать, чтобы усыпить подозрения немцев.

Рудек был сильный и простой человек. По его мнению, вся эта тонкая стратегия была прикрытием страха и беспомощности Комитета, который был сформирован из старых евреев, способных скорее говорить, чем действовать. Его взгляд на вещи был взглядом бойца.

— Вы готовите восстание, как будто изучаете Талмуд. Это не Комитет Сопротивления — это иешива.

Но и аргументы Галевского были вескими. Вначале он напомнил о предыдущей попытке и предчувствии, которое у него было. Затем он объяснил, что восстание будет трудным, и единственный шанс на успех — в его неожиданности.

— Если немцы настороже, у нас нет ни одного шанса, ни один человек не выйдет отсюда живым. И мы не должны забывать, что наша цель не избежать нашей собственной смерти, а вывести отсюда достаточно людей, чтобы, по крайней мере, один уцелел и был в состоянии рассказать. Мы не отчаявшиеся! Наша цель — не самоубийство! У нас есть миссия, которую мы обязаны выполнить. Я не боюсь умереть. Я хочу, чтобы кто-нибудь смог рассказать о трагедии нашей смерти.

— Ты — сломленный человек, — швырнул Рудек ему в лицо. Но Рудеку пришлось сдаться. Комитет решил ждать.

Рвы пустели. Пир продолжался.

В этом невероятно чувствительном мире напряжение перешло границы, и все происходило в магической и нереальной атмосфере. Каждый день Комитет ходил по краю пропасти, избегая катастрофы только чудом. Один раз Курлянд подумал, что все кончено.

«Естественный отбор» — система Ляльки — продолжала действовать неотвратимо. Обычно это происходило вечером, во время переклички. Именно в этот день Кива решил ликвидировать целое подразделение, в котором работало много слабых. Оно было создано самими узниками, для того чтобы дать менее напряженную работу своим истощенным товарищам. Работа была настолько же легкой, насколько бесполезной. Она состояла в окраске ручек бачков в черный цвет. Почему бы и нет? Длительное время немцы закрывали на это глаза. Затем однажды, возможно, чтобы облегчить себе работу по окончательной ликвидации, они вывели узников этой команды и направили их в «госпиталь».

Среди приговоренных был бывший варшавский журналист по имени Кроненберг. Это был мужчина средних лет, больной, на грани истощения. Когда он подошел к краю рва, его охватило страстное, отвратительное желание жить, ужасный страх смерти.

Он знал, что восстание близко, и не мог вынести мысли о смерти, когда избавление было уже так недалеко. Пережить все это только для того, чтобы умереть сейчас, было невозможно — это было слишком. Столько усилий напрасно, так много страданий, и все равно умереть, сейчас, когда жизнь может начаться снова. Он умоляюще поднял глаза и стал, рыдая, упрашивать украинца, который уже подымал автомат, пожалеть его. Тот, не привыкший к тому, что евреи сопротивляются смерти, остановился. У Курлянда, который слышал крики и рыдания узника, упало сердце. Был момент колебания, когда все трое смотрели друг на друга. Тогда обреченный заговорил снова с каким-то бешенством в голосе. Автомат украинца снова начал подниматься к шее узника, который уже заикался. Курлянд почувствовал, что произойдет, еще до того, как это случилось.

Неожиданно подняв голову, Кроненберг закричал:

— Спаси меня, и я открою тебе тайну, оставь мне жизнь, и я расскажу о заговоре. — Не слушая его, украинец был готов нажать курок, когда потеряв контроль над собой, Кроненберг заорал:

— Здесь есть люди, которые готовят восстание. Они хотят уничтожить лагерь.

Украинец заколебался. Смертельно бледный, Курлянд решился на крайнюю меру. Он встал и направился к украинцу, который повернулся к нему. Курлянд постучал себя по лбу с понимающей улыбкой, чтобы показать, что Кроненберг сошел с ума. Украинец улыбнулся в ответ и нажал спусковой крючок.

— Бедняга! — сказал Курлянд. — Он был не в себе, смерть для него благо.

Остальные приговоренные видели эту сцену. Они опустили головы, бормоча «Шма, Исраэль» — «Слушай, Израиль, господь Б-г наш един». Украинец поднял свой автомат второй раз, затем третий, четвертый, каждый раз бормотание становилось слабее, пока не закончилось. Он выпрямился и улыбнулся — работа была закончена.

Курлянд еще дрожал, когда он описывал происшедшее Комитету.

Рвы пустели. Постепенно узников охватывала паника.

Маскировочная команда сделала попытку восстания. Один раз в лесу, узники начали медленно наступать на конвоиров. Клейнман с трудом остановил их, пока дело не зашло далеко и конвоиры не заметили их. Сцена напоминала представление немых. Не было сказано ни слова, все происходило молча. Клейнман выиграл, но он знал, что в следующий раз он будет не в состоянии сдержать людей. Вечером он доложил Комитету:

Люди на грани. Взрыв возможен в любой момент. Мы больше не управляем движением, которое начали.

Рвы пустели. Треблинка превратилась пороховую бочку.

В Лагере Номер Два положение было еще хуже. Ночью в бараках люди говорили только о восстании. Адольф, до сих пор управлявший ситуацией, теперь начал терять над ней контроль. Он сам был глубоко потрясен сценами, которые видел в день прибытия эшелона с последними повстанцами из Варшавы. Чтобы успокоить людей, он умножил развлечения. Все стало дозволено. У Адольфа не было выбора, кроме как поощрять все это, но он знал, что когда ситуация окончательно выйдет из-под его контроля, он будет не в состоянии отвечать ни за что. Тайна восстания зависела от какой-нибудь шутки или словечка, сказанного просто так. Каждый вечер немцы смешивались с узниками, и каждый раз Адольф дрожал, что кто-либо нападет на них или один из них услышит, что скоро будут сведены счеты. Но он также знал, что если попытается остановить раскрученную машину, она взорвется. Единственный шанс — опередить события.

Женщины теперь расхаживали по двору полуголые среди подшучивающих узников. В прачечной они снимали с себя все. Зрелище приводило людей в исступление. Но Адольф уже не заботился о нравственности. Годилось все что угодно, все, что держало людей под контролем. Каждую ночь он умолял Джело послать сигнал бедствия в Лагерь Номер Один. Каждый день Джело все более и более настойчиво требовал от Комитета определить дату.

Рвы пустели, а члены Комитета все выжидали. Они казались зачарованным и беспомощным перед лицом этих сил, которые они сами выпустили на волю, а теперь были не в состоянии контролировать. По мнению Галевского было бы безумием начинать восстание сейчас. Надзор был слишком строг, и атмосфера чрезмерно напряжена. Без устали он повторял, что сначала надо успокоить людей, чья нервозность увеличивает подозрительность немцев.

Но евреев больше нельзя было успокоить. Нереальность этого мира, жажда восстания, постоянное присутствие смерти смешалось в них и превратило в пылающие факелы. Кроме массы узников были члены ударных бригад, которые потеряли всякий самоконтроль. Герцель Вайнштейн и несколько других договорились с заведующим инструментальной мастерской, которого, за его уродливость, называли «Обезьяна», рыть туннель. Мастерская примыкала к баракам. Они рыли туннель под стеной по очереди каждую ночь. Они проскальзывали в мастерскую, где был вход в туннель. Вырытая земля была плохо спрятана, и самый поверхностный осмотр мог все раскрыть.

Рвы все пустели.

В Лагере Номер Два пепел, оставшийся после просеивания и повторного сжигания, был смешан с песком, и рвы были засыпаны этой смесью. На поверхности была посажена трава

и проложены дорожки, посыпанные белым гравием. Были установлены деревянные скамейки, как в каком-нибудь, общественном парке. Малейшее напоминание о функции Треблинки исчезло. Рвы пустели.

При виде этого мирного Луна-парка узниками овладевало странное беспокойство. Теперь больше не смерть страшила их, а небытие: пропажа каких-либо следов человеческой жизни и памяти. Смерть естественна, она часть исторического течения. Но небытие ведет человека к краю той пропасти, которой был мир перед актом Создания. Перед лицом небытия все перестает существовать. Песни превращаются в вопли, танцы — в языческие ритуалы.

В этой атмосфере был вскрыт последний ров. Он содержал десять тысяч трупов. Десять тысяч тел означало две недели. Джело послал ультиматум. Ответ пришел на следующий день:

«Понедельник, 2 августа 1943. Подтверждаем это утро как планировалось. Сигналом к началу будет крик «Революция в Берлине».

ГЛАВА XXVII

Солнце плыло по небу. Был прекрасный жаркий день, наступил вечер, мягкий и светлый. Последняя ночь опускалась на Треблинку.

В Лагере Номер Два Шломо удалось побыть несколько минут с Малкой в тихом уголке, во дворе. Охваченные волнением, они не могли говорить. Их немой диалог состоял из взглядов, вздохов и пожатий рук. Будет ли конец Треблинки и концом их любви? Малка казалась опустошенной, она безвольно прислонилась к колючей проволоке, ее глаза закрылись, она как будто желала умереть здесь. Страстно обняв ее, Шломо произнес:

— Я приду за тобой завтра, и мы убежим вместе!

— Да, завтра мы убежим вместе, — отвечала она мечтательно.

Шолек Блюменталь, бывший ассистент доктора Циммермана, лежал на своих нарах. Болезнь костей сковала его суставы, и он не мог без боли шевельнуть ни рукой, ни ногой. Это чудо, что немцы до сих пор его не убили. Но сейчас это не имело значения. Он знал, что завтра он не будет в состоянии убежать и все равно умрет. Молча, он наблюдал за отблесками пламени костров, играющими на стене барака. Он не спал. Завтра он уснет навсегда.

Иосиф Раппопорт, прижавшись к своему другу Пассомонику, старался сдержать свои чувства. Как только он закрывал глаза, ему представлялся лагерь, пожираемый пламенем. Но желая зафиксировать в себе каждую деталь последних мгновений Треблинки, он тотчас открывал их. «Я не должен забыть ничего. Я должен запомнить все», — повторял он себе снова и снова, и сцены Дантова ада метались в его голове. Чтобы обуздать смешавшийся поток мыслей, чтобы уверить себя, что он

запомнил все, он задавал себе вопросы. Прибытие? Провал — он уже не помнил дату. Проблеск: о, да это было в день праздника Рош ха-Шана или днем раньше. Он вспомнил отчетливо: это было в тот вечер, когда Берлинер убил Биласа. Прорвав оковы его воли, память обратилась в кошмар, и он теснее прижался к Пассомонику. Унесенный воспоминаниями, он снова вызвал в памяти прибытие в Лагерь Номер Два и как он сжался при виде куч трупов, и Эрвина, садиста-эсэсовца, убивавшего по пятьдесят узников в день для развлечения. Стоя на маленьком мыске из песка, Эрвин подзывал выбранных им, которые бросались вперед, чтобы побыстрее окончить все, снимая на бегу одежду. Когда они падали к его ногам, они были почти голые — таков был приказ. Тех, кто не успевал раздеваться, жестоко били перед смертью. Также как и тех, кто слишком медлили или недостаточно низко склоняли голову. И узники подчинялись. Они подбегали, снимали одежду, падали на колени и наклоняли головы — все сливалось в одно движение. Самые счастливые умирали мгновенно. Это было похоже на фантастический балет ужаса.

— Ты спишь? — прошептал Пассомоник.

— Нет, меня мучают кошмары. Ты помнишь ворона?

— Да.

— Еще никто не страдал так, как мы.

— Да.

— Ты думаешь, нам удастся?

— Да.

— Мы увидим когда-нибудь друг друга?

— Нет.

— Завтра мы будем спать в лесу, во мху, огромные деревья будут над нашими головами. Воздух будет сладко пахнуть. Не будет ни звука, мы заснем навсегда. Я уже вижу себя лежащим, смотрящим в небо, слушающим шум ветра, вдыхающим чистый воздух. Свобода — это прекрасно, жизнь прекрасна.

— Да.

— Ты думаешь так же?

— Да. Но вначале будет чуточку погорячее.

— Мы побьем их, да?

— Да.

— Ты уверен?

— Да.

— Я люблю тебя, Пассомоник. Ты мой единственный друг.

Джело и Адольф лежали рядом.

— Ну вот, все кончено, — сказал Джело.

— Ты имеешь в виду для нас. Но не для других. Это никогда не кончается.

— Что ты думаешь о плане?

— Могло быть хуже. У нас есть шанс вывести отсюда нескольких человек.

— Ты думаешь, немцы подозревают что-нибудь? Нет. По крайней мере, они не знают ничего, но, тем не менее, они настороже. Они не верят нам. До сих пор они были в состоянии убедить нас, что есть маленькая надежда, но теперь все: больше нет надежды, больше нет ничего. Они знали, это будет не так просто. Я думаю, они планируют окружить лагерь танками в день, выбранный для ликвидации.

— Но мы опередим их.

— Буквально на мгновение.

— Как ты думаешь, что случилось с Комитетом?

— Они желали совершенства и не могли принять решения. И к тому же они — не люди действия. Были также страх и неопределенность. Постарайся представить, через что они прошли с того первого дня, как пришли немцы: желтая звезда, гетто, голод, избиения, страх, коварно вкравшаяся надежда, затем Треблинка — погружение в другой мир, ужас, жизнь в перевернутом свете.

— Да, я думаю, сейчас я понимаю. Я понял многое после прибытия сюда. Жужжащие бараки. Треблинка видела свое последнее вечернее небо, обращенное к заходящему солнцу. Измученные усталостью и нервным напряжением, узники устремились навстречу утру.

В Лагере Номер Один Абрам Зильбер тщательно сложил свой скудный багаж: кусок мыла, свитер, запасную пару обуви. Чтобы не украли, он положил его под голову. Он уснул много позже, тяжелым сном, обуреваемый страхом и надеждой. Ему снился лагерь в виде одного гигантского костра. Он хотел кричать от радости и триумфа, но ни один звук не вырвался из его рта. Вдруг он открывает глаза. Слепящий свет будет его. Он поворачивается. Через одно из окон сияет обжигающим лучом солнце, освещая весь барак. Зильбер осознает сразу, где он и что произойдет сегодня. Ужас прошлого и радость будущего минуту борются в нем. Он дрожит от возбуждения, готового выплеснуться весельем или разразиться слезами. Затем он начинает молиться, восхвалять Б-га, благодарить Его. Он не знает, за что, почему: просто за существование, за то, что сотворил это солнце, за то, что позволяет смотреть на него. Он подходит к окну и далеко, за тройным ограждением колючей проволоки, видит поля, влажные от росы, над которыми стелется легкая утренняя дымка. Он будет жить, он знает это. Жизнь слишком сильна, ничто не может сопротивляться ей.

Бараки медленно просыпаются к жизни. Зильбер возвращается к нарам и вытягивается неподвижно, купаясь в свете этого лучистого дня.

Шесть часов утра. Начинается перекличка. Герцель Вайнштейн не может оторвать глаз от двух старых деревьев, черных и неподвижных, между которыми маршируют офицеры СС. Безмолвные свидетели стольких драм, они поднимают свои сучковатые ветви, безразличные и спокойные.

Галевский выходит вперед, держась прямо только усилием воли, шагая твердо, чтобы не упасть. Он останавливается, изможденный и усталый. Его рот открывается, он говорит:

— Новый день начинается. Он не будет последним. Я надеюсь, что каждый будет стараться, как всегда, — смена тона, — сделать свою работу как можно лучше.

Его лицо светлеет и узники видят, что он подмигивает.

— Наши господа, немцы, сдержали свое обещание, и мы, те, кто был здесь все время, знаем, что они сделали для нас. Теперь наша очередь сдержать свое обещание — сделать нашу работу хорошо.

Он обернулся к немцам и отдал честь.

Девять часов. Генек поворачивает свою повозку на дорожку, ведущую к арсеналу. Только солнце, золотящее отдельные камушки — другое. Те же бараки, те же часовые на обоих углах, те же узники в нескольких метрах позади. Ничего не изменилось с того времени. Уже пять месяцев...

В свежем чистом воздухе колеса скрипят по гравию, болтаются и останавливаются. Первые ноты «Хатиквы» поднимаются меланхолично. Окно уже открыто. Все три коробки показываются одновременно. Одним движением узник кладет их на дно повозки.

Генек смотрит на одного часового, затем на другого, чувствует, как повозка дернулась три раза. Комитет решил взять автоматы тоже. Генек видит приклады, появляющиеся один за другим. Они возникают, наклоняются и исчезают. Появляется рука и дает сигнал. Окно закрывается снова. Повозка отъезжает. Все происходит без единого слова.

По новому плану автоматы распределяются между двумя пунктами: картофельным погребом и гаражом. Подъезжая к гаражу, Генек замедляет ход. Узник подходит к нему.

— Пять автоматов, — шепчет Генек, не поворачивая головы. Повозка останавливается около кучи хлама. Три узника стоят неподвижно. Неожиданно они наклоняются, хватают столько мусора, сколько могут нести и торопятся прочь. Появляются другие и создается что-то, напоминающее цепь, ползущую к двери барака.

Оружие проносится по цепи, и она исчезает так же быстро, как образовалась. Повозка отъезжает. Главная улица спокойна. Поворачивая на улицу Переселенцев, Генек встречает немца. Немец смотрит на него, и Генек пугается, но эсэсовец неожиданно улыбается ему.

Картофельный подвал. Новая цепь, новая дрожь. Она рассеивается, и ничего не остается. Генек видит, как Галевский подходит и исчезает в подвале. Боковым зрением он видит на его

лице улыбку. Счастье бурлит в крови и захватывает его целиком.

Десять часов. В Лагере Номер Два работа уже давно началась. Джело передал приказ: работать как можно медленнее, даже если будут бить. Трупы громоздились все выше и выше около костров. Джело играет свою последнюю комедию. Он кричит и размахивает наобум кнутом по спинам, которые движутся, как в замедленном кино. Но ни удары, ни проклятия не ускоряют это движение.

Адольф переходит от группы к группе — там сжигает, там грузит, там высыпает корзины золы на решето: он проверяет все, воодушевляет людей, напоминает инструкции. Но постепенно время проходит, и он видит, как появляется и глубоко сидит в глазах узников один вопрос, одна боль. Это последний день? Это будет день нашей победы или смерти?

Одиннадцать часов. Команда подметальщиков «Дороги на небеса» не отправлена сегодня на работу: контакт с Лагерем Номер Один прерван.

Кажется, все под угрозой. Только один человек может спасти положение: Верник. Выслушаем его свидетельство:

«Руководители были озабочены, так как мы не имели инструкций о времени восстания. Я не мог стоять на одном месте и должен был постоянно следить за собой, чтобы не вызвать возрастающих подозрений. Я старался сконцентрироваться на своей работе, но я знал: если я не найду пути связаться с Лагерем Номер Один — мы проиграли. Мысль о жалкой смерти после таких страданий и таких усилий была невыносимой. Необходимо было добиться успеха — для себя самого, для остальных, для мира, чтобы спасти себя, спасти всех, рассказать... Из большого двора, где мои товарищи переживали свою бесконечную смерть, поднималась волна агонии и захватывала меня, и все внутри у меня переворачивалось. Я знал, что этот день определяет оправдание или приговор нашей длительной муке, нашему страшному соучастию. Под палящим солнцем и смерть и агония издавали смердящий запах...

Наконец, я придумал способ. Мой начальник-немец, чье имя я уже не помню и которого мы прозвали «Коричневая рубашка», уважал меня немного, так как восхищался моим профессиональным умением. Я подошел к нему и сказал, что мне нужны строительные доски (дерево хранилось в Лагере Номер Один). Это был наш последний шанс. Когда он ответил, что пойдет туда сам с несколькими людьми, я почувствовал пустоту в желудке и бросился в конец мастерской. Я не помнил, сколько времени они отсутствовали и что в это время делал я, но когда я увидел «Коричневую рубашку» в дверях, во мне вновь появилось желание жить и продолжать борьбу. Последняя хитрость пришла мне на ум в это мгновение. Я осмотрел доски, снял размеры и отбросил их с разочарованием, сказав, что они не подходят. «Коричневая рубашка» спросил меня, хочу ли я, чтобы

он принес мне другие. Я ответил, что мы потеряем целый день в хождениях туда и обратно, и было бы лучше, если бы я сходил сам. Должно быть, у него был приказ, он выглядел растерянным. Я добавил, что мне, вообще говоря, все равно, и если я не получу досок сегодня, я могу подождать. После долгого молчания и колебания он приказал мне пойти самому.

Я уже не был в Лагере Номер Один некоторое время и не знал, как будет мне сообщен сигнал. Я вошел в лагерь, нервно оглядываясь по сторонам, нетерпеливо всматриваясь в спокойные и отрешенные лица проходящих мимо узников. Мои вопросы не производили на них впечатления, и их глаза, казалось, оставались безразличными. Заведующий складом строительного леса был еврей лет пятидесяти, который носил очки. Я знал его в лицо и больше ничего. Когда я вошел на склад, я подумал, что ничего не выйдет. Он взглянул на меня, отсутствующим взглядом, и его лицо не выражало ничего, кроме скуки, ничего, кроме горькой замедленной агонии. Я подумал, что должно быть, дата опять отложена. Пока мои сопровождающие занимали немца разговором, я пошел в глубь барака выбрать несколько досок. Там было темно, и после ослепительного блеска дня я с трудом мог различать окружающие меня предметы. Неожиданно я услышал какой-то шепот. Я задрожал и медленно поднял голову. Заведующий складом стоял передо мной. Медленно, ни один мускул на лице не дрогнул, он повторил: «Сегодня в четыре». Затем добавил шепотом: «Сигнал — взрыв гранаты». Лихорадочно я собрал несколько досок и приказал сопровождающим взять их. Когда мы опять вышли на воздух, солнце вошло в мое сердце».

Напечатано тайно в 1944 году в Варшаве Еврейским Координационным Комитетом.

В Лагере Номер Два новость распространилась мгновенно. Шум голосов нарастал. Молитвы, погребальные песни, дикие крики: «Сегодня земля разверзнется! Сегодня Судный День». Кнуты свистели, дубинки падали, люди бегали все быстрее и быстрее, и в то время как огромный ров разевал свою пасть и источал смерть, по безоблачному небу солнце продолжало свой победный марш к зениту.

Полдень. В Лагере Номер Один колонны возвращаются в гетто получить свои миски баланды и горбушки окаменевшего хлеба. Громко и фальшиво они поют гимн Треблинки: «Пока знак не подаст судьба». «Это Галевский подал нам сегодня утром знак», — подумал Герцель Вайнштейн. Их животы сведены ожиданием, люди даже не подходят получить свои миски. Командиры групп заставляют их выстроиться в очередь у раздаточных окошек. «Как обычно — все должно происходить как обычно». Очередь молчаливо выстраивается. Они стоят неподвижно на жаре. Получив еду, люди отходят и садятся в пыль. Никто не ест. Под

белым от жары небом абсолютное молчание.

Час. В Лагере Номер Два работа заканчивается. Необходимо признать: не все тела, уже вынутые из рва, будут сегодня сожжены. Герберт Флосс разгневан. Петцингер угрожает. Запах становится удушающим, и люди, под действием жары и вони из рва, покачиваются. Некоторые падают. Джело подходит к Петцингеру и вызывается добровольно закончить работу после обеда. Он возьмет бригаду выносливых узников. Эсэсовец благодарит его и обещает двойной рацион.

За колючей проволокой, окружающей бараки, люди изнемогают под неумолимым солнцем. Жара и напряжение сжимают их в тиски.

Два часа. От длительного истощающего ожидания узники начинают постепенно терять контроль над собой. Перед тем, как возобновить работу, Джело приказывает Вайнштейну, охраннику барака, закрыть их внутри. Он уходит складывать костры. Охранник-украинец закрывает за ним ворота.

Два часа пятнадцать минут. Заведующий кухней подходит к украинцу. Бак с водой пуст, и необходимо наполнить его. Украинец согласился оставить ворота открытыми, и начинается движение между кухней и колодцем, расположенным на расстоянии двадцати метров за проволокой.

Два тридцать. В Лагере Номер Один жара вымела немцев и украинцев, которые пошли вздремнуть. Курлянд один в «госпитале». Он приводит в порядок свои бумаги и медленно, если не сказать неохотно, направляется к месту сбора Комитета. Вскоре он умрет, но вначале он должен еще повоевать. Опустошение и жалость охватывают его. Белый от солнечного света лагерь выглядит покинутым и молчаливым. Курлянд медленно пересекает его навстречу своей последней миссии, последнему сражению.

Три часа. В Лагере Номер Два в запертых бараках удушающая жара. Напряжение узников достигает критической точки.

Вокруг костров, молча, работают люди Джело. Сидя в тени колодца, три украинца пьют водку, принесенную евреями с кухни. Они разговаривают и кажутся дружелюбными.

У подножия вышек другие евреи завязывают с часовыми знакомый диалог. В солнечном свете их ладони время от времени отливают желтым блеском. И один за другим часовые спускаются вниз.

Три тридцать. В Лагере Номер Один офицер СС медленно прогуливается в зоологическом саду. Капо Судович подходит к нему и говорит несколько слов. Они отбывают вместе. Абрам Зильбер сидит на корточках на лужайке, делая вид, что украшает ее, и провожает их взглядом.

Словно паря в нескольких сантиметрах над землей, которая вибрирует от жары, дезинфекционная команда, тайный дозор, скользит над белой поверхностью широкой лужайки.

Три сорок. В портновской мастерской, где уже собрались Галевский, Зальцберг и Курлянд, стоит молчание. Дверь барака открыта настежь, но застывший воздух не дает ни ветерка.

Оглядывая двор, с лицом, подставленным солнцу, Галевский с трудом собирает одну за другой нити своей памяти. Разобрав вновь все детали восстания и уверив себя еще раз, что все в порядке, он переходит к мучительным воспоминаниям своего долгого пути: встреча с Шокеном и Берлинером, их первое сражение, его комендантство, ощущение его предназначения, дружба в аду, затем бегство Шокена, смерть Берлинера и вновь одиночество, длинная ночь мучений, Адольф, затем Хоронжицкий, Курлянд, Зальцберг, Монек и, наконец, Джело. Зима, эпидемия, первая попытка восстания, неудача, эшелоны, прибывающие нескончаемо, как повторяющийся лейтмотив, напоминающий, что смерть — это их дело. Весна, празднества, новое восстание, грядущая победа мертвых, побег из могилы. Сегодня он уверен в успехе, он знает, что умрет через несколько часов — оправданный, отмщенный, умиротворенный. Одно, последнее усилие — и все будет кончено. Сладкая пустота уже заполняет его душу. Слезы застилают окружающий мир, взгляд туманится, и он ничего не видит.

Вдруг слышен крик. Тупой и полный боли. Бараки застывают. Галевский дрожит.

Как дурное предзнаменование, Кива, Ангел Смерти, идет по гетто. В предчувствии катастрофы люди следят за его продвижением. Своей тяжелой походкой он достигает двери огромного барака. Темнота скрывает его. Время останавливается.

Тридцать секунд. Минута. Две минуты. Вопль. Темный прямоугольник двери оживает. Три фигуры появляются на свет. Две первых с опущенными головами и за ними Кива.

Двое узников прятались в бараке. Они опустошают свои карманы: падают золотые монеты.

Галевский наблюдает, как Кива подталкивает их к воротам гетто по направлению к «госпиталю».

Курлянд вспоминает историю Кроненберга и шепчет:

— Они заговорят. Мы должны начать восстание немедленно.

— Нужен доброволец убить Киву!

И статуи возвращаются к жизни. Все бросаются вперед. Галевский выбирает Воломанчика, бывшего вора из Варшавы, которого Адольф считал одним из самых надежных своих помощников.

Ударная группа Комитета имела в своем распоряжении пять винтовок, револьвер и гранату, которая должна была подать сигнал. Воломанчик берет винтовку. Он бежит через гетто и занимает позицию за углом большого барака. Он становится на колено, упирает приклад в плечо и ждет.

Кива идет вдоль ограды гетто. В тридцати метрах Воломанчик следит за ним через глазок прицела. Он видит его, может различить каждую черточку его лица. Указательный палец медленно ложится на спусковой крючок. Кива идет. Через секунду он будет мертв. В бараке граната приготовлена, чека вынута. Один из узников держит ее, рука висит сзади и неподвижна. Кива доходит до середины барака. Воломанчик каменеет, задерживает дыхание и стреляет. Винтовка подпрыгивает. Кива падает. Тишина оглушает. Воломанчик спокойно прицеливается и стреляет еще раз. Тело Кивы в последний раз вздрагивает и застывает навсегда.

Галевский кричит Воломанчику, чтобы он лег на землю. Летит граната, вертится на земле, останавливается и взрывается. Восстание началось.

Преждевременное начало застает весь лагерь врасплох. Боевые группы, узники, немцы и украинцы застывают, пораженные, растерянные, оглушенные. Эхо взрыва долго слышится в воздухе и исчезает.

Боевые группы приходят в себя первыми. Не дожидаясь пока соберутся все, они мчатся к назначенным местам. Это предвестники грядущего шторма.

Неожиданно звучат раскаты грома. Дюжина гранат взрывается как по цепной реакции. Воздух рвется от грохота. Сразу же начинается ружейный огонь — беспорядочный, спорадический, ожесточенный, он разрастается, трещит, пылает. Затем изо всех уголков лагеря вырастает громовое «Ура!», первый крик свободы. Немцы приходят в себя. Отдаются приказы, бегут украинцы, огонь винтовок усиливается. Беспорядочная стрельба начинает смешиваться с ритмичным стуком пулеметов.

Сражение началось.

Преждевременное начало дезорганизовало атакующих. Командиры понимают, что исход битвы больше всего зависит от их готовности к самопожертвованию. Галевский, окруженный членами Комитета, управляет резервным соединением. Их задача — превратить гетто в крепость, задержать врага, чтобы узники могли скрыться. Стоять до последнего патрона, до последнего человека.

Прыгая, стреляя, Рудек и его боевое подразделение мчатся сквозь это неистовство криков и взрывов. Они рвутся через облака бьющего в нос дыма, кишащего пулями. Все сливается в беспорядке, и они бегут, не обращая внимания на окружающие их языки пламени, стоны и крики раненых. Они не останавливаются даже тогда, когда один из них падает, сраженный на бегу пулей, лежащего в засаде украинца. Подразделение несет первую потерю. Судьба восстания зависит от их скорости. Они должны нейтрализовать бронемашину, стоящую около караульного помещения. Все было запланировано, приготовлено и отрепетировано. Перекрестный огонь должен помешать

экипажу достичь машины. Но восстание разразилось слишком рано. Сейчас весь план забыт, их единственный шанс — опередить немецкий экипаж.

Рудек первым достиг большого двора. Он видит бронемашину, большого черного жука, неподвижно стоящего на солнце. Он видит стену караульного помещения за ней, видит, как открывается дверь, и из тени возникает серый силуэт. Пуля Рудека настигает эсэсовца в нескольких шагах от машины. Немец хватается двумя руками за живот и очень медленно делает еще несколько шагов. Его изумленные глаза смотрят на Рудека и его товарищей, лежащих плашмя и стреляющих по окнам. Он оборачивается на ходу, падает и, наконец, умирает, глядя на своих соратников.

Дверь вновь закрыта, но стрельба идет изо всех окон. Рудек кричит бойцам, чтобы они берегли боеприпасы, и ползет с одним из них за угол барака. Остальные, прижатые немецким огнем к земле, распластались на краю двора. Они не могут ни продвинуться, ни отойти. Они могут только стрелять и умирать. Рудек понимает, что это произойдет быстро. Через четверть часа оставшийся экипаж перейдет двор без затруднений. Бронемашина вступит в действие и подавит восстание. Она будет уничтожать сражающихся в их бессмысленном сопротивлении. Ничто не сможет выдержать огонь его тяжелого орудия. Боец, стоящий рядом с Рудеком, чувствует, как рука сжимает его плечо. Он смотрит на своего командира, в лице которого такая боль, что он думает — тот ранен.

Рудек не может оторвать глаз от бронемашины. Он сжимает плечо товарища еще сильнее. Тот не знает, что сказать, и даже не знает, ждет ли Рудек ответа. Осторожно прислонив автомат к стене барака, Рудек немного подается вперед. Он вероятно даже не сознает, что он вопит, когда врывается во двор, но товарищи слышат его крик и видят, как он спотыкается после нескольких прыжков. По нему начинается стрельба из всех окон. Когда его люди открывают ответный огонь чтобы прикрыть его, он уже около машины.

С обеих сторон огонь прекращается. Дальнейшее кажется нереальным. Пронизанный солнцем двор молчит — маленький островок внимающего, почти религиозного молчания. Люди Рудека с прижатыми к щекам прикладами автоматов наблюдают, как их командир взбирается на бронемашину. Предосторожности, которые он предпринимает, бессмысленны, его подъем немцам не виден. Его защищает от их пуль вся толщина стального корпуса. Он может достичь оружейной башни одним скачком. Но Рудек продвигается медленно, прижимаясь к броне, как будто хочет стать ее частью, быть неотличимым от нее в тот неопределенно страшный момент, когда он должен будет открыть люк орудийной башни и прыгнуть вниз.

Когда он достиг верха, когда ему остается только протянуть

руку, чтобы дотронуться до купола, они нацеливают свои автоматы на окна и кончики их пальцев белеют от напряжения. Они слышат отрывистую команду и в тот же самый момент открывают огонь. Они не видят, как рука Рудека касается задвижки люка, затем отдергивается, как будто башня раскалена добела. Немецкий огонь затихает, рука Рудека красна от крови. Дальнейшее происходит очень быстро. Люк открывается, и невероятно быстрым и гибким движением, под градом визжащих пуль, рикошетящих о броневик, Рудек соскальзывает внутрь.

А, может быть, он свалился туда смертельно раненый?

Снова тишина. Тишина, длящаяся бесконечно. Затем — характерный скрежет заржавленного железа во время разворота башни. Жалящее дуло орудия, направленного до этого в сторону лагеря, описывает медленную дугу к караульному помещению. Евреи, лежащие ничком на земле, слышат крики ужаса, которые издают немцы, видят, как посылаемые Рудеком снаряды выбивают остатки оконных стекол и рушат стены. Караульное помещение нейтрализовано. Бойцы встают, бросают на броневик прощальный взгляд и отходят. Их ждут еще задачи, еще смерти.

Яцек и его отделение занимают гараж без единого выстрела. Они опустошают помещения, где хранятся бочки с бензином. Три или четыре человека работают вместе и выкатывают двухсотлитровые бочки на мощеную площадку перед гаражом, откуда небольшой уклон ведет к немецкой казарме. Бензин образует вначале лужицу, затем маленький водоем, который разрастается, движется, становится ручейком, рекой. Эта река медленно течет в направлении казармы. И люди Яцека смотрят туда, на фигуры, которые мечутся за окнами и на маленькую реку, движущуюся к ним. Яцек отдает приказ рассеяться. Они подчиняются и исчезают. Сейчас он один. Он берет стальной прут и подходит к бензиновому насосу. Его тяжелый шаг и робок и решителен одновременно. Яцек ожесточенно бьет по насосу, как будто валит дуб. Сильный запах бензина заполняет воздух. Тогда он бросает стальной прут и вынимает чеку из гранаты. Отходит на несколько шагов назад и поворачивается. Он бледен и напряжен. Он смотрит в лицо своей смерти. Когда он осознает и принимает ее, выверенным движением он медленно поднимает руку и бросает гранату в цистерну с горючим. Взрыв как будто взрезал землю. Фонтан пламени рванулся из этой раны и Яцек исчезает, захваченный этим извержением, и речушка, которая уже достигла края спуска, неожиданно становится потоком огня, жестокого и разрушительного.

Одна за другой сторожевые вышки зажигаются как свечки.

В Лагере Номер Два Джело первый понимает, что происходит. Как только он слышит первый выстрел, он останавливается. Когда взрывается граната, он бросается к колодцу и вопит во все горло: «Революция в Берлине!» Это сигнал. Евреи атакуют

часовых, спустившихся с вышек.

Джело достигает колодца в тот момент, когда в нем исчезает последний из трех украинцев. В спешке его люди бросили туда двух первых вместе с автоматами. Джело успевает схватить третий и открывает огонь по казарме украинцев.

Винер знает свою задачу: разрушить мотор, подающий газ в газовые камеры. Он направляется к зданию, держа в руках канистру с бензином. В полумраке «машинного отделения» тускло поблескивает хорошо смазанный мотор, похожий на спящее чудовище. Винер опустошает канистру и чиркает спичкой. Взрыв потрясает воздух, затем через вышибленную дверь начинает валить густой черный дым. Неожиданно, шатаясь, в разорванной одежде, появляется Винер. Он делает несколько шагов, наклоняется вперед и падает — даже мертвый он ненавидит.

Адольф бежит к газовым камерам. Он собирается поджечь их. Внезапно дорогу ему преграждает Иван — гигант-садист. Украинец кажется удивленным, но не испуганным. Его черные глаза пристально смотрят на Адольфа, обшаривают его руки, ремень в поисках возможного оружия. Они не видят ничего, и Иван решает не вынимать револьвер. Его ноги слегка согнуты, руки раздвинуты, он ждет этого маленького еврея, который продолжает бежать по направлению к нему. В его теле бурлит кровь, кожа, мясо, мускулы — все играет, он чувствует себя легко. Он блокирует попытку Адольфа ударить его головой в живот, не отступая. Обхватив обеими руками шею Адольфа, он приподнимает его и распластывает на земле. Лежа на нем, сминая его всем своим весом, он начинает душить Адольфа. Он умирает, продолжая душить. Через минуту, когда Джело бежит мимо, он видит вначале широкую спину украинца и погруженный в нее кинжал, который все еще сжимает рука Адольфа. Мертвое тело Адольфа почти полностью скрыто Иваном, но в его глазах выражение, которого обычно не бывает на лицах задушенных. Как будто в самый последний момент он чувствовал только невероятную радость от сознания, что ему удалось вытащить кинжал из ножен украинца и нанести ему смертельную рану.

Кароль Петцингер бежит. Он вбегает в Лагерь Номер Два. Его руки подняты, его лицо искажено от изумления и страха, он кричит: «Не стреляйте, это я, ваш друг — Кароль!»

В бараке на другом конце двора Вайнштейн бросается к двери. Его лицо блестит от пота, в глазах сверкает жестокость. Он выскакивает из двери, крича: «Революция в Берлине!» Вопль врывается в заполненный светом двор. Кароль Петцингер останавливается.

За Вайнштейном масса, сила, слишком долго сдерживаемая, грохочущая и ревущая. Поток, река, лава, стадо, евреи — рабы, «соучастники», величественные герои или проклятый народ — забитый, затравленный газом, сожженный, тысячу

раз умерщвленный и тысячу раз возродившийся, евреи — одна плотная масса человеческих тел, спущенная с привязи, ослепленная, выброшенная ненавистью, надеждой и гневом, течет, катится, извергается. Они воют, бегут, прыгают — те, кто смотрел, как убивают их близких, кто вырывал их зубы, кто умерщвлял их газом, сжигал их тела, превращая их кости в пыль, евреи отречения и чуда, евреи смерти и жизни, мучительной боли, веры и отчаянной надежды.

Петцингер поднимает руки выше и кричит громче:

— Остановитесь, это ваш друг Кароль!

Как безумная машина, слепая, вышедшая из-под контроля, как стадо, как поток ненависти, масса бросается к нему, сбивает на землю, топчет его, оставляя за собой только черно-красно-белое месиво, переломанное, раздавленное, расчлененное.

Малка лежит на нарах, глаза ее широко открыты и неподвижны.

— Малка! — кричит Шломо, распахивая дверь. Он видит ее, подбегает к ней. — Малка, Малка, быстрее.

Она не отвечает. Что-то сломалось у нее внутри под действием страшного эмоционального напряжения. Не проверяя, жива ли она, Шломо наклоняется, берет ее и вылетает наружу.

Первые узники достигли проволочных заграждений. Они попали в путаницу колючей проволоки и отчаянно пытаются освободиться. Другие узники топчут их. В такой панике нельзя никого остановить.

Шолек Блюменталь выбрасывает негнущиеся ноги перед собой. Он последний, он готовится умереть. Его взгляд туманится, но неустойчиво, гротескно он продолжает двигаться: одна нога, затем другая, одна нога, затем другая. За ним вновь слышится автоматный огонь. И вдруг происходит чудо: его колени гнутся, он может бежать, он спасен. Рыдая от радости, чувства страха и еще неизвестно от чего, он бежит все быстрее и быстрее к темной массе леса.

Лагерь пуст. Джело отдает приказ своим людям отходить. Маша с ним. Он бежит с опущенной вниз головой, рвется к лесу, в котором уже появляются первые узники. Вдруг Маша, которая бежит рядом с ним, издает короткий стон, шатается и падает. Джело видит машину в тот момент, когда он склоняется над Машей. Он слышит ее шепот:

— Беги, Джело! Пожалуйста, живи ради нас, ради нашей любви. — Полная эсэсовцев, ощетинившаяся винтовками и пулеметом, машина держит курс на узников, которые бегут безоружными. Через несколько минут она настигнет их. Джело уже понял. Он знает, что ему нужно делать, он знает, что он никогда не достигнет леса. Все еще стоя на коленях около Маши, он подбирает свой автомат, спокойно упирает его в плечо, прицеливается и стреляет: один, два, три раза. Посреди равнины

машина поворачивается и останавливается. Она начинает движение снова, медленно описывает широкую дугу и, набирая скорость, бросается на него как раненый зверь. Джело снова поднимает свой автомат к плечу и стреляет, стреляет, стреляет.

Последние узники уже достигли леса. Машина становится все больше и больше. Выстрелы Джело прекращаются.

Огонь разделил Лагерь Номер Один на две части. На северной стороне Судович собирает своих последних людей. Он бросается вслед за узниками, которые уже добежали до леса и присоединились к беглецам из Лагеря Номер Два. Их около двух сотен, ошеломленных, сгрудившихся. Судович понимает, что быть вместе бессмысленно, узники должны рассеяться. Начиная с этого момента каждый за себя. Он потерял десятую часть людей во время отступления. Больше он ничего не может сделать для них. Он кричит узникам, чтобы они рассыпались, но они как будто находятся в трансе. Они держатся друг за друга, колеблются. Тогда он поднимает свой автомат, дает очередь в воздух и кричит:

— Немцы!

Безумный бег возобновляется.

Рудек лежит в броневике. Он пытается завести мотор, но безуспешно. Орудие победы стало его могилой. Когда кончатся боеприпасы, он попытается выбраться. В цитадели гетто Комитет еще держится. Последние узники спасаются бегством.

На юге потери были еще больше, чем на севере. Из четырех командиров подразделений уцелел только Клейнман. Оставшиеся бойцы перегруппировались за ближайшим укрытием. Они колеблются, но больше нет ни одного узника, взбирающегося по насыпи, которая отделяет лагерь от железной дороги в этой точке. Тогда, почти неохотно, Клейнман направляет своих бойцов к лесу.

Но немцы и украинцы уже пришли в себя. Они бросаются за ними. Вокруг арьергарда начинают свистеть пули. Инстинктивно люди бегут быстрее. Прежний страх поднимается в них, страх перед немцами, этими сильными и неуязвимыми людьми. Под пулями они вновь становятся теми евреями, которых учили всю жизнь: «Если гой бьет тебя, не сопротивляйся, и он оставит тебе жизнь». Прежний страх охватывает их, увеличенный десятикратно долгим и страшным подчинением, которое почти умертвило их, и от которого они только что освободились. И они бегут быстрее и быстрее. Перед ними большое открытое пространство, они видны как на ладони. За этой равниной край леса, гавань, которую они должны достичь. Они бегут. Потом начинают падать, умирая на пороге спасения. Неожиданно Клейнман сознает, что ни один из них не достигнет леса.

— Ложись! — кричит он, бросается сам на землю, оборачивается и открывает огонь по преследователям.

Еще один ложится на землю, затем третий, потом все. Они забыли свой страх. Обратившись лицом к врагу, они открывают огонь.

Теперь немцы и украинцы на незащищенной местности. Теперь они видны как на ладони. Их фигуры выделяются на фоне пламени. Бег разбросал их. Первые утыкаются в землю. Вторая группа, бегущая в ста метрах позади, останавливается, колеблется, затем, охваченная паникой, бежит назад.

Евреи возобновили свой бег и тут они видят, как слева прибывает первое немецкое подкрепление. Группа из пятидесяти человек приближается к ним. Клейнман оценивает ситуацию. На открытом пространстве у них нет шансов. Чудо, произошедшее несколькими мгновениями раньше, не повторится. Они должны достичь края леса раньше преследователей. Лес виднеется в километре, темный и ждущий. Отставшие последние узники только сейчас вливаются в него.

— Быстрее! – кричит он. — Мы должны добраться туда раньше, чем они. Собрав всю оставшуюся энергию, люди ускоряют бег. Эсэсовцы, понявшие маневр Клейнмана, стараются отрезать их, но они слишком далеко. Лес приближается, деревья вырастают. Немцы, бегущие сзади, не стреляют. Клейнман видит насыпь, граничащую с лесом.

— Быстрее! Быстрее! — повторяет он снова и снова, чтобы подбодрить себя и подтолкнуть других. Он больше не видит леса. Насыпь вырастает в глазах и оказывается перед ним. Все моментально взбираются на нее.

— Занять позиции! — хрипит Клейнман.

Люди уже поняли. Они бросаются на насыпь, лицом к равнине, по которой продвигаются немцы.

— Подпустите их ближе! — снова хрипит Клейнман. — Никто не стреляет, пока я не начну.

Немцы приближаются. Уверенные в себе, они бегут плотно, они охотятся, а не воюют. Клейнман наблюдает, как они увеличиваются в прорези прицела. Он вспоминает, что когда-то говорил ему Адольф: «Жди, жди, не стреляй слишком рано. Когда ты почувствовал, что противник перед тобой, медленно считай до трех и открывай огонь на три».

Клейнман уже видит лицо человека, который несется на него. Один, два, три. Глаза закатываются, человек падает. Автоматный огонь раздается со всех сторон. Восемь немцев лежат на короткой равнинной траве в нескольких метрах от леса. Другие продолжают бежать, увлекаемые вперед инерцией. Клейнман приказывает стрелять прицельным огнем. И чудо повторяется. Немцы отступают.

Клейнман опускает голову и плачет. Вокруг него люди вне себя от радости. Они обнимают друг друга, плачут, кричат, катаются по земле. Они свободны, они вырвались из ада. На

другом конце равнины огромная, черная горящая масса, которая почти скрыта в пламени. Это — Треблинка.

Над водонапорной башней до сих пор развевается флаг, плывя над морем огня. Неожиданно остов башни покрывается пламенем, она разваливается. Флаг со свастикой тонет и исчезает, охваченный пламенем. Слышится еще несколько выстрелов, затем наступает молчание.

Восстание закончилось.

День убывает, темнота охватывает лес. Небо, леденяще голубое в зените, на западе становится фиолетовым. Траву на равнине слегка колышет мягкий ветерок. Земля мягкая и сладко пахнет. Изнуренные, люди лежат неподвижно, цепляясь за эти мгновения счастья.

— Друзья! — тихо зовет Клейнман. — Вставайте, мы должны уходить. Нам еще очень далеко. Наш путь только начинается.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Все члены Комитета и большинство из тех, кто руководил лагерным восстанием, погибли. Из тысячи узников, которые были в то время в лагере, приблизительно шестистам удалось вырваться и достичь леса.

Из этих шести сотен беглецов к приходу через год Красной Армии в живых осталось сорок. Остальные были убиты в течение этого года польскими партизанами, партизанами Армии Крайовой, украинскими фашистскими бандами, дезертирами вермахта и гестапо, специальными подразделениями немецкой армии. Эти сорок уцелевших живы и сегодня. Они рассеяны по всему свету: двадцать два в Израиле, пять в Соединенных Штатах, три во Франции, три в Польше, два в Канаде и по одному в Англии, Германии, Чехословакии, Австралии и Аргентине. Все они женаты или женились второй раз и имеют, по крайней мере, одного ребенка.

Через некоторое время после восстания лагерь Треблинка был разрушен до основания, а земля перепахана. Все документы были уничтожены. Для восстановления истории Треблинки мы почти полностью полагались на свидетельства оставшихся в живых. Действительно, библиографии почти не существует, как и официальных немецких документов. Насколько мы знаем, только три книги были опубликованы на эту тему: «Лагерь в Треблинке» Рашели Ауэрбах, которая во время войны сотрудничала с Эммануилом Рингельблюмом в Варшаве, была членом комиссии по расследованию преступлений нацистов в Польше после освобождения, и которая сегодня заведует отделом свидетельских показаний в институте «Яд Вашем» в Тель-Авиве; «Год в Треблинке» Янкеля Верника, свидетельство, тайно опубликованное в Польше, а затем в США перед концом

войны и «Ад Треблинки» военного корреспондента Советской Армии, который провел интервью с первыми свидетелями.

Перед тем как лично опросить уцелевших, я изучил все свидетельские показания, уже собранные польской комиссией по расследованию нацистских преступлений в 1945 г. и позже институтом «Яд Вашем».

Показания 1945 г. короче, но более живые, так как время еще не стерло пережитого ужаса. Свидетельства, собранные институтом «Яд Вашем», в общем, наиболее полные. Имея больше времени в своем распоряжении, Институт «Яд Вашем» настаивал на новых и более исчерпывающих показаниях от некоторых свидетелей, которые уже были допрошены в комиссии в 1945 г. Собранные таким образом материалы, объединенные в четырнадцать дополняющих друг друга историй, являются важным историческим источником.

Все собранные материалы уже сами по себе представляют прочную базу для создания книги. Тем не менее, я предпочел сам проинтервьюировать уцелевших, некоторые из которых уже давали показания в письменной форме. Интервью с этими свидетелями были трогательными, и я горячо благодарю их за помощь. Вместе с тем я хочу попросить прощения за то, что входя в их дома, я тревожил их новую жизнь, погружая их снова в ад, который они отчаянно стараются забыть. По этим самым причинам я изменял в книге имена, если меня об этом просили.

Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помогал мне и направлял меня в этом исследовании: Леона Чертока и Ольгу Эмбер из Центра еврейской документации в Париже, Софию Марени, Рен Зильберт, Джудит Рапопорт, Диану Фишер, Дана Омера и Жана Энохсберга. И в конце я хочу выразить сердечную признательность Константину Мельнику, который предоставил мне возможность написать эту книгу.